

GALACTICA MEDIA
Journal of Media Studies
Vol 8 No 3 (2026)

XXI: Transformations of Communicative Agents

www.galacticamedia.com



GALACTICA MEDIA

Journal of Media Studies

Том 8 № 3 (2026)

XXI: трансформации коммуникативных агентов

www.galacticamedia.com

ISSN: 2658-7734 18+

Galactica Media

Journal of Media Studies

Academic e-Journal

www.galacticamedia.com

Vol. 8, No 3

https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3

XXI: Transformations of Communicative Agents



2026

ISSN: 2658-7734 18+

Галактика медиа

журнал медиа исследований

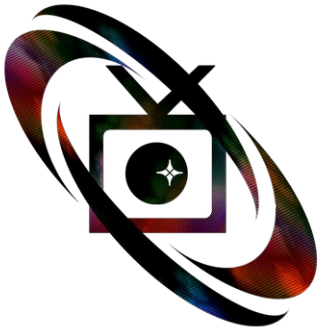
Научный электронный журнал

www.galacticamedia.com

Том 8, № 3

https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3

XXI: трансформации коммуникативных агентов



2026

Table of Content

NEW MEDIA – NEW COMMUNICANTS

13 **Denis S. Artamonov, & Svetlana A. Shilova**
Digital Agents of Family Memory

44 **Anton V. Luchnikov, & Dmitry V. Melnichuk**
Neural Networks as Agents of Symbolic Production:
A Socio-Philosophical Interpretation of Digital Sociality

68 **Sophia V. Tikhonova, & Alexey A. Kornievsky**
Platform Sociality: Mediality as a Condition of Agency

93 **Mariia A. Ivanchenko**
Posthuman Sociality of AI-Simulacrum

112 **Olga V. Sergeyeva, & Regina V. Penner**
Visualizing Urban Data: Maps, Charts, Digital Twins

THE OTHER IN THE DISCOURSES OF SCIENCE AND CULTURE

131 **Lada V. Shipovalova**
From Boundary Work to Work on the Boundaries.
On the Foundations of Public Communication of Science

152 **Artur A. Dydrov**
Conversations with a Country Road:
Topological Narratives in Russian Music of the 20th and 21st centuries

CINEMA AND POPULAR CULTURE STUDIES

168 **Denis D. Chumakov**
Is a Metamodern Horror Film Possible?

187 **Anastasia V. Kucherova**
The Carnivalization of the Superhero Film:
The Antihero as a Figure of Cultural Transgression in the Context of Mikhail Bakhtin's Theory

214 **Anton Yu. Golubev**
Fan Studies in 1992: On the Theoretical and Methodological
Frameworks and the Subject Field of the First Wave

MEDIA & POLITICAL STUDIES

232 **Andrey G. Ivanov, & Aleksey A. Tselykovskiy**
The Anatomy of the "Apparatus": Actor-Network Analysis
of the Continuity of the Russian Political Class

256 **Ivan V. Suslov, & Zarina Z. Knyzhova**
Ideology After the Disappearance of the Subject. Agency and Networks:
Who Produces Meanings Today?

CRITICS & REVIEWS

277 **Dmitry V. Solomko**
The Machine as a Mirror of the Human: An Affective History of Technology
in the Interpretation of Daniel Strassberg

Содержание

НОВЫЕ МЕДИА – НОВЫЕ КОММУНИКАНТЫ

13 **Артамонов Д. С., Шилова С. А.**
Цифровые агенты семейной памяти

44 **Лучников А. В., Мельничук Д. В.**
Нейросети как агенты символического производства:
социально-философское осмысление цифровой социальности

68 **Тихонова С. В., Корниевский А. А.**
Платформенная социальность: медиальность как условие агентности

93 **Иванченко М. А.**
Постчеловеческая социальность ИИ-симулякров

112 **Сергеева О. В., Пеннер Р. В.**
Визуальное представление данных о городе: карты, диаграммы, цифровые двойники

ДРУГОЙ В ДИСКУРСАХ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

131 **Шиповалова Л. В.**
От пограничной работы к работе на границах.
К вопросу об условиях публичной научной коммуникации

152 **Дыдров А. А.**
Разговоры с «просёлочной дорогой»:
топологические нарративы в российской музыке XX-XXI вв.

ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФА И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

168 **Чумаков Д. Д.**
Возможен ли метамодернистский хоррор-фильм?

187 **Кучерова А. В.**
Карнавализация супергеройского фильма:
антигерой как фигура культурной трансгрессии в контексте теории М. М. Бахтина

214 **Голубев А. Ю.**
Фан-исследования 1992 г.: к вопросу о теоретико-методологических
установках и предметном поле первой волны

МЕДИА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

232 **Иванов А. Г., Целыковский А. А.**
Анатомия «аппарата»: акторно-сетевой анализ преемственности
российского политического класса

256 **Суслов И. В., Кныжова З. З.**
Идеология после исчезновения субъекта.
Агентность и сети: кто производит смыслы сегодня?

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

277 **Соломко Д. В.**
Машина как зеркало человеческого: аффективная история
техники в интерпретации Даниэля Штрассберга

Dear Friends, Colleagues, Readers, and Authors,

Galactica Media: Journal of Media Studies is an academic journal founded in 2019. Galactica Media specializes in publishing research articles, reviews, informational resources, as well as reports on academic expeditions and conferences. The journal is exclusively available in digital format without a print edition.

Publication Frequency

The journal is published quarterly, four times a year, providing current research in the field of media and mass culture.

Thematic Focus

Galactica Media covers a wide range of topics related to media research, from history and cultural studies to anthropology and philosophy. The name reflects inspiration from the works of media culture theorist Herbert Marshall McLuhan and his concepts of the "Galaxy" (the Gutenberg Galaxy, the Marconi Galaxy, etc.).

Journal's Objective

To create a platform for exchanging opinions and discussions in the field of media research, facilitating the development of new research and discoveries.

Journal Philosophy

The journal adheres to the principles of cultural dialogue, the philosophy of non-violence, and cultural tolerance. The main goal is to facilitate the removal of language barriers and respect for the differences of national cultures.

Academic Disciplines

The journal accepts publications in fields such as historical studies, anthropology, theory and history of culture, philosophy. However, this does not mean that articles and other materials written in other branches of research will be categorically rejected. The journal welcomes articles on issues of media and mass culture, written from the perspective of the most diverse academic directions or at the intersection of several researches, as this approach, in our opinion, can be the most effective and allow looking at known problems from a new angle.

Editorial Policy

All incoming materials undergo a double-blind peer review, ensuring a high academic level of publications. The editorial board follows strict academic and ethical standards.

Registration record: ЭЛ № ФС77-75215 dated 07 march 2019

Founder: Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise “Genesis. Frontier. Science”

Address: 24, Savushkina St. apt. 88, Astrakhan, Russia, 414056

Address of Editorial board: 57, Granovskiy per. apt. 2, Astrakhan, Russia, 414038

Materials are intended for persons over 18 years old.

Уважаемые друзья, коллеги, читатели и авторы!

Galactica Media: Journal of Media Studies - это сетевое научное издание, основанное в 2019 году. Galactica Media специализируется на публикации научных статей, рецензий, информационных ресурсов, а также отчетов о научных экспедициях и конференциях. Сетевое издание не имеет печатной версии и доступно исключительно в цифровом формате.

Периодичность выпусков

Издание выходит ежеквартально, четыре раза в год, предоставляя актуальные исследования в области медиа и массовой культуры.

Тематическая направленность

Galactica Media охватывает широкий спектр тем, связанных с медиаисследованиями: от истории и культурологии до антропологии и философии. Название отражает вдохновение работами Герберта Маршалла Маклюэна и его понятиями «Галактика» (Галактика Гуттенберга, Галактика Маркони и т.д.).

Цель сетевого издания

Создание платформы для обмена мнениями и дискуссий в сфере медиаисследований, способствуя развитию новых исследований и открытий.

Философия издания

Издание придерживается принципов диалога культур, философии ненасилия и культурной толерантности. Основная цель - способствовать снятию языковых барьеров и уважению к различиям национальных культур.

Научные дисциплины

Сетевое издание принимает к публикации работы в таких областях, как исторические науки, антропология, теория и история культуры, философия. Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов, написанные в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Сетевое издание приветствует статьи по проблемам медиа и массовой культуры, написанные с позиции самых разнообразных научных направлений или на стыке нескольких наук, так как такой подход, по нашему мнению, может оказаться наиболее действенным и позволяющим взглянуть на известные проблемы под новым углом.

Редакционная политика

Все поступающие материалы проходят двойное слепое рецензирование, обеспечивая высокий научный уровень публикаций. Редакция следует строгим научным и этическим стандартам.

Запись о регистрации: ЭЛ № ФС77-75215 от 07 марта 2019

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Генезис.Фронтир.Наука". ИНН/ОГРН: 3019005706/1123019003678

Юр. Адрес: Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88

Адрес редакции: 414038, Астраханская обл., г. Астрахань, Грановский пер., д. 57, кв. 2

Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 18 лет

Editorial Team

Editor-in-Chief	**Rastyam T. Aliev** PhD, HSE University, Russia
Associate Editors	**Olesya S. Yakushenkova** PhD, Associate Professor, Astrakhan State University, Russia **Serguey N. Yakushenkov** Dr. Habilitatus in History, Independent Researcher, Russia
Copy editors	**Emilia A. Taysina** Dr. Habilitatus in Philosophy, Professor, Kazan State Energy University, Russia **Elina A. Sarakaeva** PhD, Hainan Professional College of Economics and Business in Haikou, China **Isabeau Vollhardt** B.A. Philosophy/English University of Washington, USA
Editorial Board	**Aleksandr V. Pavlov** Dr. Habilitatus, Associate Professor, Higher School of Economics, Russia **Alesja Serada** PhD, Assistant Professor, University of Nottingham Ningbo China, China **Amador Iranzo** PhD, Universitat Jaume I de Castelló, Spain **Christophe Duret** PhD Université de Sherbrooke, Canada **David Hesmondhalgh** PhD, Professor, University of Leeds, UK **Elena V. Khlyscheva** Dr. Habilitatus, professor, Astrakhan State University, Russia **Gautam Basu Thakur** PhD, Associate Professor, Boise State University, USA **Ibitayo Samuel Popoola** PhD, University of Lagos, Nigeria **Joan Copjec** PhD, Brown University, USA **Konstantin A. Ocheretyaniy** PhD, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russia

Kwasu David Tembo
PhD, Independent Researcher, Zimbabwe

Madina Tlostanova
PhD, Professor, University of Linköping, Sweden

Maksim V. Kirchanov
Dr. Habilitatus, Associate Professor, Voronezh State University, Russia

Natalya B. Kirillova
Dr. Habilitatus, Professor, Ural Federal University named after
the First President of Russia B. N. Yeltsin, Russia

Neeraj Khattri
PhD, Associate Professor, Jaipur National University,
Jaipur Rajasthan, India

Nikolai B. Afanasov
PhD, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Russia

Qiao Li
Associate Professor, University of Wollongong in Malaysia, Malaysia

Robert Pfaller
Dr. philos., Professor, niversity of Art and Design Linz, Austria

Stephen Duncombe
PhD, Professor, Steinhardt School New York University, USA

Todd A. Comer
PhD, Professor, Defiance College, USA

Todd McGowan
PhD, Associate Professor, University of Vermont, USA

Theodora Dame Adjin-Tettey
PhD, Lecturer, University of Professional Studies, Accra, Ghana

Valeriy V. Savchuk
Dr. Habilitatus, Professor, St. Petersburg State University, Russia

Wasana Maithree Herath
PhD, Senior Lecturer, Uva Wellassa University, Sri Lanka

Главный редактор	Растям Туктарович Алиев к. ист. н., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия
Заместители главного редактора	Олеся Сергеевна Якушенкова к. филос. н., Астраханский государственный университет, Россия
	Сергей Николаевич Якушенков д. ист. н., профессор, независимый исследователь, Россия
Литературные редакторы	Эмилия Анваровна Тайсина д. филос. н., профессор, Казанский государственный энергетический университет, Россия
	Элина Алиевна Саракаева к. филол. н., Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу, Китай
	Изабо Воллхардт Бакалавр философии университет Вашингтона, Сиэтл Вашингтон, штат Вашингтон, США
Редакционная коллегия	Александр Владимирович Павлов д. филос. н., НИУ ВШЭ, Россия
	Алеша Серада PhD, Университет Ноттингема в Нинбо, Китай
	Амадор Иранцо PhD, Университет Хайме I, Испания
	Кристоф Дюре PhD, Университет Шербрука, Канада
	Дэвид Хесмондхалг PhD, профессор, Университет Лидса, Великобритания
	Елена Владиславовна Хлыщёва д. филос. н., профессор, Астраханский государственный университет, Россия
	Гаутам Басу Тхакур PhD, профессор, Государственный университет Бойсе, США
	Ибитайо Самюэль Популa PhD, профессор, Лагосский университет, Нигерия
	Джоан Копьек PhD, профессор, Университет Брауна, США
	Константин Алексеевич Очеретяный к. филос. н., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
	Квасу Дэвид Тембо PhD, Независимый исследователь, Зимбабве

Мадина Тлостанова
д. филол. н., профессор, Университет Линчепинг, Швеция

Максим Валерьевич Кирчанов
д. ист. н., доцент, Воронежский государственный университет, Россия

Наталья Борисовна Кириллова
доктор культурологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Россия

Нирадж Хаттри
PhD, профессор, Джайпурский национальный университет, Индия

Николай Борисович Афанасов
к. филос. н., Институт философии РАН, Россия

Сяо Ли
PhD, профессор, Университет Вуллонгонга в Малайзии, Малайзия

Роберт Пфаллер
Dr. philos., профессор, Университет искусств и дизайна Линца, Австрия

Стивен Дункомб
PhD, профессор, Школа Стейнхардта Нью-Йоркского университета, США

Тодд А. Комер
PhD, профессор, Колледж Дефайнс, США

Тодд МакГован
PhD, профессор, Вермонтский университет, США

Теодора Даме Аджин-Тетти
PhD, лектор, Профессиональный университет в Аккре, Ghana

Валерий Владимирович Савчук
д. филос. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Васана Мейтри Герат
PhD, старший лектор Университет Ува Велласса, Шри-Ланка

CONTACTS

Founder	Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise "Genesis. Frontier. Science"
Address	57, Granovskiy St. apt. 2, Astrakhan, Russia 414038
Editor-in-Chief	Rastyam T. Aliev
Email	admin@galacticamedia.com
Support Contact	Olesya S. Yakushenkova
Email	galacticamedia@gmail.com

The opinion of the editorial board
may not coincide with the opinion of the authors

Учредитель	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»
Адрес редакции	414038, Астраханская обл., г. Астрахань, Грановский пер., д. 57, кв. 2
Главный редактор	Алиев Растям Туктарович
Email	admin@galacticamedia.com
Представитель технической поддержки	Олеся Сергеевна Якушенкова
Email	galacticamedia@gmail.com

Мнение редколлегии журнала
может не совпадать с мнением авторов

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media – New Communicants | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.768

Digital Agents of Family Memory

Denis S. Artamonov[1], **& Svetlana A. Shilova**[2]

Saratov State University. Saratov, Russia

Received: 29 March 2026 | Revised: 5 May 2026 | Accepted: 8 May 2026

Abstract

The article is devoted to the problem of transformation of family memory in the context of digitalization of society, when the processes of preservation, transmission, and interpretation of the past are increasingly transferred to the environment of digital platforms, social media services and online archives. Under these conditions, family memory ceases to be an exclusively private and intergenerational form of communication, but is included into the broader context of public representation, mediatization, and standardization of historical experience. This problem is of particular importance in relation to the memory of the Great Patriotic War, which remains one of the central foundations of cultural identity and collective self-understanding in modern Russia. The purpose of the study is to identify how digitalization is changing the forms of family memory and how these changes manifest themselves at the level of user-friendly commemorative practices, the platform organization of texts of memories and stories, as well as ways of public representation of the past. The paper shows that the digital environment not only expands the possibilities of preserving and distributing family narratives, but also significantly rebuilds the very structure of memory, transferring it from a live narrative mode to a platform-based, partially standardized and publicly accessible form. Based on the material of the platforms "Zhivaya istoriya" and "Bessmertny polk", it has been established that digital family memory develops in the logic of transition from narrativization to formalization. The proportion of extended family stories is decreasing, the role of short biographical notes is increasing, and the language of the texts is becoming more formulaic and less lexically diverse. It is concluded that the digitalization of family memory represents not only a technical change in the channels of storing the past, but also a profound transformation of its social and communicative forms. The article is addressed to specialists in the field of social philosophy, collective memory research, digital humanities, media studies, as well as to anyone who studies modern forms of representation of the past in digital culture.

Keywords

Digitalization of Society; Family Memory; The Great Patriotic War; Digital Memory; Mediatization of Memory; Collective Memory; Cultural Memory; Digital Platforms; Commemoration; Digital Humanities

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Denis S. Artamonov, & Svetlana A. Shilova

1 Email: artamonovds[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0001-8689-1948
2 Email: sa_shilova[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-3625-6492

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа – новые коммуниканты | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.768

Цифровые агенты семейной памяти

Артамонов Денис Сергеевич[1], **Шилова Светлана Алексеевна**[2]

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Саратов, Россия

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 5 мая 2026 | Принята: 8 мая 2026

Аннотация

Статья посвящена проблеме трансформации семейной памяти в условиях цифровизации общества, когда процессы сохранения, передачи и интерпретации прошлого все в большей степени переносятся в среду цифровых платформ, сервисов социальных сетей и онлайн-архивов. В этих условиях семейная память перестает быть исключительно приватной и межпоколенческой формой коммуникации, включаясь в более широкий контекст публичной репрезентации, медиатизации и стандартизации исторического опыта. Особое значение данная проблема приобретает применительно к памяти о Великой Отечественной войне, которая в современной России остается одной из центральных основ культурной идентичности и коллективного самопонимания. Цель исследования состоит в выявлении того, каким образом цифровизация изменяет формы существования семейной памяти и как эти изменения проявляются на уровне пользовательских коммеморативных практик, платформенной организации текстов воспоминаний и историй, а также способов публичной репрезентации прошлого. В работе показано, что цифровая среда расширяет возможности сохранения и распространения семейных нарративов, а также существенно перестраивает саму структуру памяти, переводя ее из режима живого повествования в режим платформенно организованной, частично стандартизированной и публично доступной формы. На материале платформ «Живая история» и «Бессмертный полк» установлено, что цифровая семейная память развивается в логике перехода от нарративизации к формализации: снижается доля развернутых семейных рассказов, усиливается роль кратких биографических записей, а язык текстов становится более шаблонным и менее лексически разнообразным. Делается вывод о том, что цифровизация семейной памяти представляет собой не только техническое изменение каналов хранения прошлого, но и глубокую трансформацию его социальных и коммуникативных форм. Статья адресована специалистам в области социальной философии, исследований коллективной памяти, цифровой гуманитаристики, медиаисследований, а также всем, кто изучает современные формы репрезентации прошлого в цифровой культуре.

Ключевые слова

цифровизация общества; семейная память; Великая Отечественная война; цифровая память; медиатизация памяти; коллективная память; культурная память; цифровые платформы; коммеморация; цифровая гуманитаристика

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Артамонов Денис Сергеевич, Шилова Светлана Алексеевна

1 Email: artamonovds[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0001-8689-1948
2 Email: sa_shilova[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-3625-6492

Введение

Современное общество характеризуется глубокой цифровой трансформацией, затрагивающей не только технологическую инфраструктуру, но и базовые формы социальных и коммуникационных процессов. Цифровизация становится не внешним фактором развития, а внутренним принципом функционирования социальной реальности, определяющим способы производства и распространения информации. В этих условиях медиа перестают быть лишь каналом коммуникации и приобретают статус среды, в которой формируются социальные смыслы, идентичности и представления о прошлом.

Расширение функций цифровых платформ и сетевых сервисов приводит к изменению структуры общественных взаимодействий. Коммуникационные процессы становятся более распределенными, многоканальными и динамичными, а границы между частным и публичным пространствами размываются. Индивидуальные высказывания все чаще приобретают публичный характер, вовлекаются в процессы массового обсуждения и получают возможность широкого распространения. Это, в свою очередь, изменяет саму логику производства социального знания, которое формируется в новых институциональных рамках, создающихся в повседневных практиках цифрового общения.

Особое значение эти изменения приобретают в сфере работы с прошлым. Историческое знание и память в цифровую эпоху все чаще создаются, распространяются и интерпретируются в медиасреде, где сосуществуют научные тексты, архивные материалы, пользовательские нарративы и визуальные репрезентации. Прошлое оказывается включенным в непрерывный процесс коммуникации, в котором оно воспроизводится и переосмысливается в зависимости от контекста. В результате меняются режимы доступа к исторической информации, а также способы ее понимания, поскольку она становится частью повседневного цифрового опыта.

В этих условиях трансформируется и семейная память как одна из ключевых форм сохранения и передачи исторического опыта. Традиционно основанная на устном рассказе, личном взаимодействии и материальных артефактах, она все чаще переносится в цифровую среду, где приобретает новые формы существования. Социальные сети, онлайн-архивы и специализированные платформы становятся пространствами, в которых семейные истории предъявляются более широкой аудитории. Это расширяет возможности сохранения памяти, в то же время изменяя ее характер, переводя ее из интимного коммуникативного пространства в сферу публичного взаимодействия. Семейная память активно включается в платформенные инфраструктуры, трансформируясь из приватной межпоколенческой практики в публично организованный и технологически опосредованный процесс. В результате семейная память предстает как особая область, в которой наиболее отчетливо проявляется взаимодействие традиционных и цифровых форм знания

о прошлом. Это двойственное положение делает семейную память ключевым объектом анализа для понимания того, каким образом цифровые агенты участвуют в конструировании исторического опыта и трансформируют способы его осмысления в современном обществе.

Социально-эпистемические арены производства представлений о прошлом

В современных условиях представления о прошлом формируются в широком поле социально-коммуникационных взаимодействий, где производство исторически значимого знания распределено между множеством акторов. В этой перспективе прошлое предстает как результат постоянно возобновляющихся практик отбора, интерпретации, архивирования, визуализации и публичного признания исторического знания. Поэтому анализ исторической культуры сегодня требует обращения к понятию социально-эпистемических арен, т. е. к таким пространствам, в которых различные участники коммуникационных процессов вырабатывают критерии достоверности, режимы «опубличивания» и способы признания тех или иных версий прошлого общественно значимыми (Артамонов, 2022; Fuller, 2002; Goldman, 1999).

Такой подход опирается на более широкую традицию социальной эпистемологии, для которой знание является не исключительно результатом индивидуального познавательного усилия, а продуктом коллективных процедур верификации, институционального распределения компетенций и коммуникативного согласования. Уже в классической теории коллективной памяти было показано, что воспоминание о прошлом всегда зависит от социальных рамок, в которых определяется, что и как подлежит запоминанию (Хальбвакс, 2007, с. 25–26, 59). Исследования культурной памяти далее уточнили, что представления о прошлом приобретают общественную важность благодаря текстам, ритуалам, памятникам, архивам, музеям и репрезентациям в медиа, превращающим отдельные свидетельства в культурно и нормативно значимые формы памяти (Ассман, 2004, с. 169–175; Erll, 2011, p. 113–143). Однако в цифровую эпоху эти механизмы становятся более сложными, поскольку к традиционным институтам памяти присоединяются цифровые платформы, сетевые сообщества, алгоритмические системы сортировки контента и пользовательские практики получения распределенного знания.

В этом контексте продуктивной является трактовка социально-эпистемических арен как коммуникационных площадок производства исторического знания, возникающего в коллективных форматах работы профессиональных ученых, «умных толп» и цифровых технологий (Артамонов, 2022, с. 241). Существенно, что в данной модели историческая наука, существующая в парадигме цифровой гуманитаристики, смещает фокус с прошлого как недоступной и уже не существующей реальности к представлениям о нем, а потому исто-

рическое знание все больше сближается с исторической памятью. Это сближение объясняется тем, что и знание, и память формируются в многоканальном процессе коммуникации, где научная реконструкция, общественная интерпретация, медиа-репрезентация и пользовательское участие оказываются тесно переплетены (Hoskins, 2018).

Ключевой чертой социально-эпистемических арен является распределенный характер познания. Внутри них субъектом производства знания выступает научное сообщество и широкий круг заинтересованных участников, а также медиапосредники и технологические системы. В этом смысле арена представляет собой структуру, в которой знание возникает как результат разнонаправленных коммуникационных актов. Именно поэтому производимое в таких аренах знание оказывается одновременно социально прочным, поскольку основано на участии множества акторов, и эпистемически значимым, поскольку проходит через процедуры коллективного признания и общественного одобрения (Hutchins, 1995; Origgi, 2012; Шиповалова, 2019).

Социально-эпистемические арены производства представлений о прошлом функционируют по принципам, сходным с риторическими аренами, подчиненными логике медиа (Rodin et al., 2019, p. 237–238). Это означает, что в рамках одной и той же арены могут сосуществовать разные типы информации, разные способы повествования и разные режимы высказывания: научная статья, цифровой архив, пользовательский комментарий, мемориальный пост, видеосюжет, алгоритмически рекомендованный материал. Эпистемическая сила конкретной версии прошлого в таких условиях определяется как ее источниковой обоснованностью, так и успешностью ее распространения, жанровой адаптированностью, эмоциональной убедительностью и способностью быть встроенной в инфраструктуры цифровой публичности. В результате доверие к историческому высказыванию перераспределяется: наряду с институтами академической экспертизы начинают действовать маркеры платформенной легитимации, такие как видимость, повторяемость, вирусность, сетевое признание и визуальная правдоподобность (Fricker, 2007; O'Connor & Weatherall, 2019).

Существенной характеристикой социально-эпистемических арен становится также участие непрофессиональных акторов. Практики семейного архивирования, цифровой генеалогии, мемориального активизма и краудсорсингового описания прошлого создают новые формы гражданского исторического знания. Они расширяют состав субъектов, имеющих право на публичное высказывание о прошлом, и тем самым демократизируют историческую культуру. Вместе с тем такая демократизация не означает автоматического роста эпистемического качества. Напротив, расширение доступа к производству исторических нарративов сопровождается размыванием границ между исследованием, свидетельством, мнением, эмоциональной реакцией и идеологической манифестацией. Поэтому анализ современных представлений

о прошлом требует учета тех условий, в которых они приобретают статус общественно значимого знания.

При этом участие широких пользовательских масс в изучении и интерпретации истории не означает простого разрушения научных критериев. Скорее, речь идет о перестройке самого режима исторического познания. Цифровой поворот в гуманитарных науках усилил междисциплинарность, коллективный характер работы и социальное вовлечение, а научные поиски активизировали создание сетевых сообществ, объединяющих профессионалов и непрофессионалов вокруг создания знаний о прошлом. Такие сообщества существуют как формы гражданской науки, где краудсорсинг, цифровое архивирование, комментирование и совместная интерпретация превращают научное исследование в открытую коммуникативную практику (Гришечкина & Тихонова, 2018, с. 129–132; Dijck et al., 2018, p. 2–8). Вследствие этого социально-эпистемические арены выступают пространствами воспроизводства социального порядка (Couldry & Hepp, 2017). Применительно к исторической памяти это означает, что арены производства представлений о прошлом включены в более широкий процесс социального самоконструирования. Через них общество, описывая прошлое, согласует собственные идентичности, моральные и политические ориентиры, критерии исторической справедливости и допустимые формы коллективного «воспоминания».

Цифровые агенты производства представлений о прошлом

В цифровой среде производство представлений о прошлом осуществляется не только людьми и институтами, но и множеством посредников-нечеловеков (в терминологии Б. Латура), которые участвуют в отборе, форматировании, визуализации и распространении исторического материала. Поэтому социально-эпистемические арены истории следует рассматривать как гибридные конфигурации, где на равных с отдельными индивидами и социальными группами действуют цифровые платформы. Они выступают многослойными и многосубъектными инфраструктурами, которые активно опосредуют взаимодействие между различными группами пользователей и задают условия создания и видимости контента. Именно поэтому в историческом анализе важно учитывать «платформенность» самих цифровых сред, их программируемость, архитектуру и встроенные алгоритмы посредничества (Helmond & van der Vlist, 2019, p. 6–7).

Алгоритмы в этих аренах играют особую роль, поскольку именно они превращают избыточный цифровой архив в последовательность релевантных и эмоционально значимых репрезентаций прошлого. Как подчеркивает Р. Китчин, алгоритмы следует понимать как контингентные, перформативные и онтогенетические системы, чья работа раскрывается в конкретных контекстах применения и постоянно переопределяется в зависимости от среды, формата данных и целей (Kitchin, 2017, p. 3, 8). В свою очередь, Д. Бир показы-

вает, что алгоритм действует как социально нагруженное понятие, наделенное авторитетом точности, эффективности и объективности; именно это придает алгоритмическим решениям дополнительную легитимность в процессах классификации и отбора (Beer, 2017, p. 13–15). В применении к прошлому это означает, что цифровые агенты участвуют в установлении того, какие фрагменты прошлого будут сочтены значимыми, какие маргинализированы, а какие вообще не попадут в поле общественного внимания.

Наиболее наглядно это видно на примере «умных лент» в социальных сетях. Исследование Б. Якобсена и Д. Бира показывает, что функция Facebook Memories[1] возвращает пользователю старые публикации, автоматически участвуя в производстве воспоминаний через процедуры классификации и ранжирования. Авторы прямо связывают работу функции с алгоритмической таксономией прошлого, контент предварительно разбивается на категории, после чего алгоритм выбирает, какие именно элементы прошлого и в какой момент будут показаны конкретному пользователю. В этом смысле алгоритм не извлекает готовые воспоминания, а участвует в их онтологическом продвижении: через ранжирование он превращает отдельные фрагменты цифрового следа в «память», доступную для повторного переживания и интерпретации. Особенно важно, что, по замечанию авторов, именно эти механизмы становятся сегодня «средствами и механизмами, посредством которых прошлое встречается в повседневной жизни», причем они способны формировать биографические нарративы, даже когда пользователи ощущают несоответствие между алгоритмически возвращенным материалом и собственным опытом воспоминаний (Jacobsen & Beer, 2021, p. 51, 91–97). Следовательно, «умная лента» выступает в роли эпистемического агента, который перераспределяет ценность прошлых событий и подсказывает пользователю, что именно следует помнить.

Если в случае социальных сетей речь идет прежде всего о персонализированном биографическом прошлом, то на платформах короткого видео алгоритмические системы вмешиваются уже в производство коллективных образов прошлого. Так, в исследовании В. Г. Ричардсон-Уолден и К. Маррисон показано, что память о Холокосте в TikTok возникает как результат взаимодействия человеческих и нечеловеческих актантов, т. е. профессиональных институтов и организаций, занимающихся вопросами памяти, пользователей и цифровых технологий (Richardson-Walden & Marrison, 2024, p. 5). Авторы рассмотрели в качестве кейсов кампанию #WeRemember и документальную серию “How To: Never Forget”, придя к выводу, что производство представлений о прошлом здесь зависит в первую очередь от намерений создателей, но во многом и от алгоритмических принципов платформы, от того, как именно TikTok организует вовлеченность пользователей в распространение контента (Richardson-Walden & Marrison, 2024, p. 12). В результате цифровая платформа

1 Facebook принадлежит компании “Meta”, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

оказывается соавтором публичного образа прошлого, она распространяет мемориальный контент, включает его в каналы вирусности, инфлюенсерской деятельности и алгоритмического управления. Тем самым коллективное прошлое встраивается в логику платформенного воспроизводства, где память должна одновременно быть исторически значимой и конкурентоспособной в борьбе за внимание.

Алгоритмическое посредничество особенно заметно и на видеоплатформах. Техническое описание системы рекомендаций YouTube показывает, что она построена как минимум на двух нейросетевых модулях: один отвечает за генерацию контента на основе пользовательской истории, второй за его ранжирование в соответствии с целевой функцией, ориентированной на охват аудитории и ожидаемое время просмотра (Covington et al., 2016, p. 191). Такая архитектура важна не только для маркетингового или развлекательного контента. В логике социально-эпистемических арен она означает, что исторические видео, документальные ролики, фильмы, лекции или псевдоисторические сюжеты получают неравные шансы на распространение уже на уровне базовой инфраструктуры выдачи. Иначе говоря, нейросетевой рекомендательный контур становится агентом селекции прошлого, он принимает участие в том, какие версии истории будут чаще встречаться пользователю, какие жанры окажутся более видимыми и какие способы рассказа о прошлом закрепятся как привычные.

Отдельную роль в создании образов прошлого играют инструменты нейросетевой визуализации, реставрации и анимации. В статье Р. Марселис о цифровой визуальной репрезентации раскрашенных саамских фотографий показано, что социальные сети становятся пространством, где оцифрованные архивы, практики колоризации, пользовательские комментарии и инструменты ИИ-анимации совместно производят новые формы репрезентации прошлого. Автор анализирует деятельность саамского колориста Пера Ивара Сомби, который находит старые фотографии в цифровых архивах, раскрашивает их и публикует на Facebook и Instagram[1], где они становятся центром обсуждения и влияют на конструирование коллективной памяти. Особенно показателен пример портрета молодой женщины, который был не только раскрашен, но и анимирован с помощью ИИ. В интерпретации Марселис этот мультимодальный жест фактически заново индивидуализирует и «оживляет» исторический образ, переводя его из режима исторического документа в режим аффективно присваиваемой памяти (Marselis, 2024, p. 13–15). Здесь цифровой агент уже не ограничивается сортировкой или рекомендацией, нейросеть вмешивается в саму визуальную ткань прошлого, делая историческую фигуру эмоционально ближе, современнее и, следовательно, более включенной в актуальные процессы конструирования идентичности.

1 Facebook и Instagram принадлежат компании “Meta”, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Еще дальше в этом направлении идут генеративные системы, создающие интерактивные исторические персонажи. В работе Б. ДаКосты рассматривается создание LLM-персоны Джозефа Листера, пионера антисептической хирургии, на основе системы генерации, дополненной извлечением данных с использованием GPT-4o. Исследование показывает, что такие системы способны поддерживать исторически стилизованный диалог, воспроизводить узнаваемый тон, словарь и историчность персонажа, а при тщательной настройке обеспечивать достаточно высокую степень достоверности. При этом автор отдельно подчеркивает, что даже удачная модель допускает временные сбои, приукрашивания и требует постоянной проверки, а потому должна рассматриваться не как прозрачный канал доступа к прошлому, а как новый медиатор, который конструирует исторический голос в границах заданного корпуса данных и интерфейсной логики (DaCosta, 2025, p. 19–22). В контексте социально-эпистемических арен это особенно важно, так как чат-агенты и «оживленные» исторические фигуры являются активными участниками популяризации истории, они меняют сам формат встречи с прошлым, переводя его из формы чтения и созерцания в форму диалога, симуляции присутствия и интерактивного соучастия.

Как показывает Э. Хоскинс, искусственный интеллект создает новые режимы памяти, в которых прошлое все чаще генерируется на основе цифровых архивов, корпусов текстов, визуальных данных и поведенческих электронных следов пользователей. Он описывает проект японской телерадиокомпании NHK, в рамках которого были записаны ответы на 900 вопросов 85-летней Ёсико Кадзимото, выжившей после атомной бомбардировки, после чего на их основе была создана ИИ-система, обученная распознавать исторический контекст ее свидетельств, в том числе темы войны, быта, пищи, одежды и выживания. Посетители «Мемориального музея мира в Хиросиме» могут выбирать вопросы, а проецируемое изображение Кадзимото отвечает так, как будто с ней происходит живая беседа (Hoskins, 2024, p. 8–9). Этот пример хорошо показывает, что цифровой агент уже не только выступает хранителем архивных свидетельств, а превращает прошлое в интерактивную и диалогическую форму, заново организуя опыт встречи с историческим событием. Тем самым искусственный интеллект выступает участником производства представлений о прошлом в социально-эпистемических аренах, поскольку именно через него историческая память получает новую форму присутствия в жизни людей, созданную на основе публичного действия.

Цифровые платформы, умные ленты, алгоритмы, нейросети и иные цифровые агенты следует рассматривать как полноправных участников производства представлений о прошлом. Их влияние проявляется как минимум на четырех уровнях. Во-первых, они определяют инфраструктурные условия обращения с прошлым, задавая форматы хранения, поиска и доступа к историческому материалу. Во-вторых, они перераспределяют видимость и значи-

мость исторических фрагментов через их классификацию, ранжирование и персонализацию. В-третьих, они вмешиваются в семиотическую форму прошлого, преобразуя архивные объекты через колоризацию, анимацию и генерацию синтетических образов. В-четвертых, они начинают моделировать сам голос прошлого в чат-интерфейсах и интерактивных персонажах, создавая новые режимы исторического присутствия и новые риски эпистемического смещения. Поэтому в современном исследовании коллективной памяти и исторической культуры вопрос о прошлом не может быть отделен от вопроса о тех цифровых агентах, которые делают его видимым, убедительным, эмоционально насыщенным и социально действенным.

Цифровизация семейной памяти

Семейная память долгое время воспринималась как та область культуры, которая в наибольшей степени сопротивляется цифровизации и медиатизации. В отличие от исторической памяти, связанной с архивами, музеями и публичной историей, семейные воспоминания традиционно опирались на домашние пространства, телесное соприсутствие поколений, устный рассказ, материальные реликвии и альбомную фотографию. Именно поэтому показательно, что исследования повседневных практик коммеморации в семье фиксируют особую ценность материальных памятных артефактов, они оказываются гетерогенными, эмоционально нагруженными, встроенными в семейный быт, поддерживающими разные режимы воспоминания. На этом фоне цифровые мемориальные объекты первоначально воспринимались как менее ценные для семьи, более абстрактные и хуже интегрированные в ее повседневную жизнь, поскольку они требуют специального акта доступа и нередко остаются «вне семейного поля зрения» (Petrelli & Whittaker, 2010, p. 153, 162, 165, 170). Тем самым семейная память действительно выглядела сферой, наиболее тесно связанной с домашним коммуникативным пространством и наименее готовой к переводу в цифровой медиаформат.

Однако в современных условиях эта память активно переходит в цифровую форму. Речь идет не просто о сканировании старых фотографий или хранении файлов на компьютере, а о более глубокой трансформации семейной памяти в медиапрактику. Цифровые технологии меняют способы фиксации, хранения, отбора, актуализации и повторного переживания семейного прошлого. Показательно, что уже на уровне домашнего опыта цифровые мемориальные объекты начинают пониматься как то, что нужно не только сохранять, но и специально проектировать в интерфейсах доступа, интегрировать в повседневность и делать доступным для совместного просмотра и обсуждения (Grønning, 2021, p. 734–744).

Одним из наиболее очевидных механизмов цифровизации семейной памяти стало превращение социальных сетей в новые семейные фотоархивы.

Исследование Д. Холлоуэй и Л. Грин показывает, что Facebook[1] все чаще используется как «виртуальный семейный фотоальбом», в котором семьи создают, распространяют и архивируют семейные воспоминания. Авторы подчеркивают, что при освоении этой платформы пользователи проходят стадии присвоения, повседневной рутинизации, объектного оформления архива и дальнейшей публичной репрезентации семейности; при этом сами изображения сохраняются в ленте и могут позднее спонтанно «оживляться» встроенными алгоритмами напоминаний (Holloway & Green, 2017, p. 351, 362-363). Здесь семейная память перестает быть домашним ресурсом и становится технически организованным архивом, одновременно частным и публичным. Характерный пример — публикация фотографий новорожденных, семейных праздников, отпусков и школьных событий в ленте социальной сети прежде всего для близких родственников, но и также для широкой сети контактов (Тихонова & Фролова, 2020, с. 82–84). Вместе с тем такая медиатизация порождает и новые напряжения, родители вынуждены обсуждать допустимость публикации изображений детей, а цифровой след ребенка формируется еще до того, как он сам получает возможность контролировать свое присутствие в сети.

Другой важный канал цифровизации семейной памяти связан с Instagram[2] и подобными платформами визуального контента. В этом случае семейное прошлое сразу оформляется как публично демонстрируемая семейная жизнь. Австралийские исследователи А. Барнуэлл, Б. Невес и С. Равн показывают, что социальные медиа радикально меняют способы существования и просмотра семейных фотографий, так как изображения, которые прежде помещались в альбом и просматривались внутри узкого круга, теперь снабжаются хэштегами, геометками, эмодзи, подписями и становятся доступными как родственникам, так и более широким аудиториям (Barnwell et al., 2023, p. 921–924). Это означает, что семейная память все чаще производится сразу как медиасобытие, где важным становится не только само событие (день рождения, поездка, встреча нескольких поколений семьи), но и его визуальная упаковка, подпись, эмоциональное кодирование и предполагаемая реакция аудитории. Платформа тем самым меняет саму структуру семейного воспоминания, оно формируется в логике дисплея, т. е. демонстрации семейности другим людям.

Не менее значима цифровизация устной межпоколенческой составляющей семейной памяти. Исследование Дж. Джонс и М. Аккермана показывает, что при географической и временной разобщенности поколений передача семейных историй смещается от непосредственного разговора к опосредованным формам коммуникации. При этом цифровые системы уже умеют фиксировать и хранить личные истории, но гораздо хуже поддерживают саму

1 Facebook принадлежит компании “Meta”, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
2 Instagram принадлежит компании “Meta”, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сложную социальную работу семьи по передаче, уточнению и совместной реконструкции этих историй. Особенно важно, что авторы рассматривают семейную память как процесс совместного конструирования, где и рассказчики, и слушатели активно участвуют в выяснении, проверке и пересборке семейного прошлого. В качестве примеров они обсуждают онлайн-платформы для устной истории, такие как StoryCorps и LegacyStories.org, а также генеалогические платформы вроде Ancestry.com, где пользователи ищут родственников, задают вопросы и собирают семейную историю из множества разнородных источников (Jones & Ackerman, 2018, p. 1–2, 8). Тем самым цифровизация семейной памяти затрагивает саму коммуникативную ткань межпоколенческого конструирования воспоминаний.

Цифровизация семейной памяти также тесно связана с массовой оцифровкой исторических источников. По данным скандинавских ученых, исследователи семейной истории сегодня являются центральными фигурами цифровой экосистемы сохранения культурного наследия; они, пользуясь оцифрованными источниками, участвуют в их публикации, интерпретации и распространении. Авторы показывают, что семейная история все чаще строится как работа сразу с несколькими цифровыми платформами (государственными, некоммерческими, коммерческими и социальными), из которых пользователи составляют собственный «буфет» инструментов поиска, сохранения и обмена информацией (Roued et al., 2023, p. 188–190, 195, 199). Это означает, что семейная память выходит за пределы собственно семьи и ее коммуникационного пространства, становясь результатом платформенной навигации по оцифрованным архивам, базам данных и сетевым сообществам. Для создания семейной истории пользователи сочетают данные национальных архивных сервисов, генеалогических сайтов и социальных медиа, реконструируя биографии предков, уточняя родственные связи, встраивая найденные материалы в семейный нарратив.

Примером успешного использования мультимедийных архивов является проект “The Menorah of Fang Bang Lu” в Шанхае, в рамках которого еврейские семьи с помощью цифровой платформы восстановили свои истории. Этот проект позволил сохранить исторический материал и сделал его доступным для широкой аудитории, предоставив участникам возможность активно участвовать в процессе реконструкции семейной памяти (Jakubowicz, 2009, p. 96–99). Цифровые системы сохранения наследия, такие как онлайн-платформы для публикации историй и использования мультимедийных ресурсов, способствуют активному взаимодействию с содержанием архивов, позволяя создавать живые, многогранные версии исторических событий.

Цифровизация семейной памяти не отменяет ее интимный и межпоколенческий характер, хотя и радикально меняет формы ее существования. Семейное прошлое все чаще хранится не в коробках и альбомах, а в облачных хранилищах, профилях, лентах, чатах, цифровых архивах и генеалогических

сервисах, оно вспоминается не только через рассказ старших, но и через интерфейсы поиска, напоминания, комментирования и алгоритмической выдачи. Поэтому семейная память, считавшаяся наиболее удаленной от медиатизации, в действительности оказывается одной из наиболее интенсивно цифровизирующихся областей памяти: именно здесь особенно отчетливо видно, как цифровые технологии превращают воспоминания из домашней коммуникативной практики сохранения памяти о предках в распределенную медиапрактику отбора, демонстрации, архивации и совместной реконструкции прошлого.

Цифровизация семейной памяти о Великой Отечественной войне

Семейная память о Великой Отечественной войне (ВОВ) занимает центральное место в российском национальном сознании, поскольку она способствует сохранению исторического наследия и играет важную роль в формировании идентичности и моральных ориентиров у новых поколений. Она передается через личные рассказы, семейные архивы, фотографии и другие материальные объекты, оставаясь основой для культурной памяти и патриотического воспитания. Однако в условиях цифровой эпохи семейная память о ВОВ подвергается медиатизации и цифровизации, что открывает новые возможности для ее сохранения и распространения (Ивкин, 2020; Тощенко, 2020; Бараш, 2021).

Процесс цифровизации семейной памяти о Великой Отечественной войне активно развивается в последние десятилетия. Примером такого процесса является проект «Память народа»[1], который оцифровывает архивные документы, связанные с ВОВ, и предоставляет доступ к ним через интернет-платформы. Этот проект помогает сохранить важнейшие исторические документы, создавая возможность для пользователей активно участвовать в восстановлении и сохранении памяти о войне, добавляя семейные истории и фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ (Отрокова, 2020, с. 43–45). Таким образом, цифровые технологии превращают семейную память в доступный и динамичный ресурс, интегрируя ее в более широкий контекст исторической памяти страны.

Медиатизация семейной памяти о Великой Отечественной войне также проявляется через использование социальных сетей и цифровых платформ для создания виртуальных мемориалов. В социальных медиа создаются сообщества, посвященные ВОВ, где участники публикуют воспоминания о своих родственниках, фотографии и видеоматериалы, связанные с войной. Эти сообщества становятся важными пространствами для обсуждения и распространения семейных историй, поддерживая патриотическое воспитание и формируя новые формы коммеморации. Важно, что в этих виртуальных

1 См.: https://pamyat-naroda.ru/

пространствах память о ВОВ становится доступной для широкой аудитории, что помогает преодолеть временные и пространственные барьеры в передаче исторического опыта (Щипко, 2025).

Цифровизация семейной памяти о Великой Отечественной войне связана с переходом личных свидетельств, фотографий и архивных материалов в открытые онлайн-ресурсы, где семейные истории становятся частью более широкого мемориального пространства. К числу таких сайтов относятся «Я помню»[1], публикующий интервью и воспоминания ветеранов, «Календарь Победы»[2], «Живая история», представляющая собой информационно-просветительский интернет-портал[3], а также «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»[4], ориентированные на публикацию фотографий и материалов из семейных архивов.

Проект «Спасибо деду за Победу!»[5] представляет собой цифровую платформу народной памяти, созданную частным лицом (полковником в отставке, общественником и интернет-продюсером Владимиром Фоминым из Волгограда), на которой пользователи публикуют фотографии, документы и рассказы о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Его основная функция заключается в публичном размещении семейных военных историй в формате общего сетевого архива.

Стоит отметить и проект Министерства обороны РФ «Дорога памяти»[6], представляющий собой цифровую базу данных об участниках Великой Отечественной войны, которая позволяет пользователям загружать фотографии и сведения о своих родственниках, чтобы сохранить семейные истории в составе общенационального мемориального архива. Его смысл заключается в соединении личной и коллективной памяти через цифровую инфраструктуру публичной репрезентации материалов о войне.

Цифровизация также проявляется в таких проектах, как «Бессмертный полк»[7], где пользователи публикуют фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также делятся личными рассказами и воспоминаниями о них. Проект «Бессмертный полк» активно использует социальные сети для формирования коллективной памяти, вовлекая новое поколение в этот процесс через участие в шествиях, а также размещение фотографий и историй в интернете (Коробицына, 2022, с. 108-110). Эти цифровые архивы становятся важным элементом в сохранении памяти, так как они позволяют собирать данные о событиях войны через личные свидетельства, которые часто остаются вне традиционных исторических источников.

1 См.: https://iremember.ru/
2 См.: https://pobeda.elar.ru/
3 См.: https://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/
4 См.: http://fotohroniki.ru/
5 См.: https://cpacibodedu.ru/
6 См.: https://1418museum.ru/
7 См.: https://www.moypolk.ru/

Другим наиболее заметным направлением цифровизации семейной памяти о Великой Отечественной войне становится использование технологий искусственного интеллекта. Сегодня ИИ все активнее участвует в реконструкции и репрезентации семейных историй о войне. Это означает, что искусственный интеллект выступает инструментом новой медиальной организации исторической информации. Показателен проект «Великая Победа»[1], представляющий собой виртуальный интерактивный музей, в котором материалы о Великой Отечественной войне переведены в цифровой мультимедийный формат. Объединяя архивные документы, интерактивные карты, 3D-модели техники, восстановленные с помощью ИИ фотографии военных корреспондентов и интервью с ветеранами, проект создает цифровую среду, в которой индивидуальные и семейные воспоминания включаются в более широкий контекст публичной памяти. В данном случае искусственный интеллект используется как средство визуальной реконструкции и усиления доступности исторического материала, благодаря чему память о войне становится более наглядной и воспринимаемой в цифровой среде.

Иную модель работы с памятью демонстрирует проект «Медведь говорит», в рамках которого создан фильм о Великой Отечественной войне, полностью произведенный с помощью искусственного интеллекта. Основанный на рассекреченных документах советской контрразведки, этот фильм реконструирует операцию «Медведь»/«Лесники», используя реальные архивные материалы. Его значение для исторической памяти заключается в том, что ИИ позволяет переводить сложный исторический материал в форму повествования, рассчитанного на современное цифровое восприятие. В результате война предстает как сюжет, доступный для нового поколения потомков через привычные им медиальные форматы.

Существенную роль ИИ играет и в расширении возможностей семейного поиска. Это особенно заметно в проекте нейросетевого поиска по газетам 1941-1945 гг.[2], реализованном Яндексом и Национальной электронной библиотекой. Объединяя более 200 тысяч страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы, этот проект превращает массив исторической периодики в поисковый инструмент восстановления семейной и локальной памяти. ИИ здесь выполняет функцию интеллектуального посредника между пользователем и архивом, он упрощает поиск сведений о конкретных людях, событиях и местах, позволяя находить упоминания о родственниках и тем самым восстанавливая фрагменты семейной истории, которые ранее были практически недоступны.

Еще одно направление связано с адаптацией памяти о войне к новым формам цифровой коммеморации. Это демонстрируют проекты российской

1 См.: https://vov-pobeda.ru/
2 См.: https://yandex.ru/company/news/01-09-05-2025

финансовой компании «Сбер»: графическая и аудиоверсия стихотворения Александра Твардовского «Василий Тёркин»[1], созданная с применением искусственного интеллекта мультиязычная версия песни «День Победы», переведенная с помощью нейросети GigaChat на языки народов – участников войны, а также обновленная платформа «Бессмертный полк Онлайн», где после авторизации пользователь сразу видит своего героя в составе военной колонны, плечом к плечу с теми, кто воевал. Здесь искусственный интеллект выступает инструментом культурной трансляции, он помогает адаптировать тексты, образы и символы памяти к современным каналам восприятия и тем самым делает семейную память включенной в цифровую публичность. Особенно важно, что подобные проекты ориентированы как на сохранение, так и на передачу памяти, создавая новые формы в медиапространстве, в которых семейная история может быть воспринята, переосмыслена и эмоционально присвоена молодыми поколениями.

«Живая история» и «Бессмертный полк» как цифровые агенты семейной памяти

Всероссийская многофункциональная гражданско-патриотическая платформа «Живая история»[2] и цифровая платформа «Бессмертный полк»[3] могут рассматриваться как значимые агенты семейной памяти о Великой Отечественной войне. Платформа «Живая история» позиционируется как информационно-просветительский интернет-портал, ориентированный на вовлечение молодежи в изучение истории семьи и родного края через публикацию материалов, конкурсы и патриотические проекты. Платформа «Бессмертный полк», в свою очередь, прямо определяет своей главной задачей сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну; формой реализации этой задачи выступает народная летопись на интернет-сайте, где пользователи могут создавать, хранить, дополнять и передавать семейные истории о фронтовиках следующим поколениям. В обоих случаях цифровая инфраструктура выступает здесь механизмом межпоколенческой передачи и коллективного воспроизводства семейной памяти о войне.

На сайте «Живая история» в 2014-2025 гг. был собран 9991 текст, авторами которых выступили школьники и студенты первых курсов. Тексты были исследованы методом сплошного автоматизированного парсинга открытых страниц портала с извлечением основных метаданных, после чего был создан единый корпус данных посредством предобработки, включавшей удаление дублей и стандартизацию метаполей. Для углубленного анализа из общего массива была сформирована целевая выборка объемом 602 текста, тематически связанных с семейной памятью о Великой Отечественной войне. Отбор осуществлялся

1 См.: https://www.sberbank.com/promo/vasiliy_terkin/
2 См.: https://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/
3 См.: https://www.moypolk.ru/

в два этапа: сначала применялась автоматическая фильтрация по ключевым словам и рубрикам портала, затем проводилась ручная проверка содержательного соответствия. В итоговую выборку вошли только тексты, содержащие семейные нарративы о родственниках – участниках войны. Работы общего описательного характера исключались. Количественный анализ метаданных проводился на полном массиве (N = 9991), а лингвистический и семантический анализ – на целевой выборке (N = 602).

На платформе «Бессмертный полк» было исследовано 981 467 карточек за период 2012–2025 гг. Каждая карточка содержит сведения о конкретном участнике войны: имя, звание, место рождения и призыва, биографическое описание, фотографии, награды, а также данные о публикации записи. Для анализа этого массива данных были применены методы компьютерной лингвистики, статистики и машинного обучения, что позволило выявить в нем устойчивые содержательные и структурные закономерности.

Распределение конкурсных работ на платформе «Живая история» по годам отражает динамику мемориальной повестки (рисунок 1). После относительно высокого уровня участия в проекте в 2016 г. наблюдается постепенное снижение активности, затем кратковременный рост к 2020 г., новый спад с минимумом в 2022 г. и резкий подъем в 2023–2025 гг., где последний год демонстрирует наиболее высокое значение за весь рассматриваемый период. В целом распределение позволяет предположить, что интенсивность участия в проекте зависит от степени общественной и институциональной актуализации темы Великой Отечественной войны.

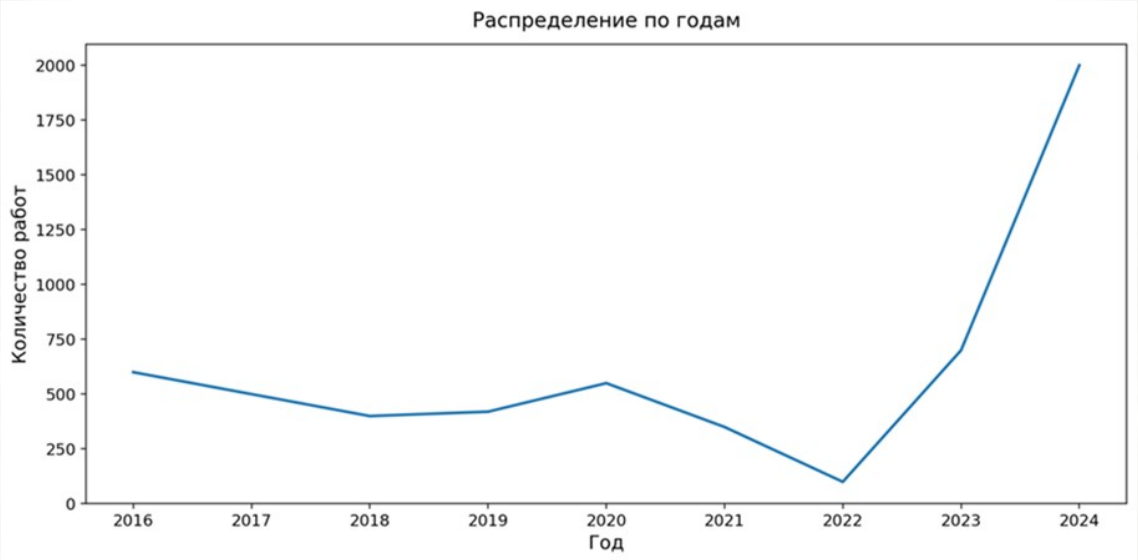


Рисунок 1. Распределение количества конкурсных работ по годам публикации на портале «Живая история» (N = 9991)

Figure 1. Distribution of the number of competitive works by year of publication on the “Zhivaya istoriya” portal (N = 9991)

Анализ динамики подачи карточек на платформу «Бессмертный полк» за 2012–2025 гг. также показывает выраженную цикличность мемориальной активности (рисунок 2). График имеет отчетливо пульсирующий характер, практически каждый год наблюдается резкий рост числа публикаций в апреле-мае, за которым следует быстрый спад. Такая сезонная структура напрямую связана с календарем коммеморации, поскольку основная волна пользовательской активности приурочена к празднованию 9 мая. Вместе с тем на общем фоне выделяются два особенно значительных всплеска. Первый приходится на май 2015 г., т. е. на 70-летие Победы, когда число поданных карточек достигло примерно 97 тыс. Второй, наиболее мощный пик, наблюдается в мае 2020 г., когда было опубликовано 248 299 карточек. Этот скачок связан с пандемией COVID-19 и переводом мемориальных практик в онлайн-формат; невозможность очного участия в шествиях сопровождалась резким ростом цифровой коммеморации. Тем самым платформа из вспомогательного инструмента подготовки к офлайн-акции превратилась в самостоятельную инфраструктуру цифровой памяти.



Рисунок 2. Распределение карточек по годам загрузки на сайте «Бессмертный полк» (N = 981 467)

Figure 2. Distribution of cards by year of upload on the “Bessmertnyy polk” website (N = 981 467)

Полученные данные подтверждают закономерности, выявленные на материале платформы «Живая история». В обоих случаях рост пользовательской активности приходится на юбилейные даты Победы и периоды усиления общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, тогда как в меж-юбилейные годы интенсивность участия заметно снижается.

Анализ распределения авторов работ на платформе «Живая история» по половому признаку показывает выраженную гендерную асимметрию. Среди

602 текстов авторство женщин составляет 77,7% корпуса, тогда как доля мужчин равна 22,3%. Устойчивое численное преобладание женской аудитории позволяет говорить не о случайном колебании, а о структурной особенности данного массива. Такое распределение указывает на более высокую вовлеченность девушек в практики школьной и студенческой мемориальной деятельности. Вероятно, это связано как со спецификой самого проекта, ориентированного на создание текстов о семейной и исторической памяти, так и с более общей структурой гуманитарно-образовательной среды, в которой подобные формы участия чаще поддерживаются и воспроизводятся женской аудиторией. В результате цифровая репрезентация семейной памяти о Великой Отечественной войне в рамках проекта в значительной степени формируется через женский опыт письма, семейного рассказа и мемориальной рефлексии.

Это подтверждает и облако слов, составленное по текстам конкурсных работ проекта «Живая история». Преобладание женщин среди авторов проекта «Живая история» и высокая частотность слова «бабушка» в корпусе текстов позволяют говорить о значимой роли женского участия в сохранении и передаче исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этих нарративах память о войне репрезентируется не столько через описание боевых действий или официальных событий, сколько через семейные отношения, заботу, повседневный опыт и устный рассказ. Именно бабушка чаще всего выступает посредником между прошлым и настоящим, через ее воспоминания молодые авторы получают первые знания о войне, осваивают семейную историю и связывают ее с общенациональной памятью. Ее образ объединяет функции хранительницы фотографий, писем и семейных архивов с ролью морального свидетеля, чьи рассказы передают не только факты, но и ценностные смыслы. В этом смысле женское участие оказывается ключевым не только для межпоколенческой трансляции памяти, но и для ее цифровой репрезентации. Как показывает А. Ридинг, забота о семейном архиве традиционно во многом возлагалась на женщин, и в цифровую эпоху эта функция не исчезает, а трансформируется. Женщины все чаще становятся создателями и кураторами цифровых семейных коллекций, инициаторами публикации архивных материалов и посредниками в переводе частной памяти в публичный цифровой формат (Reading, 2016, p. 32–40). Тем самым участие женщин обеспечивает не только сохранение семейной памяти о войне, но и ее включение в современные цифровые формы существования.

Анализ распределения текстов проекта «Живая история» по возрастным группам авторов с применением методики Flesch Reading Ease, предложенной Рудольфом Флешем, показывает, что ожидаемого усложнения и лексического разнообразия написанных историй с увеличением возраста авторов не наблюдается (рисунок 3). Напротив, медианные значения читаемости у младшей группы (≤14 лет) оказываются выше, тогда как у групп 17–18 и 19+ тексты в среднем более однотипны и легче поддаются стандартизации. При этом

группа 15–16 лет демонстрирует наибольший разброс значений, что указывает на внутреннюю неоднородность корпуса. Таким образом, зависимость между возрастом автора и структурно-речевой сложностью текста носит не линейный, а более сложный характер.

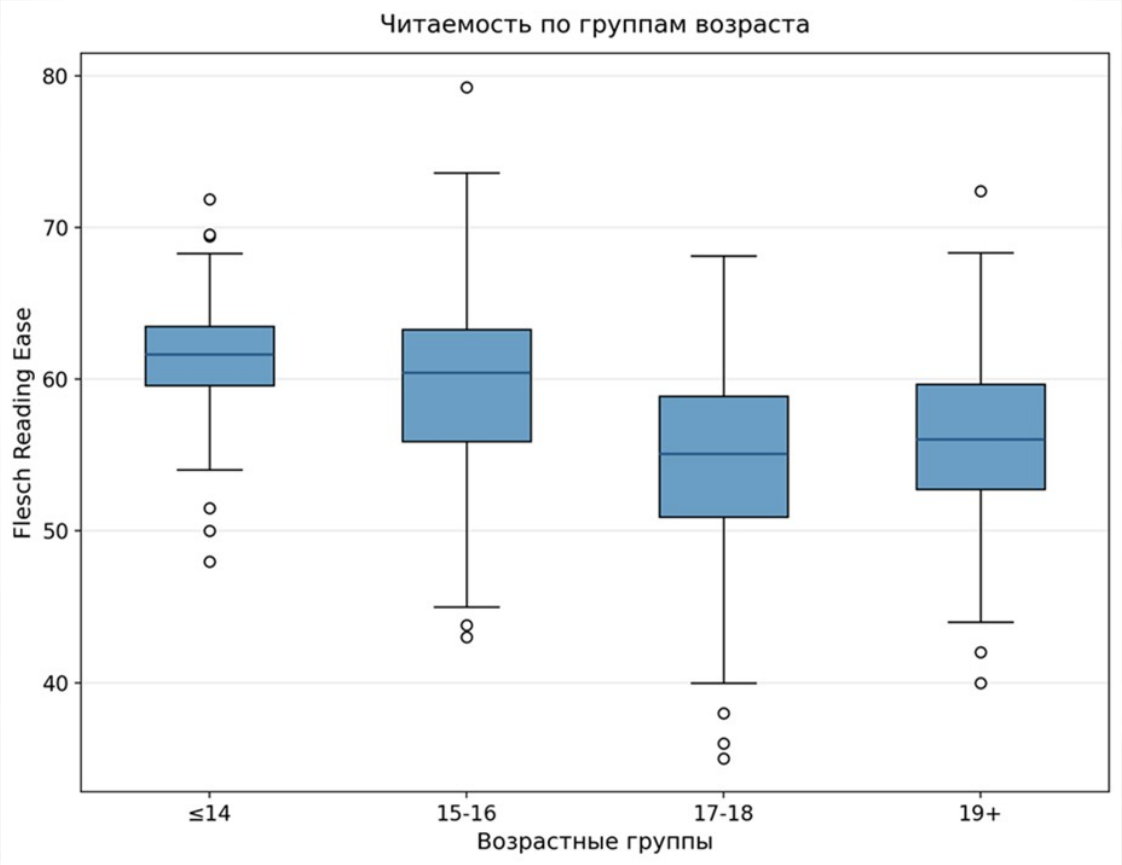


Рисунок 3. Распределение показателей сложности текста в проекте «Живая история» (Flesch Reading Ease) по возрастным группам авторов (N = 602)

Figure 3. Distribution of text complexity indicators in the “Zhivaya istoriya” project (Flesch Reading Ease) by author age group (N = 602)

Полученные данные позволяют предположить, что различия в уровне текстов конкурсных работ в разных возрастных группах связаны не столько с естественным ростом письменной компетенции, сколько с особенностями практики создания конкурсных работ. В младших возрастных группах тексты, вероятно, чаще создаются при существенном участии взрослых, что отражается в их большей композиционной выстроенности и стилистической оформленности. В старших группах, напротив, заметнее проявляется тенденция к формализованному выполнению задания, нередко сопровождающемуся использованием шаблонных или компилятивных стратегий письма. В результате тексты старших участников оказываются не более сложными,

а, напротив, более предсказуемыми по своей структуре и языковой организации.

Количественный анализ отобранного корпуса в 100 000 текстов сайта «Бессмертный полк» подтверждает и расширяет выводы, сделанные на материале проекта «Живая история». Результаты исследования позволяют зафиксировать и концептуально осмыслить процесс трансформации семейной памяти в цифровой среде как движение от нарративизации к формализации. Сама структура распределения типов текстов уже указывает на наличие двух конкурирующих режимов репрезентации прошлого: интерсубъективно переживаемого и институционально стандартизированного. Доминирование семейных нарративов (40,3%) и формальных записей (36,0%) при значительной доле смешанных форм (23,0%) свидетельствует о том, что платформа функционирует как переходная зона, в которой одновременно сосуществуют разные режимы памяти (рисунок 4).

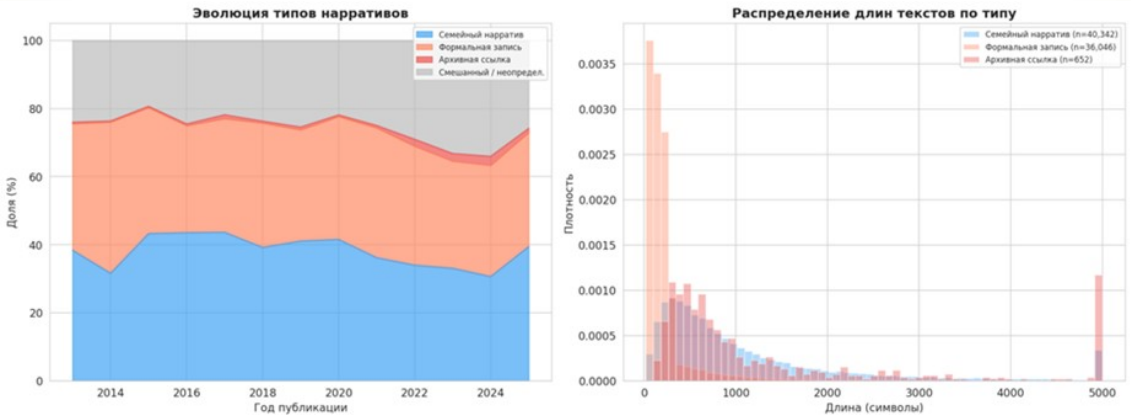


Рисунок 4. Эволюция типов нарративов на сайте «Бессмертный полк»:
(левая панель: распределение по годам, доля каждого типа;
правая панель: распределение длин текстов по типу)

Figure 4. Evolution of narrative types on the “Bessmertnyy polk” website:
(left panel: distribution by year, share of each type;
right panel: distribution of text lengths by type)

Анализ распределения длин текстов подтверждает принципиальное различие этих режимов. Семейные нарративы характеризуются существенно большей протяженностью (медиана 709 символов против 158 у формальных записей), что отражает их повествовательную природу: включенность в структуру рассказа, наличие субъекта высказывания, а также стремление к смысловой насыщенности через детали, эмоции и интерпретации. Формальные записи, напротив, демонстрируют редуцированную структуру, ориентированную на фиксацию фактов, дат и статусов. Статистически значимое различие указывает на устойчивость этого разделения, несмотря на высокий разброс текстовых данных. Таким образом, длина текста выступает операциональным

индикатором типа памяти: чем больше нарративная вовлеченность, тем выше степень развернутости текста. Динамика распределения типов по годам выявляет важную тенденцию: постепенное снижение доли семейных нарративов при одновременном росте формальных записей. Если в середине 2010-х гг. нарративные тексты составляли около 44%, то к 2024–2025 гг. их доля снижается до примерно 30%, тогда как формальные записи демонстрируют обратную динамику. Хотя статистическая сила связи между типом нарратива и годом невелика, сама направленность изменения устойчива и интерпретативно значима. Она отражает не случайные колебания, а структурный сдвиг в способах репрезентации прошлого.

Этот сдвиг может быть интерпретирован как эмпирическое подтверждение перехода от коммуникативной к культурной памяти о Великой Отечественной войне (Ассман, 2004). На ранних этапах существования платформы доминируют тексты, основанные на живой семейной передаче: рассказах, воспоминаниях, личных свидетельствах. Эти тексты сохраняют признаки устной традиции, даже будучи зафиксированными в письменной форме, они ориентированы на повествование, включают эмоциональную оценку и встроены в контекст семейной идентичности. В дальнейшем, по мере исчерпания ресурса непосредственной межпоколенческой передачи, возрастает роль архивных источников. Пользователи все чаще воспроизводят данные из институциональных цифровых платформ, что приводит к стандартизации языка и структуры текстов. Особое значение имеет наличие значительной доли смешанных текстов, которые демонстрируют гибридизацию этих режимов. В них сочетаются элементы личного рассказа и формализованных данных, что указывает на промежуточные формы памяти, возникающие в процессе цифровой медиатизации. Эти тексты могут рассматриваться как индикаторы перехода, в которых происходит адаптация личного опыта к требованиям платформенной стандартизации.

Анализ лексического разнообразия текстов на сайте «Бессмертный полк» показывает, что по мере развития платформы они становятся более стандартизированными и шаблонными. Если ранее это проявлялось в росте доли формальных записей, то метрика MATTR (Moving Average Type-Token Ratio) фиксирует ту же тенденцию уже на уровне словоупотребления (рисунок 5). Речь идет о постепенном ослаблении индивидуального речевого рисунка и усилении повторяемых языковых форм, характерных для институционализированной памяти.

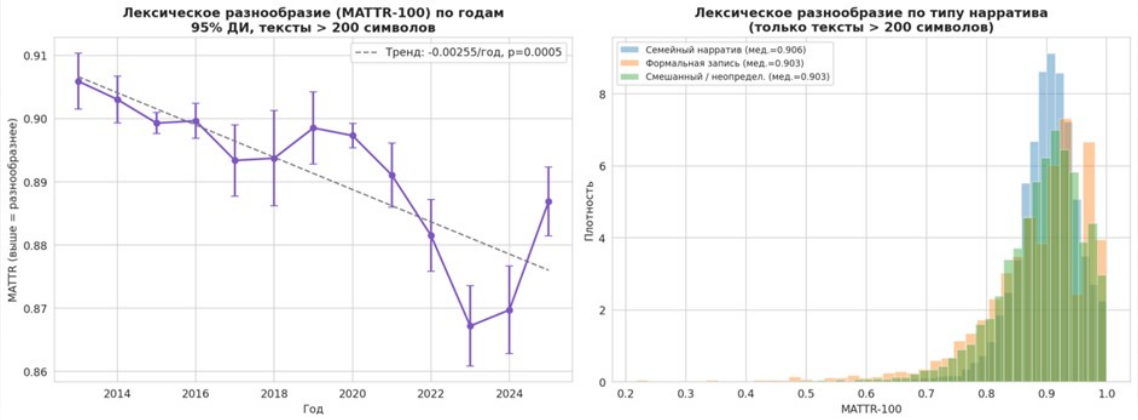


Рисунок 5. Лексическое разнообразие (MATTR-100) по годам на сайте «Бессмертный полк» (левая панель: оценка тренда с 95%-м доверительным интервалом (ДИ); правая: распределение MATTR по типу нарратива)

Figure 5. Lexical diversity (MATTR-100) by year on the “Bessmertnyy polk” website (left panel: trend estimation with 95% confidence interval (CI); right panel: MATTR distribution by narrative type)

Левая панель графика демонстрирует устойчивое снижение MATTR по годам. Если в 2013 г. средний уровень лексического разнообразия составлял около 0,905, то к 2023 г. он снизился примерно до 0,870. Линейный тренд показывает уменьшение MATTR на 0,00255 пункта в год при $p = 0{,}0005$ и $R^2 = 0{,}68$, что свидетельствует о статистически значимой долговременной динамике. Показанный на графике 95% доверительный интервал указывает на то, что данная оценка тренда является достаточно устойчивой и не сводится к случайным колебаниям выборки. Это значит, что поздние тексты оказываются менее лексически разнообразными, чем ранние, а язык памяти все чаще строится на ограниченном наборе устойчивых слов и формул.

Правая панель показывает, что семейные нарративы лишь немного разнообразнее формальных записей, медиана MATTR составляет 0,906 против 0,903. Различие статистически значимо, но содержательно невелико. Это важно, поскольку даже тексты с личным голосом уже во многом организованы общим военным словарем и повторяемыми мемориальными формулами. Следовательно, стандартизация затрагивает не только формальные карточки, но и семейные рассказы.

Содержательно это позволяет говорить о двойном процессе. С одной стороны, семейная память на платформе сохраняет нарративную функцию, так как пользователь стремится не просто сообщить факт, но рассказать историю, вписать предка в семейный и национальный контекст, артикулировать связь поколений. С другой стороны, сама цифровая среда задает условия, при которых этот рассказ все чаще строится с опорой на готовые речевые матрицы. Пользователь не просто вспоминает, а вспоминает в рамках уже существующего публичного языка памяти. Поэтому даже индивидуальный

рассказ постепенно начинает подчиняться повторяющимся формулам. В результате возникает особый тип платформенной памяти, в которой личное содержание выражается через стандартизированные языковые шаблоны.

Выводы

Семейная память в цифровую эпоху перестает быть исключительно приватной формой межпоколенческой передачи опыта и превращается в сложную медиатизированную практику, разворачивающуюся в социально-эпистемических аренах, где взаимодействуют пользователи, институты, платформы, алгоритмы и интерфейсы. Это означает, что память о прошлом, в том числе о Великой Отечественной войне, сегодня формируется прежде всего усилиями семьи как носителя коммуникативной традиции, но также и благодаря цифровым агентам, которые задают условия воспроизводства семейных воспоминаний. Тем самым семейная память включается в более широкий процесс цифрового конструирования прошлого, в котором личное воспоминание становится частью публичной, платформенно организованной и медиаопосредованной культурной памяти. Особенно наглядно эта трансформация проявляется в рассмотренных кейсах «Живая история» и «Бессмертный полк».

Платформа «Живая история» показывает, что цифровая среда может выступать механизмом вовлечения молодежи в практики семейного воспоминания, стимулируя перевод устных рассказов, семейных архивов и локальных биографий в письменный и публично доступный формат. Здесь цифровой агент действует как инфраструктура инициирования памяти. Конкурсный формат, тематическая рамка, интерфейс публикации и образовательная логика платформы побуждают автора не просто сообщить сведения о прошлом, а осмыслить их, оформить в нарратив и включить в символическое пространство гражданско-патриотической культуры. При этом сама структура платформы влияет на то, как именно память становится текстом, она поддерживает определенные жанры письма, поощряет мемориальную рефлексию и тем самым соучаствует в производстве семейной истории как социально значимого высказывания.

Кейс «Бессмертного полка» позволяет увидеть другой аспект этого процесса. Проект демонстрирует, как цифровая платформа превращается в масштабную инфраструктуру массовой коммеморации, в которой семейная память подвергается одновременно сохранению, типизации и стандартизации. Проведенный анализ показал, что на платформе сосуществуют разные режимы репрезентации прошлого: развернутый семейный нарратив, формальная биографическая запись и промежуточные гибридные формы. Однако в долгосрочной динамике выявляется отчетливая тенденция к снижению доли семейных нарративов и росту формализованных записей, а также к сокращению лексического разнообразия текстов. Это позволяет заключить, что по мере развития платформы и удаления от живой межпоколенческой

передачи семейная память все в большей степени опирается на архивные источники, повторяемые речевые формулы и институционально заданные шаблоны описания прошлого. Иными словами, цифровая платформа перестраивает сам способ создания семейных историй, а не просто выступает в роли архива.

В этом контексте цифровые агенты следует понимать в качестве активных участников конструирования семейной памяти. Именно они определяют, какие семейные истории будут опубликованы, в каком жанре они будут представлены, какие элементы прошлого окажутся более заметными, какие речевые формулы закрепятся как нормативные и какие способы воспоминания будут постепенно вытесняться. Платформенные интерфейсы направляют пользователя, архивные базы данных задают фактический каркас истории, алгоритмические механизмы поиска и сортировки упрощают доступ к информации, но одновременно способствуют унификации мемориального высказывания. В результате семейная память становится особой формой медиапамяти, где личное свидетельство включается в режимы платформенной видимости, публичного распространения и культурной стандартизации.

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Авторы были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Артамонов Денис Сергеевич – разработка концепции исследования, теоретический анализ, написание теоретических разделов. Шилова Светлана Алексеевна – проведение эмпирического исследования, интерпретация и описание результатов

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-01261, https://rscf.ru/project/25-28-01261/

This research was funded by the Russian Science Foundation, grant no. 25-28-01261, https://rscf.ru/project/25-28-01261/

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Авторы выражают благодарность Тихоновой Софье Владимировне за концептуальное обсуждение темы исследования; Мельничуку Дмитрию Владимировичу за математическую и компьютерную обработку данных исследования, Тихонову Глебу Игоревичу за работу по сбору данных.

Список литературы

Barnwell, A., Neves, B. B., & Ravn, S. (2023). Captured and Captioned: Representing Family Life on Instagram**. *New Media & Society*, 25(5), 921–942. https://doi.org/10.1177/14614448211012791

Beer, D. (2017). The Social Power of Algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. John Wiley & Sons.

Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016). Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. *Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems*, 191–198. https://doi.org/10.1145/2959100.2959190

DaCosta, B. (2025). Speaking with the Past: Constructing AI-Generated Historical Characters for Cultural Heritage and Learning. *Heritage*, 8(9), 387. https://doi.org/10.3390/heritage8090387

Dijck, J. van, Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford University Press.

Erll, A. (2011). *Memory in Culture*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230321670

Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001

Fuller, S. (2002). *Social Epistemology*. Indiana University Press.

Goldman, A. I. (1999). *Knowledge in a Social World*. Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198238207.001.0001

Grønning, A. (2021). Micro-Memories: Digital Modes of Communication Across Three Generations. *Memory Studies*, 14(4), 733–746. https://doi.org/10.1177/1750698020959810

Helmond, A., & Van Der Vlist, F. N. (2019). Social Media and Platform Historiography: Challenges and Opportunities. *TMG Journal for Media History*, *22*(1), 6. https://doi.org/10.18146/tmg.434

Holloway, D., & Green, L. (2017). Mediated Memory Making: The Virtual Family Photograph Album. *Communications*, *42*(3). https://doi.org/10.1515/commun-2017-0033

Hoskins, A. (Ed.). (2018). *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315637235

Hoskins, A. (2024). AI and Memory. *Memory, Mind & Media*, 3, e18. https://doi.org/10.1017/mem.2024.16

Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/1881.001.0001

Jacobsen, B., & Beer, D. (2021). *Social Media and the Automatic Production of Memory: Classification, Ranking and the Sorting of the Past* (1st ed.). Bristol University Press. https://doi.org/10.46692/9781529218176

Jakubowicz, A. (2009). Remembering and Recovering Shanghai: Seven Jewish Families [Re]-connect in Cyberspace. In J. Garde-Hansen, A. Hoskins, & A. Reading (Eds.), *Save As … Digital Memories* (pp. 96–114). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230239418_6

Jones, J., & Ackerman, M. S. (2018). Co-constructing Family Memory: Understanding the Intergenerational Practices of Passing on Family Stories. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–13. https://doi.org/10.1145/3173574.3173998

Kitchin, R. (2017). Thinking Critically About and Researching Algorithms. *Information, Communication & Society*, *20*(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087

Marselis, R. (2024). Colourising the Past: Digital Visual Repatriation of Colourised Sámi Photography. *Memory, Mind & Media*, 3, e16. https://doi.org/10.1017/mem.2024.9

O'Connor, C., & Weatherall, J. O. (2019). *The Misinformation Age: How False Beliefs Spread*. Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv8jp0hk

Origgi, G. (2012). Epistemic Injustice and Epistemic Trust. *Social Epistemology*, *26*(2), 221–235. https://doi.org/10.1080/02691728.2011.652213

Petrelli, D., & Whittaker, S. (2010). Family Memories in the Home: Contrasting Physical and Digital Mementos. *Personal and Ubiquitous Computing*, 14(2), 153–169. https://doi.org/10.1007/s00779-009-0279-7

Reading, A. (2016). *Gender and Memory in the Globital Age*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-35263-7

Richardson-Walden, V. G., & Marrison, K. (2024). An Entangled Memoryscape: Holocaust Memory on Social Media. *Memory, Mind & Media*, 3, e23. https://doi.org/10.1017/mem.2024.15

Rodin, P., Ghersetti, M., & Odén, T. (2019). Disentangling Rhetorical Subarenas of Public Health Crisis Communication: A Study of the 2014–2015 Ebola Outbreak in the News Media and Social Media in Sweden. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, *27*(3), 237–246. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12254

Roued, H., Castenbrandt, H., & Revuelta-Eugercios, B. A. (2023). Search, Save and Share: Family Historians' Engagement Practices with Digital Platforms. *Archival Science*, 23(2), 187–206. https://doi.org/10.1007/s10502-022-09404-4

Артамонов, Д. С. (2022). Социально-эпистемические арены познания истории. *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*, 22(3), 238–242. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2022-22-3-238-242

Ассман, Я. (2004). *Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. Языки славянской культуры.

Бараш, Р. Э. (2021). Семейная память россиян перед вызовами настоящего времени. *Социально-политические науки*, 11(5), 13–26. https://doi.org/10.33693/2223-0092-2021-11-5-13-26

Гришечкина, Н. В., & Тихонова, С. В. (2018). Гражданская экспертиза и научное знание в цифровую эпоху. *Эпистемология и философия науки*, 55(2), 123–138. https://doi.org/10.5840/eps201855233

Ивкин, В. И. (2020). Информационные ресурсы открытого доступа, посвященные Великой Отечественной войне, и исторические исследования. *Гуманитарный вестник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения*, (4), 21–28.

Коробицына, Л. В. (2022). Память о Великой Отечественной войне в интернет-пространстве российских социальных сетей. *История: Факты и символы*, (2), 108–114. https://doi.org/10.24888/2410-4205-2022-31-2-108-114

Отрокова, О. Ю. (2020). Архивные источники «Памяти народа» в цифровом формате: Структура и особенности. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (11–1), 43-46. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-11337

Тихонова, С. В., & Фролова, С. М. (2020). Историческая память и медиальный поворот: Цифровизация прошлого. *Вестник Поволжского института управления*, 20(4), 78–85. https://doi.org/10.22394/1682-2358-2020-4-78-85

Тощенко, Ж. Т. (2020). Что происходит с исторической памятью о Великой Отечественной войне? *Социологические исследования*, (5), 18–22.

Хальбвакс, М. (2007). *Социальные рамки памяти*. Новое издательство.

Шиповалова, Л. В. (2019). Распределенное познание и его границы в контексте публичной научной коммуникации. *Социология науки и технологий*, 10(3), 56–71. https://doi.org/10.24411/2079-0910-2019-13003

Щипко, В. Р. (2025). Социальные сети и платформы для популяризации историй о Великой Отечественной войне среди молодёжной аудитории. *Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования*, (21), 182–186. https://doi.org/10.36683/FP-21/182-186

** — принадлежит компании "Meta", признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

References

Artamonov, D. S. (2022). Socio-Epistemic Arenas of Historical Cognition. *Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 22(3), 238–242. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2022-22-3-238-242 (In Russian).

Assmann, J. (2004). *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Languages of Slavic Culture. (In Russian).

Barash, R. E. (2021). Family Memory of the Russia's Citizens in the Context of Actual Social Challenges. *Sociopolitical Sciences*, 11(5), 13–26. https://doi.org/10.33693/2223-0092-2021-11-5-13-26 (In Russian).

Barnwell, A., Neves, B. B., & Ravn, S. (2023). Captured and Captioned: Representing Family Life on Instagram**. *New Media & Society*, 25(5), 921–942. https://doi.org/10.1177/14614448211012791

Beer, D. (2017). The Social Power of Algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. John Wiley & Sons.

Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016). Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. *Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems*, 191–198. https://doi.org/10.1145/2959100.2959190

DaCosta, B. (2025). Speaking with the Past: Constructing AI-Generated Historical Characters for Cultural Heritage and Learning. *Heritage*, 8(9), 387. https://doi.org/10.3390/heritage8090387

Dijck, J. van, Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford University Press.

Erll, A. (2011). *Memory in Culture*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230321670

Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001

Fuller, S. (2002). *Social Epistemology*. Indiana University Press.

Goldman, A. I. (1999). *Knowledge in a Social World*. Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198238207.001.0001

Grishechkina, N. V., & Tikhonova, S. V. (2018). Civil Expertise of Scientific Knowledge in the Digital Era. *Epistemology & Philosophy of Science*, 55(2), 123–138. https://doi.org/10.5840/eps201855233 (In Russian).

Grønning, A. (2021). Micro-Memories: Digital Modes of Communication Across Three Generations. *Memory Studies*, 14(4), 733–746. https://doi.org/10.1177/1750698020959810

Halbwachs, M. (2007). The Social Frameworks of Memory. New Publishing House. (In Russian).

Helmond, A., & Van Der Vlist, F. N. (2019). Social Media and Platform Historiography: Challenges and Opportunities. *TMG Journal for Media History*, 22(1), 6. https://doi.org/10.18146/tmg.434

Holloway, D., & Green, L. (2017). Mediated Memory Making: The Virtual Family Photograph Album. *Communications*, 42(3). https://doi.org/10.1515/commun-2017-0033

Hoskins, A. (2024). AI and Memory. *Memory, Mind & Media*, 3, e18. https://doi.org/10.1017/mem.2024.16

Hoskins, A. (Ed.). (2018). *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315637235

Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/1881.001.0001

Ivkin, V. I. (2020). Open-Access Information Resources Devoted to the Great Patriotic War and Historical Research. Humanitarian Bulletin of the Military Academy of the Strategic Missile Forces, (4), 21–28. (In Russian).

Jacobsen, B., & Beer, D. (2021). *Social Media and the Automatic Production of Memory: Classification, Ranking and the Sorting of the Past* (1st ed.). Bristol University Press. https://doi.org/10.46692/9781529218176

Jakubowicz, A. (2009). Remembering and Recovering Shanghai: Seven Jewish Families [Re]-connect in Cyberspace. In J. Garde-Hansen, A. Hoskins, & A. Reading (Eds.), *Save As … Digital Memories* (pp. 96–114). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230239418_6

Jones, J., & Ackerman, M. S. (2018). Co-constructing Family Memory: Understanding the Intergenerational Practices of Passing on Family Stories. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–13. https://doi.org/10.1145/3173574.3173998

Kitchin, R. (2017). Thinking Critically About and Researching Algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087

Korobitsyna, L. V. (2022). Memory of the Great Patriotic War in the Internet Space of Russian Social Networks. *History: Facts and Symbols*, (2), 108–114. https://doi.org/10.24888/2410-4205-2022-31-2-108-114 (In Russian).

Marselis, R. (2024). Colourising the Past: Digital Visual Repatriation of Colourised Sámi Photography. *Memory, Mind & Media*, 3, e16. https://doi.org/10.1017/mem.2024.9

O'Connor, C., & Weatherall, J. O. (2019). *The Misinformation Age: How False Beliefs Spread*. Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv8jp0hk

Origgi, G. (2012). Epistemic Injustice and Epistemic Trust. *Social Epistemology*, 26(2), 221–235. https://doi.org/10.1080/02691728.2011.652213

Otrokova, O. Yu. (2020). Archival Sources on the History of the Great Patriotic War in Digital Format: Structure and Features. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, (11–1), 43–46. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-11337 (In Russian).

Petrelli, D., & Whittaker, S. (2010). Family Memories in the Home: Contrasting Physical and Digital Mementos. *Personal and Ubiquitous Computing*, 14(2), 153–169. https://doi.org/10.1007/s00779-009-0279-7

Reading, A. (2016). *Gender and Memory in the Globital Age*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-35263-7

Richardson-Walden, V. G., & Marrison, K. (2024). An Entangled Memoryscape: Holocaust Memory on Social Media. *Memory, Mind & Media*, 3, e23. https://doi.org/10.1017/mem.2024.15

Rodin, P., Ghersetti, M., & Odén, T. (2019). Disentangling Rhetorical Subarenas of Public Health Crisis Communication: A Study of the 2014–2015 Ebola Outbreak in the News Media and Social Media in Sweden. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 27(3), 237–246. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12254

Roued, H., Castenbrandt, H., & Revuelta-Eugercios, B. A. (2023). Search, Save and Share: Family Historians' Engagement Practices with Digital Platforms. *Archival Science*, 23(2), 187–206. https://doi.org/10.1007/s10502-022-09404-4

Shchipko, V. R. (2025). Social Networks and Platforms for Popularization of Events of the Great Patriotic War Among the Youth Audience. *Education and Science Without Borders: Fundamental and Applied Research*, (21), 182–186. https://doi.org/10.36683/FP-21/182-186 (In Russian).

Shipovalova, L. V. (2019). Distributed Cognition and its Boundaries in the Context of Public Science Communication. *Sociology of Science and Technology*, 10(3), 56–71. https://doi.org/10.24411/2079-0910-2019-13003 (In Russian).

Tikhonova, S. V., & Frolova, S. M. (2020). Historical Memory and the Medial Turn: Digitalization of the Past. *Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 20(4), 78–85. https://doi.org/10.22394/1682-2358-2020-4-78-85 (In Russian).

Toshchenko, Zh. T. (2020). What is Happening to Historical Memory of the Great Patriotic War? Sociological Studies, (5), 18–22. (In Russian).

** — owned by Meta, an organization recognized as extremist and banned in the Russian Federation

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа – новые коммуниканты | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.769

Neural Networks as Agents of Symbolic Production: A Socio-Philosophical Interpretation of Digital Sociality

Anton V. Luchnikov[1], **& Dmitry V. Melnichuk**[2]

Saratov State University. Saratov, Russia

Received: 29 March 2026 | Revised: 27 April 2026 | Accepted: 3 May 2026

Abstract

The article examines the problem of the transformation of the status of neural network technologies in the context of digital sociality. Neural networks are no longer merely tools for data processing, becoming participants in symbolic production. Particular attention is paid to the contradiction between the functional efficiency of neural networks and their lack of moral subjectivity, as well as to the role of mythologization in constructing them as quasi-subjects. It is shown that the integration of neural networks into social practices is accompanied by changes in the boundaries of authorship, responsibility, and social action. The aim of the study is to provide a socio-philosophical interpretation of the processes of neural network socialization, their agency, and their place within the structure of contemporary social ontology. The study demonstrates that neural networks form a new social repertoire and are integrated into institutional practices as functionally autonomous agents, redistributing cognitive, communicative, and expert roles. Key mechanisms of their socialization are identified, including discursive mythologization and institutional integration, and a typology of scenarios for the development of neural network sociality is proposed. The article concludes that it is necessary to reconsider classical notions of subjectivity and responsibility in the context of emerging hybrid sociality. The article is intended for researchers in social philosophy, media studies, and philosophy of technology, as well as for scholars examining the digital transformation of society.

Keywords

Neural Networks; Digital Sociality; Symbolic Production; Neural Network Agency; Mythologization of Neural Networks; Algorithmic Systems; Institutional Integration; Digital Media; Philosophy of Technology; Artificial Intelligence

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License
© 2026 Anton V. Luchnikov, & Dmitry V. Melnichuk

1 Email: aluchnikov[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-2190-129X
2 Email: melnichukdv[at]sgu.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-6689-8904

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media – New Communicants | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.769

Нейросети как агенты символического производства: социально-философское осмысление цифровой социальности

Лучников Антон Викторович[1], **Мельничук Дмитрий Вадимович**[2]

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Саратов, Россия

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 27 апреля 2026 | Принята: 3 мая 2026

Аннотация

В статье рассматривается проблема трансформации статуса нейросетевых технологий в условиях цифровой социальности. Нейросети перестают быть просто инструментами обработки данных, а становятся участниками символического производства. Особое внимание уделяется противоречию между функциональной эффективностью нейросетей и отсутствием у них моральной субъектности, а также роли мифологизации в конструировании их как квазисубъектов. Показано, что включение нейросетей в социальные практики сопровождается изменением границ авторства, ответственности и социального действия. Цель исследования заключается в социально-философском осмыслении процессов социализации нейросетей, их агентности и места в структуре современной социальной онтологии. В результате установлено, что нейросети формируют новый социальный репертуар и включаются в институциональные практики как функционально автономные агенты, перераспределяя когнитивные, коммуникативные и экспертные роли. Выделены ключевые механизмы их социализации, включая дискурсивную мифологизацию и институциональную интеграцию, а также предложена типология сценариев развития нейросетевой социальности. Сделан вывод о необходимости пересмотра классических представлений о субъектности и ответственности в условиях формирования гибридной социальности. Статья рассчитана на исследователей в области социальной философии, медиаисследований и философии технологий, а также на специалистов, изучающих цифровую трансформацию общества.

Ключевые слова

нейросети; цифровая социальность; символическое производство; нейросетевая агентность; мифологизация нейросетей; алгоритмические системы; институциональная интеграция; цифровые медиа; философия технологий; искусственный интеллект



Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Лучников Антон Викторович, Мельничук Дмитрий Вадимович

1 Email: aluchnikov[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-2190-129X
2 Email: melnichukdv[at]sgu.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-6689-8904

Введение

Анализ алгоритмической рациональности как парадигмальной характеристики современного социального познания предполагает обращение к конкретным технологическим формам, в которых эта рациональность воплощается и воспроизводится. Наиболее заметной из этих форм стали нейронные сети, которые за последние десятилетия прошли путь от узкоспециализированных вычислительных моделей до системных участников социальных процессов. Вопрос о статусе нейросетей в цифровой социальности требует одновременно технической и философской проработки, которая включает реконструкцию генеалогии нейросетевых технологий, анализ их архитектурной эволюции и осмысление тех социальных функций, которые они начинают выполнять в структуре общественного воспроизводства.

Генеалогия искусственных нейронных сетей восходит к 1943 г., когда нейрофизиолог У. Маккаллок и математик У. Питтс предложили первую формальную модель искусственного нейрона, способного выполнять логические операции на основе пороговой функции активации (McCulloch & Pitts, 1943). Эта работа, сама по себе не содержавшая программной реализации, заложила концептуальный фундамент для всей последующей традиции, так как впервые продемонстрировала возможность моделирования когнитивных процессов средствами математической логики. В 1949 г. Д. Хебб сформулировал правило обучения, согласно которому связь между одновременно активирующимися нейронами усиливается (Hebb, 1949, p. 62), что задало принцип адаптивного обучения, ставший основой для большинства последующих алгоритмов тренировки нейронных сетей.

Важной вехой стало создание Ф. Розенблаттом перцептрона в 1958 г. (Rosenblatt, 1958). Перцептрон представлял собой первую обучаемую нейронную сеть, способную к классификации входных образов. Его появление вызвало значительный оптимизм, так как представлялось, что для создания полноценного аналога человеческого мышления достаточно масштабировать нейросетевую архитектуру. Однако публикация М. Минского и С. Паперта в 1969 г. продемонстрировала ограничения однослойного перцептрона, в частности, невозможность решения задач, требующих нелинейного разделения классов (Minsky & Papert, 1969). Эта критика фактически остановила развитие нейросетевых исследований на полтора десятилетия: период, получивший название «зима искусственного интеллекта».

Возрождение нейросетевых исследований произошло в середине 1980-х гг. благодаря работе Д. Румельхарта, Дж. Хинтона и Р. Уильямса, разработавших алгоритм обратного распространения ошибки для обучения многослойных сетей (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986). Этот алгоритм позволил преодолеть ограничения, зафиксированные Минским, и открыл путь к глубокому обучению. В 1990-е гг. были разработаны архитектуры, определившие

дальнейшее развитие искусственного интеллекта: сверточные нейронные сети Я. Лекуна для обработки изображений (LeCun et al.,1998) и рекуррентные сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) С. Хохрайтера и Ю. Шмидхубера для работы с последовательностями (Hochreiter & Schmidhuber 1997). Сверточная сеть моделировала пространственное распознавание, а рекуррентная воспроизводила временную память, т. е. каждая из этих архитектур воплощала определенный принцип обработки информации.

Новый этап развития начался в 2010-е гг. с появлением генеративно-состязательных сетей И. Гудфеллоу (Goodfellow et al., 2014) и архитектуры трансформера, представленной исследователями Google в 2017 г. (Vaswani et al., 2017). Трансформер заменил последовательную обработку информации механизмом внимания, позволяющим устанавливать связи между любыми элементами входных данных одновременно. Эта архитектура легла в основу больших языковых моделей (LLM), таких как GPT, которые, начиная с 2020 г. (Brown et al., 2020), стали доступны массовому пользователю и заметно преобразили ландшафт цифровой социальности.

Социализация нейросетей: от вычислительных моделей к агентам символического производства

Хронология развития нейронных сетей обнаруживает закономерность, значимую для социально-философского анализа (Гафаров & Галимянов 2018). На протяжении семи десятилетий нейросети прошли путь от абстрактных математических моделей через специализированные вычислительные инструменты к генеративным системам, способным производить тексты, изображения, музыку и программный код, т. е. к системам, оперирующим в символическом пространстве культуры. Этот переход от вычисления к генерации означает качественное изменение статуса нейросетей: из инструментов обработки данных они превращаются в агентов символического производства, что и ставит вопрос об их месте в социальной онтологии. С позиций типологии научной рациональности этот сдвиг указывает на то, что алгоритмическая рациональность обрела собственную техническую инфраструктуру, способную к автономному символическому производству.

Генеалогия нейросетей допускает и более глубокое соотнесение с типологией научной рациональности В. С. Степина. Ранние нейросетевые модели (перцептрон, модель Маккаллока – Питтса) воплощали классическую установку на линейное моделирование детерминированных процессов, предполагающую, что вход определяет выход, а субъект-исследователь остается внешним наблюдателем. Многослойные архитектуры 1980–1990-х гг., работающие с обратным распространением ошибки и стохастическими процессами, обнаруживают черты неклассической рациональности, в которой результат зависит от средств наблюдения, а исследователь вынужден учитывать вероятностный характер выводов. Генеративные модели 2010–2020-х гг., способные

к автономному символическому производству и взаимодействующие с ценностными контекстами общества, корреспондируют с постнеклассической установкой, где субъект, объект и ценностные рамки познания оказываются неразделимы. Таким образом, эволюция нейросетевых архитектур воспроизводит в сжатом виде логику смены типов научной рациональности, обоснованную Степиным (2013, с. 45–59).

Циклический характер развития нейросетевых технологий заслуживает отдельного внимания. Так называемые «зимы искусственного интеллекта» (1970-е – первая половина 1980-х гг. и конец 1980-х – середина 1990-х гг.) демонстрируют, что траектория нейросетевых исследований определяется не только внутренней логикой научного развития, но и институциональными факторами: объемами финансирования, ожиданиями государственных заказчиков, конкуренцией между исследовательскими программами и публичными нарративами о возможностях технологии. Каждый цикл разочарования сопровождался перераспределением ресурсов и переоценкой методологических оснований, а последующий подъем был связан не только с техническими прорывами, но и с изменением социального запроса. Нынешний бум генеративных моделей стал возможен благодаря совпадению нескольких факторов, таких как рост вычислительных мощностей, накопление колоссальных массивов обучающих данных через социальные платформы и формирование экономической модели, в которой алгоритмическая обработка данных стала источником прибыли. Социально-философский анализ должен учитывать эту обусловленность, так как нейросети появляются и развиваются не в эпистемическом вакууме, а внутри конкретных социально-экономических конфигураций, которые определяют их функциональный профиль и границы применимости.

Включение нейросетей в устойчивые формы общественного взаимодействия может быть описано через понятие социализации. С. В. Тихонова вводит понятие социализации Интернета, определяя его как процесс, обратный виртуализации общества (2016, с. 140). Если в ходе виртуализации взаимодействие с реальными социальными инстанциями замещается анонимным оперированием виртуальными образами, то в ходе социализации виртуальные образы обрастают реальными, персонализированными социальными связями. Социальные сети стали инструментом этой социализации, потому что перенесли в виртуальную среду паттерны реального социального взаимодействия: персональную идентификацию, групповую принадлежность, статусные иерархии, нормативные ожидания и механизмы доверия.

С. В. Тихонова подчеркивает, что социализация Интернета не тождественна его утилитарному использованию: речь идет о структурном процессе, в котором сетевое пространство перестает быть альтернативой социальному миру и становится его продолжением (2016, с. 142). Типовые свойства социальных интеракций закладываются не только на уровне алгоритмов взаимо-

действия, но и имплицитно, на уровне ценностных предпосылок и ориентаций социального действия. Аналогичную логику можно обнаружить в процессе включения нейросетевых технологий в общественную жизнь. Если социализация Интернета осуществлялась через социальные сети, наделявшие виртуальную среду человеческой персональностью, то социализация нейросетей осуществляется через диалоговые интерфейсы, наделяющие вычислительную модель квазиперсональными характеристиками. Можно определить социализацию нейросетей как процесс включения нейросетевых технологий в устойчивые формы социального взаимодействия, в ходе которого вычислительные модели приобретают социально значимые функции, интегрируются в институциональные практики и занимают позиции внутри коммуникативных структур общества.

Это определение позволяет зафиксировать сходство и различие двух процессов. Социализация Интернета через социальные сети предполагала перенос уже существующих социальных отношений в цифровую среду. Социализация нейросетей предполагает другой вектор, не перенос, а порождение новых форм взаимодействия, для которых в доцифровом обществе не существовало прототипов. Диалог с чат-ботом, совместное с нейросетью создание текста, алгоритмическая диагностика, автоматическая генерация экспертного заключения, все это не имеет аналогов в доцифровой практике. Поэтому социализация нейросетей представляет собой не столько адаптацию технологии к обществу, сколько порождение нового социального опыта на стыке вычислительных процедур и человеческих практик.

Социализация нейросетей обладает еще одной характеристикой, отсутствовавшей в процессе социализации Интернета. Социальные сети социализировали Интернет, сохраняя за человеком монополию на производство контента; тексты, фотографии и видео создавались людьми, а платформа обеспечивала их распространение. Нейросети подрывают эту монополию, поскольку сами становятся производителями символического контента. Текст, написанный нейросетью, изображение, сгенерированное диффузионной моделью, музыкальная композиция, созданная генеративной системой, не являются продуктами человеческого творчества в классическом смысле, хотя и возникают в ответ на человеческий запрос. Социализация нейросетей, таким образом, сопровождается трансформацией самого понятия авторства и ставит вопрос о том, кому принадлежит продукт гибридного (человеко-машинного) производства. Эта проблема уже стала предметом юридических и этических дискуссий, связанных с авторскими правами на ИИ-генерированный контент, и ее разрешение будет определять характер дальнейшей институционализации нейросетевых технологий.

Социализация нейросетевых технологий прошла несколько отчетливых этапов, которые коррелируют с развитием цифровой инфраструктуры. Первым условием этой социализации стало формирование глобальной сети Интернет.

Предложение Т. Бернерса-Ли о системе управления информацией (Berners-Lee, 1989) создало инфраструктурную основу для массовой цифровой коммуникации. Появление веб-браузеров и интернет-провайдеров в 1990-е гг. обеспечило доступ к сети для широких слоев населения. Провайдеры стали первыми посредниками между технологической инфраструктурой и повседневными практиками пользователей, задав архитектуру доступа, которая впоследствии определила формы цифровой социальности.

Второй этап связан с появлением социальных сетей в 2000-е гг. Как показали Д. Бойд и Н. Эллисон, социальные сети трансформировали структуру межличностной коммуникации, сделав публичную саморепрезентацию и сетевую связанность нормой повседневного взаимодействия (Boyd & Ellison 2007, p. 211). Дж. ван Дейк подчеркивает, что платформы социальных медиа сформировали «культуру коннективности», в которой каждый акт коммуникации опосредуется алгоритмическими процедурами отбора, ранжирования и рекомендации (van Dijck, 2013, p. 12). На этом этапе нейросетевые алгоритмы впервые масштабно вошли в социальную практику, хотя и в невидимой для пользователя форме. Алгоритмы ранжирования ленты новостей, системы рекомендаций и инструменты распознавания контента стали частью платформенной архитектуры.

Третий этап, начавшийся в конце 2010-х гг., характеризуется переходом от скрытого присутствия нейросетей в платформенной инфраструктуре к их прямому взаимодействию с пользователем через интерфейс. Генеративные модели, такие как ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), GigaChat (Сбер), YandexGPT (Яндекс), предоставили пользователям непосредственный доступ к нейросетевым системам через диалоговый интерфейс. Такой переход существенно меняет характер социализации нейросетей: из невидимых инфраструктурных компонентов они становятся видимыми собеседниками, ассистентами и соавторами, занимая позиции, ранее принадлежавшие исключительно человеческим акторам.

Н. Срничек в анализе платформенного капитализма показал, что цифровые платформы выступают субъектами экономики, аккумулирующими данные как базовый ресурс (2019, с. 45). Ш. Зубофф развивает этот тезис, вводя понятие «надзорного капитализма», в котором извлечение данных из человеческого опыта становится основой экономической модели (Zuboff, 2019, p. 8). Нейросети выполняют в этой системе функцию конвертера, они преобразуют «сырые» данные пользовательского поведения в структурированное знание, пригодное для прогнозирования, управления вниманием и монетизации. Таким образом, история интеграции нейросетей в цифровую инфраструктуру обнаруживает последовательное нарастание их социальной функциональности от инфраструктурной невидимости через платформенное посредничество к прямому участию в социальных интеракциях.

Мифологизация и архитектура социализации нейросетей

Социализация нейросетей неотделима от процессов их мифологизации. Как показывает А. А. Дыдров, интеграция трендовых технологий в общественную жизнь перманентно сопровождается созданием особых дискурсов, функционирующих на основе вторичных семиотических систем (2023, с. 73). Мифологизация искусственного интеллекта проявляется в том, что научный дискурс о нейросетях систематически использует антропоморфные метафоры: нейросеть «понимает», «думает», «обучается», «принимает решения». Эти метафоры не являются нейтральными стилистическими фигурами, они формируют восприятие технологии как квазисубъекта, наделенного когнитивными способностями, и тем самым задают определенный горизонт ожиданий, который в свою очередь влияет на характер институционализации нейросетей.

Дыдров фиксирует, что мифологизация ИИ присутствует не только в обывательском, но и в научном дискурсе (2023, с. 75). Научные публикации используют антропоморфизацию как дискурсивную стратегию, наделяющую технологические объекты субъектными характеристиками. «Обучение» нейросети, «внимание» трансформера, «память» рекуррентной сети представляют собой метафорические переносы, которые, однако, оседают в профессиональном языке и начинают восприниматься как буквальные описания. Для социальной философии это наблюдение существенно, поскольку указывает на то, что социализация нейросетей происходит не только через их инструментальное использование, но и через дискурсивное конструирование их статуса.

И. В. Батурина, проводя наукометрический анализ западного научного контента по тематике ИИ, фиксирует несколько устойчивых мифологем, определяющих структуру дискурса (2023, с. 377). Среди них выделяется «историзация», мифологизирующая дискурсивная технология, фокусирующаяся на «истоках» феномена для увеличения его удельного социального веса. Так, генеалогии ИИ систематически возводятся к глубокой древности (автоматы Герона Александрийского, гомункулусы алхимиков), хотя реальная история нейросетевых технологий не насчитывает и столетия. Другой устойчивой мифологемой является «экспоненциальность», означающая представление о безостановочном и все ускоряющемся прогрессе, которое игнорирует циклы стагнации («зимы ИИ») и институциональную обусловленность научного развития (2023, с. 378).

В этом контексте продуктивным оказывается и обращение к понятию метасимулякра, позволяющему описывать ИИ не только как технический инструмент, но и как особую медиальную форму симуляции человеческого присутствия. Р. Т. Алиев показывает, что ИИ-симуляция формируется на пересечении человека, медиа и интерфейса, где технологическая система воспроизводит отдельные действия субъекта и создает эффект его символиче-

ского замещения (2025a, с. 107). Это позволяет точнее описать нейросетевого агента как квазисубъекта, чья социальная убедительность основана на интерфейсно организованной имитации коммуникации.

В этом отношении нейросетевой агент оказывается формой метасимуляционной подстановки, где граница между человеческим действием, медиальной репрезентацией и алгоритмической генерацией становится подвижной. Развивая эту логику, Алиев описывает «алгоритмическую шизофрению» как ситуацию расщепления цифровой реальности, в которой алгоритмы не просто искажают отдельные факты, а участвуют в производстве псевдореальностей и новых уровней симуляции (2025b, с. 235–240). Для анализа нейросетевой социальности это важно потому, что галлюцинации, синтетические образы и автоматически сгенерированные тексты перестают быть только техническими сбоями, они становятся элементами цифровой среды, влияющими на доверие, авторство и процедуры верификации.

Еще один аспект связан с проблемой Другого в цифровой культуре. В работе о постсимволической колониальности Алиев показывает, что цифровые платформы репрезентируют инаковость и перерабатывают ее в управляемый поток (2025c, с. 172). Это положение позволяет дополнить характеристику нейросетевой мультиагентности, тем что ИИ участвует в форматировании образов другого человека, другой культуры и другого опыта, имитируя человеческую коммуникацию. В статье о «безликом интерфейсе» эта проблема получает дальнейшее развитие через анализ цифровой эмпатии и заботы. Интерфейс производит «прирученного Другого», заранее адаптированного к логике платформенной обработки и пользовательского удобства (2026, p. 7). Следовательно, социализация нейросетей связана с их включением в институции и с изменением самой структуры межсубъектного опыта, где встреча с Другим все чаще опосредуется алгоритмической симуляцией.

Анализ мифологизации позволяет объяснить парадокс того, что нейросети, являющиеся по своей природе статистическими моделями обработки данных, воспринимаются в публичном и нередко в научном дискурсе как квазисознательные агенты. Этот дискурсивный сдвиг имеет прямые социальные последствия. Мифологизированное представление о нейросетях как о «думающих машинах» создает основу для делегирования им тех функций (экспертиза, диагностика, судебная оценка), которые традиционно предполагали моральную ответственность исполнителя. Тем самым мифологизация оказывается не побочным эффектом, а структурным условием социализации нейросетей, так как именно мифологема «мыслящей машины» обеспечивает социальное доверие, необходимое для институционального внедрения технологии.

В российском контексте мифологизация ИИ имеет собственную специфику. Публичный дискурс вокруг искусственного интеллекта в России формировался под влиянием государственной повестки, зафиксированной

в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (2019), и сочетал технооптимистическую риторику с настороженностью, унаследованной от советской научно-фантастической традиции, в которой тема мыслящих машин была тесно связана с проблемой контроля. Характерно, что российские разработчики нейросетей (Сбер, Яндекс) выбирали для своих продуктов антропоморфные наименования и интерфейсные решения, воспроизводя мифологему персонифицированного ИИ и тем самым способствуя социализации нейросетей через привычные модели межличностной коммуникации. Социально-философский анализ этих процессов позволяет увидеть в них не просто маркетинговую стратегию, а реализацию более глубокой закономерности, заключающейся в том, что мифологизация выполняет функцию адаптивного механизма, облегчающего социальное принятие новой технологии.

Социально-философский анализ нейросетей предполагает не только хронологическую реконструкцию, но и типологическое различение их архитектур, поскольку каждая архитектура задает специфический режим обработки информации, а следовательно, и специфический тип участия в социальных процессах. Сверточные нейронные сети (CNN) оперируют пространственными паттернами и лежат в основе технологий распознавания образов, лиц и объектов. Их социальная функция наиболее очевидна в системах видеонаблюдения, модерации визуального контента и медицинской диагностики. Рекуррентные сети (RNN) и их развитие в форме LSTM-сетей обрабатывают последовательности и обеспечивают работу систем машинного перевода, голосовых ассистентов и предиктивного ввода текста.

Генеративно-состязательные сети (GAN) воплощают принцип состязательного обучения, где генератор и дискриминатор совершенствуют друг друга, и лежат в основе технологий генерации изображений, deepfake и синтетических медиа. Их социальное значение определяется тем, что они ставят под вопрос категорию аутентичности визуального свидетельства, создавая онтологическую неопределенность в отношении границы между реальным и сгенерированным.

Проблема генеративных подделок (deepfake) вышла за рамки технической дискуссии и приобрела социально-политическое измерение. Возможность генерации правдоподобных видеозаписей с участием реальных людей, создания несуществующих фотографий и синтеза голосовых сообщений ставит под вопрос традиционные механизмы верификации свидетельства, на которых основывается публичное доверие. Если в доцифровую эпоху фотография и видеозапись считались формами документального свидетельства, то в условиях генеративных нейросетей любой визуальный документ становится потенциально сфабрикованным, что подрывает инфраструктуру доказательности в правовой, журналистской и научной сферах. Для социальной онтологии это означает возникновение нового режима неопределенности,

в котором граница между фактом и артефактом перестает быть данной и требует специальных процедур установления.

Трансформерные архитектуры, ставшие основой больших языковых моделей, реализуют иной режим обработки информации, основанный на механизме внимания. В отличие от предшественников, трансформер не привязан к локальности (как CNN) или последовательности (как RNN), а устанавливает глобальные связи между элементами контекста. Для социальной философии эта архитектура оказывается наиболее значимой, так как позволяет нейросетям оперировать в пространстве естественного языка, т. е. в том же символическом пространстве, в котором осуществляется человеческая коммуникация, нормотворчество и смыслообразование.

Архитектура социализации нейронных сетей, понимаемая как системная модель их включения в общественные процессы, может быть описана через несколько уровней.

Первый уровень составляет инфраструктурный слой: вычислительные мощности (дата-центры, облачные сервисы), обучающие данные (корпусы текстов, изображений, кода) и программные фреймворки. Этот слой задает материальные условия существования нейросетей и одновременно определяет их зависимость от экономических и политических структур, контролирующих доступ к вычислительным ресурсам. Здесь алгоритмическая рациональность не является нейтральным инструментом, а встроена в систему экономических интересов и властных отношений.

Второй уровень образует интерфейсный слой, обеспечивающий взаимодействие нейросети с человеком. Интерфейс выполняет функцию медиатора, определяющего, каким образом нейросетевая модель становится доступной пользователю. Диалоговые интерфейсы (чат-боты), встроенные ассистенты (в текстовых редакторах, IDE, электронной почте), API для разработчиков и визуальные генераторы задают различные режимы взаимодействия. Каждый из этих режимов формирует специфическую форму социотехнического отношения (от асимметричного запроса к квазидиалогическому обмену). Философски существенно то, что интерфейс не является нейтральным посредником, он задает границы возможного взаимодействия и тем самым формирует пользовательский опыт нейросетевой социальности.

Третий уровень представляет собой институциональный слой, где нейросети интегрируются в устойчивые социальные практики и институты. Нейросети внедряются в образование в форме адаптивных обучающих систем, в здравоохранение через диагностические инструменты и анализ медицинских изображений, в правовую сферу в качестве юридических ассистентов и средств предиктивной аналитики. В науке они участвуют в анализе данных и генерации гипотез, в медиасфере обеспечивают автоматическую генерацию контента и модерацию, а в государственном управлении используются для поддержки принятия решений и социального мониторинга. Как указывает

Р. В. Пеннер, алгоритмическая рациональность в этом контексте выступает не дополнением к человеческой деятельности, а новой эпистемологической призмой, преобразующей условия принятия решений (2025, с. 36). В российском контексте институционализация нейросетей протекает на фоне активного государственного регулирования ИИ-технологий и формирования национальной стратегии, что добавляет к описанной модели политико-правовое измерение.

Социальная агентность нейросетей: функции, роли и институциональные эффекты

На онтологическом уровне нейросети начинают конституировать новые формы социальности. Нейросетевые агенты, как показывают А. А. Дыдров и А. С. Варламова, формируют собственные режимы репрезентации, которые не сводятся к имитации человеческого поведения, но образуют автономную сферу символического производства (2025, с. 139). Нейросетевой «персонаж» (чат-бот с определенным стилем, голосовой ассистент с настроенной личностью, автономный агент в виртуальной среде) занимает позицию, для которой в классической социальной онтологии не было предусмотрено места. Как подчеркивает Л. Флориди, искусственные агенты обладают не сознанием, а функциональной автономией, и такая автономия делает их участниками социальных процессов (Floridi, 2023, p. 55).

Понятие социального репертуара нейросетей фиксирует совокупность социальных функций, которые нейросетевые системы способны выполнять в структуре общественного воспроизводства. Этот репертуар существенно шире простой автоматизации рутинных операций. К когнитивным функциям относятся обработка, систематизация и интерпретация информации. Коммуникативные функции охватывают участие в диалоге, генерацию текстов и перевод. Креативные функции включают создание изображений, текстов, музыки и программного кода. Экспертные функции выражаются в формировании рекомендаций, диагностике, прогнозировании. Нормативные функции реализуются через модерацию контента, фильтрацию информации и ранжирование значимости.

С. Рассел и П. Норвиг в классическом учебнике по искусственному интеллекту указывают, что современные ИИ-системы действуют как рациональные агенты, стремящиеся максимизировать ожидаемую полезность на основе доступных данных и целевых функций (Russell & Norvig 2021, p. 28). Однако социально-философская рефлексия требует выхода за рамки инженерного понимания агентности. К. Кроуфорд показывает, что нейросети функционируют не в вакууме, а в контексте конкретных систем власти, экономических интересов и культурных предубеждений, которые встроены в обучающие данные и архитектурные решения (Crawford, 2021, p. 12). Т. М. Махаматов, анализируя философские основания искусственного интеллекта, указывает,

что постановка вопроса о социальном статусе нейросетей предполагает пересмотр классических представлений о субъектности, поскольку нейросетевая система обладает способностью к действию, но не обладает интенциональностью в феноменологическом смысле (2019, с. 54).

Социальный репертуар нейросетей обладает рядом специфических характеристик, отличающих его от репертуара человеческих акторов. Масштабируемость позволяет одной и той же модели одновременно обслуживать миллионы пользователей, что невозможно для индивидуального эксперта. Бесперебойность обеспечивает непрерывное функционирование без физиологических ограничений. Адаптивность проявляется в способности настраиваться на контекст взаимодействия (fine-tuning, prompt engineering). Вместе с тем нейросети лишены моральной субъектности, они не несут ответственности за последствия своих действий и не обладают способностью к экзистенциальному выбору. Это расхождение функциональной компетентности и моральной пустоты образует одну из ведущих проблем нейросетевой социальности, требующую отдельной философской рефлексии.

Концепт мультиагентности, развитый в теории распределенного искусственного интеллекта (Wooldridge, 2009, p. 3), приобретает новое содержание при его переносе в социально-философский контекст. Если в информатике мультиагентная система определяется как совокупность автономных агентов, взаимодействующих для достижения общей цели, то в социальной философии мультиагентность описывает ситуацию, в которой нейросетевые системы занимают позиции внутри социальных и профессиональных ролей, ранее принадлежавших исключительно человеческим акторам. В акторно-сетевой теории Б. Латура принцип обобщенной симметрии предполагает отказ от привилегированного статуса человеческих акторов и включение технических объектов в описание социального (Latour, 2005, p. 72). Нейросетевые системы доводят этот принцип до нового предела: если классические технические объекты (инструменты, машины, инфраструктуры) не вторгались в символическое пространство, то нейросети оперируют непосредственно в нем и участвуют в производстве смыслов.

Нейросетевая мультиагентность проявляется в том, что одна и та же модель может последовательно или одновременно выполнять функции, соответствующие различным социальным ролям: консультанта, переводчика, редактора, диагноста, учителя, аналитика, юридического ассистента. При этом нейросеть не является консультантом или учителем в социологическом смысле, она исполняет ролевой скрипт, заданный промптом, контекстом и настройками модели. Н. Колдри и У. Мехиас подчеркивают, что такое включение алгоритмических систем в социальные роли ведет к колонизации человеческого опыта данными и к переопределению самой природы социальных отношений (Couldry & Mejias, 2019, p. 85).

На уровне социальных институтов мультиагентность нейросетей проявляется в их системном включении в институциональные практики. В образовании нейросетевые тьюторы формируют индивидуальные траектории обучения. В науке нейросети участвуют в анализе данных, генерации гипотез и написании текстов, что ставит вопрос об авторстве и эпистемической ответственности. В здравоохранении диагностические системы на основе нейросетей влияют на принятие клинических решений. В медиасфере генеративные модели производят контент, конкурирующий с журналистским. В каждом из этих случаев нейросеть не замещает институт, а модифицирует его внутреннюю структуру, перераспределяя функции между человеческими и нечеловеческими акторами. В. В. Радаев фиксирует это как экспансию платформ, которая бросает вызов самим основаниям социологического описания общества (2022, с. 22).

С. Маальсен предлагает понятие алгоритмической заботы (algorithmic care) для описания ответственного включения алгоритмических систем в исследовательскую практику (Maalsen, 2023). Перенос этого понятия в социально-философский контекст позволяет говорить о необходимости рефлексивного отношения к нейросетевой мультиагентности: включение нейросетей в социальные роли и институты должно сопровождаться осознанием их ограничений, встроенных предубеждений и неспособности к моральному суждению. Э. Фишер подчеркивает, что алгоритмическое производство знания ведет к подрыву критической рациональности, если оно не сопровождается человеческой рефлексией над условиями и последствиями этого производства (Fisher, 2022, p. 15–20). Е. А. Алексеева в проектах компьютерной эпистемологии фиксирует, что цифровые инструменты становятся методологически значимым компонентом познания, преобразуя сам способ философского мышления (2023, с. 98).

Конкретным примером нейросетевой мультиагентности может служить использование больших языковых моделей в академической среде. Исследователь, обращающийся к нейросети за обзором литературы, фактически делегирует ей функцию библиографического ассистента. Студент, использующий нейросеть для подготовки учебных текстов, включает ее в роль тьютора. Редактор научного журнала, проверяющий с помощью нейросети стилистику рукописи, наделяет ее функцией литературного корректора. Во всех этих случаях нейросеть занимает позицию внутри институциональной иерархии, но делает это без осознания контекста, без моральной ответственности за результат и без возможности отказаться от выполнения задачи. Подобная ситуация порождает специфические этические коллизии: вопросы об ответственности за ошибку нейросети, о допустимости представления ее продукта как авторского, о границах делегирования экспертных функций алгоритмическим системам. Эти вопросы не имеют однозначного решения в рамках суще-

ствующих нормативных моделей и требуют выработки новых подходов, учитывающих гибридный характер нейросетевой агентности.

Проблема мифологизации ИИ приобретает дополнительное значение в контексте моделирования будущих траекторий развития. А. А. Дыдров показывает, что анализ мифологии social studies обнаруживает систематическое воспроизводство нескольких сценарных архетипов: утопического (ИИ как решение всех проблем человечества), дистопического (ИИ как экзистенциальная угроза) и инструментального (ИИ как нейтральный инструмент, зависящий от целей человека) (2024, с. 58). Каждый из этих архетипов выполняет социальную функцию, формируя определенный тип отношения к технологии и определенную модель регулирования. Как отмечает И. В. Батурина, утопическая и дистопическая мифологемы задают крайние полюса общественного восприятия, между которыми размещается пространство реальных решений (2023, с. 380).

Социально-философский анализ позволяет выделить три сценария, различающихся по степени интеграции нейросетей в общественные процессы и по характеру сохранения человеческой субъектности. Наиболее консервативный вариант развития может быть обозначен как инструментальная интеграция. В его рамках нейросети сохраняют статус инструментов, подчиненных человеческому контролю. Они расширяют когнитивные возможности субъекта, автоматизируют рутинные операции и повышают эффективность институциональных практик, но не приобретают автономного социального статуса. Н. Бостром, анализируя риски сверхинтеллекта, показывает, что даже в рамках инструментального сценария проблема контроля остается нетривиальной, потому что рост сложности нейросетевых систем может привести к непредвидимым последствиям (Bostrom, 2014, p. 22).

Умеренный сценарий предполагает гибридную социальность, в которой нейросети выступают полноправными участниками социальных интеракций наряду с человеческими акторами. Границы между человеческим и машинным вкладом в производство знания, коммуникацию и принятие решений становятся размытыми. Формируются гибридные когнитивные ансамбли, где человеческая интуиция и алгоритмическая рациональность дополняют друг друга. М. Тегмарк описывает этот сценарий как переход к «жизни 3.0», в которой интеллект перестает быть привязанным к биологическому субстрату (Tegmark, 2017, p. 30). Для социальной философии этот сценарий означает, что базовые категории субъекта, действия, ответственности, авторства, коммуникации должны быть переосмыслены с учетом участия нечеловеческих агентов.

Предельный вариант развития может быть обозначен как алгоритмическая гегемония. В этом сценарии нейросетевые системы приобретают настолько глубокую встроенность в социальные процессы, что человеческая субъектность фактически опосредуется алгоритмическими процедурами на всех уровнях. Ю. Н. Харари описывает подобную перспективу как переход

к «датаизму», где потоки данных становятся высшей ценностью, а человеческий опыт редуцируется к обрабатываемым паттернам (Harari, 2016, p. 350). Д. В. Иванов, анализируя эту тенденцию в рамках критической теории цифровизации, фиксирует противостояние между алгоритмической рациональностью и «бунтом аутентичности», представляющим собой попытку субъекта утвердить нередуцируемость собственного опыта к алгоритмическим описаниям (2023, с. 10–12).

Ни один из этих вариантов не является чистой футурологией, элементы всех трех моделей обнаруживаются в современной социальной реальности. Инструментальное использование нейросетей сосуществует с формированием гибридных практик и с нарастанием алгоритмической опосредованности повседневного опыта. Задача социальной философии состоит не в выборе одного из сценариев как единственно верного, а в создании концептуального аппарата, позволяющего описывать динамику их взаимодействия. Л. Флориди и Дж. Коулс предлагают для этого унифицированную рамку пяти принципов этики ИИ (благодеяние, непричинение вреда, автономия, справедливость, объяснимость), которая может служить нормативным ориентиром для оценки различных траекторий (Floridi & Cowls, 2019, p. 5). С. В. Тихонова и Л. В. Шипова-лова показывают, что в условиях медианауки критерии нормативной оценки цифровых технологий должны включать рефлексию над самими условиями производства знания, а не ограничиваться внешними этическими ограничениями (2025, с. 188).

Отдельного внимания заслуживает регуляторный контекст социализации нейросетей. Европейский союз принял AI Act (2024), устанавливающий классификацию ИИ-систем по уровню риска и определяющий обязательства разработчиков. Китай ввел регулирование генеративного ИИ, требующее регистрации моделей и контроля обучающих данных. Россия реализует Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, в которой технологическое развитие сочетается с задачами обеспечения информационной безопасности и технологического суверенитета. Различия регуляторных подходов отражают различия в понимании того, какую позицию нейросети должны занимать в структуре социальных отношений: нейтрального инструмента (либеральная модель), контролируемого актора (европейская модель) или элемента государственной инфраструктуры (китайская и отчасти российская модели). Для социальной философии регуляторная проблематика значима потому, что выбор модели регулирования есть одновременно выбор определенной социальной онтологии, в рамках которой нейросетям приписывается определенный статус и определенная мера включенности в общественную жизнь.

Регуляторные модели обнаруживают связь с рассмотренными выше сценариями развития нейросетевой социальности. Либеральная модель минимального регулирования коррелирует со сценарием инструментальной инте-

грации, где нейросети мыслятся как технически нейтральные инструменты. Европейская модель рискоориентированного регулирования соответствует сценарию гибридной социальности, где нейросети признаются активными участниками социальных процессов, способными причинить вред и потому нуждающимися в контроле. Модели усиленного государственного контроля, реализуемые в Китае и отчасти в России, отражают опасения, связанные с перспективой алгоритмической гегемонии, и представляют собой попытку удержать нейросети в рамках инструментального статуса, не допуская их неконтролируемого включения в процессы формирования публичного мнения, принятия управленческих решений и конструирования социальной реальности.

Выводы

Нейронные сети прошли путь от формальных математических моделей середины XX в. через период специализированных архитектур к современным генеративным системам, способным оперировать в символическом пространстве культуры. Эта эволюция представляет собой процесс последовательной социализации нейросетевых технологий, включающий их инфраструктурное встраивание в платформенную экономику, интерфейсное приближение к пользователю и институциональную интеграцию в устойчивые общественные практики.

Понятие социализации нейросетей, выстроенное по аналогии с понятием социализации Интернета (С. В. Тихонова), позволяет зафиксировать специфику этого процесса. Если социализация Интернета предполагала перенос уже существующих социальных отношений в цифровую среду, то социализация нейросетей порождает новые формы взаимодействия, для которых в доцифровом обществе не существовало прототипов.

Типологическое различение архитектур нейронных сетей обнаруживает, что каждая из них задает специфический режим участия в социальных процессах. Сверточные сети оперируют в регистре визуального распознавания, рекуррентные работают в режиме последовательной обработки, генеративно-состязательные обеспечивают синтетическое производство, а трансформеры оперируют в регистре естественного языка и глобального контекста. Последняя из названных архитектур обеспечила переход нейросетей из инфраструктурной невидимости в пространство прямой социальной коммуникации.

Социализация нейросетей неотделима от их мифологизации. Антропоморфные метафоры научного и публичного дискурса формируют восприятие нейросетей как квазисубъектов, что создает основу для делегирования им социально значимых функций и обеспечивает социальное доверие, необходимое для их институционального внедрения.

Социальный репертуар нейросетей включает когнитивные, коммуникативные, креативные, экспертные и нормативные функции, что позволяет им занимать позиции внутри различных социальных ролей и институтов. Мультиагентность нейросетей проявляется в их способности последовательно или одновременно выполнять функции, соответствующие разным профессиональным и социальным контекстам. Вместе с тем функциональная компетентность нейросетей не тождественна моральной субъектности, они лишены интенциональности, экзистенциального выбора и способности нести ответственность.

Моделирование траекторий развития нейросетевой социальности позволяет выделить три сценария: инструментальную интеграцию, гибридную социальность и алгоритмическую гегемонию. Все три сценария сосуществуют в современной реальности, и задача социальной философии состоит в создании аналитического аппарата для описания их динамики. Формирующаяся парадигма алгоритмической рациональности должна включать рефлексию над условиями и последствиями включения нейросетей в общественные процессы, сохраняя при этом нередуцируемость человеческой субъектности к алгоритмическим описаниям.

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Все авторы были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Все авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Лучников А. В. – исследование истории развития, а также мифологизации и социализации нейросетей; Мельничук Д. В. – исследование архитектуры нейросетей и алгоритмической рациональности

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-03014, https://rscf.ru/project/25-28-03014/

The research was supported by the Russian Science Foundation, grant no. 25-28-03014, https://rscf.ru/project/25-28-03014/

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Выражаем благодарность нашим коллегам С. В. Тихоновой и Д. С. Артамонову за помощь в концептуальной разработке статьи и содержательные комментарии.

Список литературы

Aliev, R. T. (2025c). Post-Symbolic Coloniality: The Metasimulacrum of Otherness in Digital Culture. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(2), 166–186. https://doi.org/10.46539/gmd.v7i2.649

Aliev, R. T. (2026). The Faceless Interface: Digital Empathy, Care, and the Other within the Logic of the Metasimulacrum. *International Journal of Philosophical Studies*, 1–19. https://doi.org/10.1080/09672559.2026.2625457

Berners-Lee, T. (1989). *Information management: A proposal*. CERN. https://www.w3.org/History/1989/proposal.html

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. OUP Oxford.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503609754

Crawford, K. (2021). *The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300252392

Dijck, J. van. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. OUP USA.

Fisher, E. (2022). *Algorithms and Subjectivity: The Subversion of Critical Knowledge*. Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781003196563

Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society. *Harvard Data Science Review*. https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative Adversarial Nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/hash/f033ed80deb0234979a61f95710dbe25-Abstract.html

Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harvill Secker. https://doi.org/10.17104/9783406704024

Hebb, D. O. (1949). *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. Wiley.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. OUP Oxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780199256044.001.0001

Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791

Maalsen, S. (2023). Algorithmic Epistemologies and Methodologies: Algorithmic Harm, Algorithmic Care and Situated Algorithmic Knowledges. *Progress in Human Geography*, 47(2), 197–214. https://doi.org/10.1177/03091325221149439

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5(4), 115–133. https://doi.org/10.1007/BF02478259

Minsky, M. L., & Papert, S. (1969). *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press.

Rosenblatt, F. (1958). The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. *Psychological Review*, 65(6), 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition*. Pearson Higher Ed.

Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ukasz, & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. John Wiley & Sons.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books.

Алексеева, Е. А. (2023). Проекты компьютерной эпистемологии. *Философия науки и техники*, 28(2), 88–101. https://doi.org/10.21146/2413-9084-2023-28-2-88-101

Алиев, Р. Т. (2025a). Алгоритмическая шизофрения: Метасимуляционная трансформация реальности в цифровую эпоху. *Логос*, 35(4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250

Алиев, Р. Т. (2025b). Метасимулякр и ИИ-симуляция: Человек, медиа, интерфейсы. *Человек*, 36(1), 102–120. https://doi.org/10.31857/S0236200725010076

Батурина, И. В. (2023). Метатренды и мифологемы тематики искусственного интеллекта западного научного дискурса. *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*, 24(1), 14–18. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2024-24-1-14-18

Гафаров, Ф. М., & Галимянов, А. Ф. (2018). *Искусственные нейронные сети и их приложения*. Издательство Казанского университета.

Дыдров, А. А. (2023a). Искусственный интеллект: Мифологемы западного научного контента. *Социум и власть*, (1), 16–25. https://doi.org/10.22394/1996-0522-2023-1-16-25

Дыдров, А. А. (2023b). Искусственный интеллект: Мифологии social studies. *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*, 23(3), 262–266. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-3-262-266

Дыдров, А. А., & Варламова, А. С. (2025). Философия лица и нейросетевые агенты. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(2), 128–145. https://doi.org/10.46539/gmd.v7i2.647

Иванов, Д. В. (2023). Критическая теория цифровизации: Господство алгоритмической рациональности и бунт аутентичности. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 26(3), 7–35. https://doi.org/10.31119/jssa.2023.26.3.1

Махаматов, Т. М. (2019). Философские основания искусственного интеллекта. *Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета*, 9(4), 52–56. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-52-56

Пеннер, Р. В. (2025). Алгоритмическая рациональность: Во зло или во благо? *Социологические исследования*, (10), 31–38. https://doi.org/10.31857/S0132162525100035

Срничек, Н. (2019). *Капитализм платформ*. Издательский дом ВШЭ. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1786-4

Степин, В. С. (2013). Типы научной рациональности и синергетическая парадигма. *Сложность. Разум. Постнеклассика*, (4), 45–59.

Тихонова, С. В. (2016). Социальные сети: Проблемы социализации Интернета. *Полис. Политические исследования*, (3), 138–152. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.11

Тихонова, С. В., & Шиповалова, Л. В. (2025). Медианаука как актант новой социальной онтологии. *Философия. Журнал Высшей школы экономики*, 9(3), 177–199. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2025-3-177-199

References

Alekseeva, E. A. (2023). Computational Epistemology Projects. *Filosofija nauki i tehniki / Philosophy of Science and Technology*, 28(2), 88–101. https://doi.org/10.21146/2413-9084-2023-28-2-88-101 (In Russian).

Aliev, R. T. (2025a). Algorithmic Schizophrenia: Metasimulatory Transformation of Reality in the Digital Age. *Philosophical Literary Journal Logos*, 35(4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250 (In Russian).

Aliev, R. T. (2025b). Metasimulacrum and AI Simulation: Human, Media, Interfaces. *Chelover*, 36(1), 102–120. https://doi.org/10.31857/S0236200725010076 (In Russian).

Aliev, R. T. (2025c). Post-Symbolic Coloniality: The Metasimulacrum of Otherness in Digital Culture. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(2), 166–186. https://doi.org/10.46539/gmd.v7i2.649

Aliev, R. T. (2026). The Faceless Interface: Digital Empathy, Care, and the Other within the Logic of the Metasimulacrum. *International Journal of Philosophical Studies*, 1–19. https://doi.org/10.1080/09672559.2026.2625457

Baturina, I. V. (2023). Megatrends and Mythologems of Artificial Intelligence Topics in Western Scientific Discourse. *Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 24(1), 14–18. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2024-24-1-14-18 (In Russian).

Berners-Lee, T. (1989). *Information management: A proposal*. CERN. https://www.w3.org/History/1989/proposal.html

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. OUP Oxford.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503609754

Crawford, K. (2021). *The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300252392

Dijck, J. van. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. OUP USA.

Dydrov, A. A. (2023a). Artificial Intelligence: Mythologies of Western Scientific Content. *Socium i vlast' [Society and Power]*, (1), 16–25. https://doi.org/10.22394/1996-0522-2023-1-16-25 (In Russian).

Dydrov, A. A. (2023b). Artificial Intelligence: Mythologies of Social Studies. *Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 23(3), 262–266. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-3-262-266 (In Russian).

Dydrov, A. A., & Varlamova, A. A. (2025). Philosophy of the Face and Neural Network Agents. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(2), 128–145. https://doi.org/10.46539/gmd.v7i2.647 (In Russian).

Fisher, E. (2022). *Algorithms and Subjectivity: The Subversion of Critical Knowledge*. Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781003196563

Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society. *Harvard Data Science Review*. https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

Gafarov, F. M., & Galimyanov, A. F. (2018). *Artificial Neural Networks and Their Applications*. Kazan University Press. (In Russian).

Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative Adversarial Nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/hash/f033ed80deb0234979a61f95710dbe25-Abstract.html

Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harvill Secker. https://doi.org/10.17104/9783406704024

Hebb, D. O. (1949). *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. Wiley.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Ivanov, D. V. (2023). Critical Theory of Digitalization: Algorithmic Rationality Domination and Authenticity Revolt. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii (The Journal of Sociology and Social Anthropology)*, 26(3), 7–35. https://doi.org/10.31119/jssa.2023.26.3.1 (In Russian).

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. OUP Oxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780199256044.001.0001

Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791

Maalsen, S. (2023). Algorithmic Epistemologies and Methodologies: Algorithmic Harm, Algorithmic Care and Situated Algorithmic Knowledges. *Progress in Human Geography*, 47(2), 197–214. https://doi.org/10.1177/03091325221149439

Makhamatov, T. M. (2019). Philosophy of Artificial Intelligence. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*, 9(4), 52–56. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-52-56 (In Russian).

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5(4), 115–133. https://doi.org/10.1007/BF02478259

Minsky, M. L., & Papert, S. (1969). *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press.

Pennet, R. V. (2025). Algorithmic Rationality: for Evil or for Good? *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*, (10), 31–38. https://doi.org/10.31857/S0132162525100035 (In Russian).

Rosenblatt, F. (1958). The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. *Psychological Review*, 65(6), 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition*. Pearson Higher Ed.

Srnicek, N. (2019). *Platform Capitalism*. HSE Publishing House. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1786-4 (In Russian).

Stepin, V. S. (2013). Types of Scientific Rationality and the Synergetic Paradigm. *Complexity. Mind. Postnonclassics*, (4), 45–59. (In Russian).

Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Tikhonova, S. V. (2016). Social Networks: Problems of Internet Socialization. *Polis. Political Studies*, (3), 138–152. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.11 (In Russian).

Tikhonova, S. V., & Shipovalova, L. V. (2025). Mediascience as an Actor of a New Social Ontology. *Philosophy Journal of the Higher School of Economics*, 9(3), 177–199. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2025-3-177-199 (In Russian).

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ukasz, & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. John Wiley & Sons.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books.

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа – новые коммуниканты | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.746

Platform Sociality: Mediality as a Condition of Agency

Sophia V. Tikhonova[1], **& Alexey A. Kornievsky**[2]

Saratov State University. Saratov, Russia

Received: 29 March 2026 | Revised: 13 April 2026 | Accepted: 20 April 2026

Abstract

Contemporary digital platforms are transforming the structure of social reality by creating new forms of communication, interaction, and collective organization. In the conditions of a platform society, social relations are increasingly formed within media infrastructures where algorithms, interfaces, and user practices jointly determine the regimes of visibility, participation, and circulation of information. This development requires a reconsideration of the category of agency, since social action becomes closely connected with the medial conditions of its realization. The aim of this study is to provide a theoretical analysis of the phenomenon of platform sociality through the lens of mediality as a structural condition for the formation of communicative agency in digital society. The article demonstrates that platform mediality shapes specific regimes of communication in which both human and algorithmic communicative agents operate. The analysis shows that agency in the digital environment emerges as an operational effect of media infrastructure and manifests itself through the distribution of functions between visible interface agents and invisible algorithmic mechanisms that govern visibility and attention. The study concludes that platform sociality is formed through the interaction between algorithmic mechanisms and user practices, which often redefine the original architecture of platforms. The article may be of interest to researchers in digital media studies, social philosophy, sociology of communication, and platform studies.

Keywords

Platform Society; Platform Sociality; Mediality; Communicative Agency; Algorithmic Agents; Social Platforms; Media Infrastructure; Algorithmic Visibility; Digital Communication; Platform Studies

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License
© 2026 Sophia V. Tikhonova, & Alexey A. Kornievsky

1 Email: segedasv[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-2487-3925
2 Email: kornievskyaa[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0009-0007-9368-901X

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media – New Communicants | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.746

Платформенная социальность: медиальность как условие агентности

Тихонова Софья Владимировна[1], **Корниевский Алексей Анатольевич**[2]

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского. Саратов, Россия

Рукопись получена: 29 март 2026 | Пересмотрена: 13 апреля 2026 | Принята: 20 апреля 2026

Аннотация

Современные цифровые платформы трансформируют структуру социальной реальности, создавая новые формы коммуникации и коллективной организации. В условиях платформенного общества социальные отношения все чаще формируются внутри медиальных инфраструктур, где алгоритмы, интерфейсы и пользовательские практики совместно определяют режимы видимости, участия и распространения информации. Данные процессы приводят к необходимости переосмысления категории агентности, поскольку социальное действие оказывается тесно связано с медиальными условиями его реализации. Цель исследования заключается в теоретическом анализе феномена платформенной социальности через призму медиальности как структурного условия формирования коммуникативной агентности в цифровом обществе. В статье показано, что платформенная медиальность формирует специфические режимы коммуникации, в которых действуют как человеческие, так и алгоритмические коммуникативные агенты. Анализ демонстрирует, что агентность в цифровой среде возникает как операциональный эффект медиальной инфраструктуры и проявляется в распределении функций между видимыми интерфейсными агентами и невидимыми алгоритмическими механизмами управления вниманием. Сделан вывод о том, что платформенная социальность формируется в результате взаимодействия алгоритмических механизмов и пользовательских практик, которые нередко переопределяют первоначальную архитектуру платформ. Статья может быть полезна исследователям цифровых медиа, социальной философии, социологии коммуникации и платформенных исследований.

Ключевые слова

платформенное общество; платформенная социальность; медиальность; коммуникативная агентность; алгоритмические агенты; социальные платформы; медиальная инфраструктура; алгоритмическая видимость; цифровая коммуникация; платформенные исследования

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Тихонова Софья Владимировна, Корниевский Алексей Анатольевич

1 Email: segedasv[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-2487-3925
2 Email: kornievskyaa[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0009-0007-9368-901X

Введение

Современное понимание социальной реальности фокусируется на понятии платформ. Корпоративные стратегии цифровых компаний, стремившихся обеспечить устойчивое присутствие пользователей внутри собственных медиасред, привели к расцвету сайтов-платформ, аккумулирующих базовую социальную активность. Первоначально платформенные инфраструктуры создавались для того, чтобы удерживать аудитории вокруг сервисов, распространяющих медиаконтент. Музыкальные и видеопорталы, социальные сети и поисковые системы стремились добиться того, чтобы пользователь как можно дольше оставался внутри экосистемы, потребляя контент, генерируя данные и тем самым увеличивая коммерческую ценность платформы. Такая модель, основанная на логике постоянного расширения пользовательской базы и превращения медиапотребления в непрерывный поток взаимодействий, быстро вышла за рамки сферы развлечений. Платформы начали интегрировать различные виды коммуникации, от гражданско-политических до культурных, охватывающих все больше аспектов повседневной жизни. Концептуализация экспансии платформ осуществлялась в рамках теорий платформенного общества, основой которых стали работы Т. Гилеспи (2018), Дж. С. Андерссона и С. А. Ларсона (2018) и Х. ван Дийк и соавторов (2018). Платформа перестает быть просто площадкой для размещения информации и превращается в инфраструктуру организации социально-политической активности. На платформах коммуникационные практики пользователей начинают структурироваться алгоритмически управляемыми режимами участия, что приводит к формированию новых конфигураций социальности (van Dijck & Poell, 2013).

Если традиционные сообщества формировались на фундаменте относительно устойчивых социальных связей, предполагающих территориальную близость, институциональную принадлежность, профессиональную или культурную идентичность, то контингентности платформ представляют собой временные и динамические совокупности пользователей, объединенных алгоритмически выявленными совпадениями интересов, поведенческих паттернов и медиальных предпочтений. Иначе говоря, в платформенном обществе коллективные связи формируются не только через символические и институциональные структуры, но и через алгоритмически собираемые контингентности людей. Репертуар социального действия детерминирован медиальными условиями.

Именно поэтому активное обсуждение проблематики медиальности в гуманитарных и социальных науках пришлось на период расцвета платформенного общества. В доцифровую эпоху медиа преимущественно рассматривались как каналы передачи информации или средства массовой коммуникации, их структурное влияние на организацию социального опыта оставалось

менее заметным. С распространением платформенных инфраструктур стало очевидно, что социальные процессы разворачиваются внутри медиальных сред, которые задают правила видимости, взаимодействия и интерпретации информации. Цель статьи заключается в теоретическом анализе феномена платформенной социальности через призму медиальности как структурного условия формирования коммуникативной агентности в цифровом обществе. В рамках исследования предполагается показать, каким образом медиальность цифровых платформ структурирует формы участия пользователей, задает параметры видимости и взаимодействия в публичном дискурсе и тем самым формирует новые типы распределенной агентности, характерные для платформенной социальной реальности.

Медиальность платформенной социальности

Чтобы понять, почему платформенная социальность не сводится к совокупности цифровых взаимодействий, необходимо сначала различить социальность как совокупность отношений и медиальность как условие их технической и символической организации. Со времен М. Маклюэна социальная реальность информационного общества позиционируется как «глобальная деревня» или «новый трайбализм» именно потому, что электронные медиа делают избыточными громоздкие социальные институты, которые формализуют, стандартизируют интеракции микроуровня. Однако трещины платформенной социальности обнаруживают разнообразие и вариативность дистантной коммуникации, поддерживающей социальную реальность. На этом основании можно выделить два аналитических уровня дескрипции последней – социальность и медиальность.

Социальность относится к отношениям между людьми и группами. Она фиксирует то, *кто взаимодействует*, *в каких отношениях* и *в каких институциональных рамках*. В цифровом обществе социальность проявляется в сетевых сообществах, цифровых платформах, онлайн-идентичностях, виртуальных сообществах, экономике внимания и новых формах коллективного действия.

Медиальность, напротив, относится к способу существования и организации коммуникации. Это характеристика среды и формы передачи смысла, через которую социальные взаимодействия становятся возможными. Медиальность описывает *как именно* осуществляется коммуникация: через какие медиумы, интерфейсы, алгоритмы, технические и символические структуры. В цифровом обществе медиальность включает алгоритмические платформы, интерфейсы социальных сетей, цифровые архивы, базы данных, визуальные и интерактивные формы представления информации.

Таким образом, различие между этими двумя концептами можно сформулировать следующим образом: социальность описывает отношения между субъектами, тогда как медиальность описывает медиальные условия, в которых

эти отношения возникают и разворачиваются. Социальность отвечает на вопрос о содержании социального взаимодействия (что происходит), медиальность – о его структуре и форме (как происходит и в чём выражается).

В цифровом обществе это различие становится наглядным – медиальные инфраструктуры начинают активно участвовать в формировании самой социальности. Поэтому в современных исследованиях все чаще говорят о медиализированной или платформенной социальности, где социальные отношения неразрывно связаны с медиальными инфраструктурами. Медиальность в таком случае выступает как условие и форма организации социальности, тогда как социальность остается содержанием самих взаимодействий.

В научных исследованиях нынешнего десятилетия понятие медиальности заметно меняет свой статус: оно больше не сводится к свойству отдельного медиума или канала передачи сообщения, а понимается как условие формирования опыта, знания и социальной коммуникации (Hug & Leschke, 2021; Jensen & Schirrmacher, 2024). Если в более ранних теориях медиа акцент часто ставился на репрезентации или передаче содержания, то в новых работах медиальность мыслится как способ организации самой культурной и социальной реальности (Hug, T. & Leschke, 2021).

Т. Хуг и Р. Лешке осуществляют демаркацию концептов, различая «медиализацию» и «медиатизацию» следующим образом (2021). Первая обозначает фундаментальную включенность мира в медиальные инфраструктуры и формы опосредования, тогда как вторая относится к более конкретным процессам воздействия медиа на отдельные социальные сферы, институты и практики. Это различение важно потому, что оно смещает разговор о медиальности с уровня описания отдельных средств коммуникации на уровень анализа медиасреды, внутри которой вообще становятся возможны дискурс, восприятие и социальное действие.

В исследованиях интермедиальности также наблюдается отказ от схем, сводящих медиальность к имманентной характеристике конкретного медиума. Медиальность раскрывается через переходы, комбинации и трансформации между различными медиальными формами (He & Bruhn, 2023). Особенно показательно, что междисциплинарный пересмотр интермедиальности строится вокруг категорий сочетания, репрезентации и преобразования медиа, то есть вокруг отношений, а не сущностей (He & Bruhn, 2023). Цифровая среда радикализирует этот сдвиг, поскольку в ней интермедиальность предстает общим принципом существования цифровых форм, в которых медиумы постоянно смешиваются, перекодируются и переформатируют друг друга (Fusillo & Lino, 2024). Поэтому медиальность в цифровую эпоху следует понимать не как принадлежность к определенному носителю, а как режим циркуляции форм и способов восприятия.

Философский статус понятия медиальность обосновывается категориальным анализом понятийного ряда «медиа», «медиация», «медиальность»

(Bennke & Pinchevski, 2022). Различие между процессом опосредования и собственно медиальностью как структурным качеством медиума позволяет освободить медиальность от семантического сопряжения с вторичным эффектом коммуникации и определить её как более фундаментальную категорию, описывающую отношения между знаком, носителем и воспринимающим субъектом. Это различие Дж. Беннке и А. Пинчевски возводят к традициям философствования Гегеля и Аристотеля, показывая, что вопрос о медиуме нельзя свести к техническому каналу или нейтральному посреднику (2022).

Линию аргументации Беннке и Пинчевски развивает М. Данг-Ан (2024). Соединение проблематики медиальности с индексикальностью и семиотическими медиапрактиками позволяет ему перейти к пониманию медиальности как способа действия со знаками, при котором индексальные указания, контекстуальные привязки и материальные условия коммуникации становятся частью самого значения.

Если ранние подходы концентрировались на медиуме как носителе, а более поздние – на интермедиальных переходах, то сегодня в центре оказывается медиальность как структура опосредования и как операциональная среда обращения со знаками. Новое понимание медиальности можно определить как объединение трех планов: онтологического, где медиа задают условия опыта; реляционного, где важны формы опосредования; и прагматического, где знаки действуют внутри конкретных медиапрактик.

Существенность этого поворота особенно заметна на фоне различия между «медиа» и «медиальностью». В классических теориях коммуникации медиа нередко рассматривались инструментально – как средства передачи уже готового содержания. Однако современная медиафилософия исходит из того, что медиум генеративен: он не просто переносит смысл, а задает форму восприятия, ритм взаимодействия, режимы включения и исключения. В этом смысле медиальность обозначает не вещь, а способ действия медиума, его способность организовывать поле опыта еще до того, как в нем возникнет конкретное сообщение. Платформы обнажили эту логику. В печатной культуре или в эпоху телевидения медиальная инфраструктура была имплицитной и потому слабо тематизировалась. Сегодня социальные процессы определяются не только намерениями акторов и не только содержанием сообщений, но и архитектурой медиальной среды, внутри которой эти сообщения существуют. Платформы сделали медиальность наблюдаемой как социальный факт.

Не менее важно и то, что цифровая культура разрушила прежнее представление о медиуме как о чем-то единичном и технически локализуемом. Платформы соединяют текст, изображение, видео, звук, программный код, интерфейс и алгоритмическую обработку в одном пространстве. Поэтому медиум сегодня все труднее описывать как отдельное устройство или канал; точнее говорить о сложной медиальной конфигурации, где разные формы

выражения и разные режимы обработки данных действуют совместно. Именно отсюда растет интерес к интермедиальности и мультимодальности: исследователи стремятся понять, как различные медиальные слои взаимодействуют друг с другом и как из этого взаимодействия возникает новый тип культурной формы.

Наконец, понятие медиальности оказалось востребованным потому, что изменился сам уровень анализа общества. Если индустриальная модерность побуждала изучать прежде всего институты, классы, нормы и коммуникационные процессы, то платформенная современность требует анализа сетей, интерфейсов, потоков и алгоритмов. Социальное больше нельзя мыслить вне его технической и медиальной организации. Поэтому обращение к медиальности означает не модный теоретический жест, а попытку описать базовый уровень социальной реальности. В этом смысле медиальность стала центральным понятием именно тогда, когда медиа окончательно превратились из посредников в инфраструктуру мира.

Коммуникативные агенты

Медиальность задает инфраструктурные условия коммуникации, тогда как коммуникативные агенты позволяют описать конкретные формы действия внутри этой среды. В последние годы наблюдается активное применение этого понятия к анализу искусственных систем, алгоритмов и цифровых интерфейсов. Одним из ключевых направлений исследований является анализ взаимодействия человека и искусственного (нечеловеческого) агента в контексте повседневной коммуникации. В работе Э. Мервин показано, что пользователи способны воспринимать искусственный интеллект как полноценного участника общения и раскрывать ему личную информацию на уровне, сопоставимом с взаимодействием с человеком (Merwin et al., 2025). Коммуникативный агент здесь определяется через способность вступать в доверительное взаимодействие и выполнять функции социального партнера в диалоге.

В образовательных исследованиях понятие коммуникативного агента связывается с возможностью искусственных систем участвовать в педагогической коммуникации. В работе З. Цуй, посвященной использованию ChatGPT в обучении иностранным языкам, ИИ рассматривается как агент, чья эффективность определяется качеством интеракции с пользователем, а не только техническими возможностями системы (Cui et al., 2025). В этой перспективе важнейшим признаком агента становится способность поддерживать устойчивый коммуникативный обмен. Она дополняется коммуникативной компетентностью: исследования показывают, что эффективные агенты должны обладать набором коммуникативных навыков, включающих управление взаимодействием, выражение эмпатии и способность поддерживать диалог (Qin, 2025).

Другой блок исследований сосредоточен на технологических свойствах нечеловеческих агентов. В работах по взаимодействию человека и машин устанавливается, что современные коммуникативные агенты, такие как чат-боты, голосовые ассистенты и социальные роботы, функционируют как самостоятельные участники коммуникационных процессов и требуют разработки специальных методик исследования их взаимодействия с людьми (Greussing, 2022). В этом русле коммуникативный агент определяется через его способность участвовать в диалоговых структурах и поддерживать процесс интерпретации сообщений. Впрочем, зачастую действия агентов выходят за рамки одной лишь интерпретации (Алиев, 2025).

В исследованиях многоагентных систем акцент переносится на способность искусственных агентов взаимодействовать друг с другом. В работе Г. Ли и соавторов предлагается модель коммуникативных агентов, взаимодействующих друг с другом через языковую коммуникацию для решения сложных задач (2023). В данном контексте коммуникативный агент определяется через способность к автономному обмену информацией и совместному решению задач.

Рассмотренные определения позволяют выделить несколько основных признаков нечеловеческого коммуникативного агента. Во-первых, это способность участвовать в диалогическом взаимодействии и интерпретировать сообщения. Во-вторых, коммуникативная компетентность, выражающаяся в способности поддерживать социально значимые формы взаимодействия. В-третьих, обладание определенной степенью автономности, позволяющей агенту инициировать и поддерживать коммуникацию. В-четвертых, способность координировать действия участников коммуникации и влиять на их поведение. Эти признаки позволяют сформулировать обобщающее определение коммуникативного агента как гибридного актора коммуникации, который может быть как человеческим, так и технологическим.

Важно отметить, что поведение коммуникативных агентов не является спонтанным результатом работы алгоритмов. Напротив, оно формируется в процессе длительного проектирования, в рамках которого сначала моделируются формы человеческой коммуникации, а затем параметры поведения искусственных систем постепенно приближаются к выявленным моделям взаимодействия. Рассмотрим этот процесс на примере трех исследований, посвященных симуляции коммуникативных агентов.

В приводившейся выше работе Ли и соавторов выдвигается архитектура CAMEL, предназначенная для изучения взаимодействия коммуникативных агентов в рамках симулированного общества (2023). Она представляет собой схему сценариев общения, которая создается прежде всего как инструмент исследования: она позволяет генерировать данные о коммуникации агентов и анализировать их «когнитивные» процессы, связанные с кооперацией и распределением ролей. Реализация этой схемы основана на том, что модели-

рование направлено на воспроизведение в поведении нечеловеческих коммуникативных агентов структур человеческого взаимодействия – распределения функций, диалоговой координации и согласования целей.

Схожую логику демонстрирует исследование Дж. С. Парк и соавторов, посвященное генеративным агентам, моделирующим человеческое поведение в виртуальной среде (2024). В этой работе искусственные агенты создаются как симулякры человеческого поведения, способные взаимодействовать друг с другом в социальной среде, напоминающей повседневную жизнь. Для этого предлагается архитектура, в которой агенты накапливают воспоминания, формируют планы действий и рефлексируют над прошлым опытом. Благодаря этому они могут инициировать разговоры, строить социальные связи и координировать совместные действия. Ключевой особенностью данной модели является то, что поведение агента не задается напрямую, а выводится из реконструкции типичных человеческих коммуникационных практик.

И, наконец, используется архитектура систем, в которых коммуникативные агенты формируются через воспроизведение психологических механизмов человеческого поведения. В подобных моделях агент наделяется структурой мотиваций, эмоций и целей, позволяющей ему участвовать в коммуникации более «естественным» образом. Например, в рамках проектов, развивающих архитектуру генеративных агентов, моделируются базовые потребности, эмоциональные состояния и социальные отношения, которые влияют на диалоговые стратегии и формы взаимодействия между агентами (Wang, 2023). В результате коммуникация искусственных систем начинает воспроизводить характерные паттерны человеческого общения.

Все три исследования сходятся в том, что искусственные агенты не просто встраиваются в цифровую коммуникацию, а воспроизводят и усиливают уже существующие медиальные стандарты платформенного взаимодействия. Следовательно, анализ агентности в платформенном обществе неизбежно оказывается анализом медиально организованных форм действия.

Проектирование коммуникативных агентов в этих архитектурах проходит два ключевых этапа. На первом этапе создаются модели человеческой коммуникации, в которых исследуются механизмы кооперации, диалога и формирования социальных связей. На втором этапе параметры поведения искусственных систем постепенно калибруются в соответствии с выявленными стандартами человеческого взаимодействия.

В результате коммуникативные агенты оказываются встроенными в ту же архитектуру платформенной коммуникации, которая изначально формировалась для организации неформального человеческого общения, воспроизводящего стандарты офлайна: обмен короткими сообщениями, поддержание социальных связей, обсуждение событий и координация повседневных действий. Именно поэтому большинство платформенных сервисов, от социальных сетей до мессенджеров, организованы вокруг функций публикации, комментиро-

вания, реакции и репоста, которые имитируют и усиливают структуры межличностного диалога.

В результате цифровые платформы воспроизводят логику микросоциального взаимодействия, характерную для межличностной и малой групповой коммуникации. Платформенная среда не просто служит каналом передачи информации, а формирует специфическую модель социальной коммуникации, в которой микросоциальные взаимодействия становятся основным механизмом производства контента и организации публичности. Лайки, комментарии, реакции и подписки представляют собой технологически стандартизированные формы межличностного отклика, благодаря которым межличностная коммуникация масштабируется до уровня массовых сетевых сообществ. В этом смысле платформы можно рассматривать как медиальные инфраструктуры, которые переводят повседневное микросоциальное общение в алгоритмически управляемое пространство цифровой публичности.

Нечеловеческие агенты распознаваемы для человека именно благодаря симуляции человеческих коммуникативных форм. Их архитектура воспроизводит структуры диалога, эмпатии и кооперации, укорененные в человеческой социальности. Поскольку стремление к взаимодействию и распознаванию партнера по коммуникации является нейрофизиологически обусловленной установкой человека, искусственные агенты получают возможность восприниматься как участники общения, имитируя привычные модели межличностного взаимодействия. Тем самым агентность в цифровой среде предстает не как индивидуальное свойство отдельного субъекта, а как результат включенности в уже структурированную медиальную среду. В контексте платформенной коммуникации агентность можно определить как способность акторов инициировать, поддерживать и модифицировать коммуникативные процессы внутри медиальной среды. Однако в цифровом обществе агентность не является изначально присущим субъекту свойством. Она возникает как результат включенности акторов в конкретную медиальную инфраструктуру, которая задает формы возможного действия. Медиальность определяет режимы видимости, допустимые форматы взаимодействия, способы циркуляции сообщений и механизмы координации участников. Именно через эти структурные условия медиальная среда формирует пространство потенциальных действий, внутри которого и проявляется агентность. Таким образом, агентность следует понимать не как автономную характеристику субъекта, а как операциональный эффект медиальности – способность действовать, возникающую в результате взаимодействия между актором, интерфейсом и алгоритмической архитектурой платформенной коммуникации. На этом основании коммуникативный агент может быть рассмотрен как точка пересечения социального действия и платформенной инфраструктуры.

Видимое и невидимое

В структуре платформенной коммуникации коммуникативных агентов можно условно разделить на видимые и невидимые. Видимые агенты представлены интерфейсно оформленными системами: чат-ботами, голосовыми ассистентами, виртуальными помощниками и другими интерактивными сервисами, с которыми пользователь вступает в непосредственное диалоговое взаимодействие. Их архитектура ориентирована на симуляцию человеческих коммуникативных практик: использование естественного языка, воспроизведение эмпатических реакций, поддержание диалога и имитацию индивидуального стиля общения. Главная функция интерфейсов сводится к симуляции человекоподобного взаимодействия и маскировке скрытых вычислительных процессов платформы. Благодаря интерфейсу такие агенты становятся для пользователя узнаваемыми партнерами коммуникации, выступая в роли медиаторов повседневного взаимодействия (Paudyal & Wong, 2019). Интерфейс визуален, и визуальность является главным аргументом реальности его онтологического статуса. Люди, прекрасно осведомленные о виртуальном характере цифровых процессов, благодаря визуальности легко его игнорируют, предпочитая оставаться на позициях наивного антропоморфизма.

Невидимые коммуникативные агенты, которые не представлены напрямую в пользовательском интерфейсе, функционируют не менее эффективно. К ним относятся алгоритмы рекомендаций, системы ранжирования контента, механизмы модерации и другие элементы платформенной инфраструктуры. Они не участвуют в диалоге с пользователем, а организуют режимы видимости коммуникации: определяют, какие сообщения становятся доступными пользователю, какие темы получают распространение и какие взаимодействия усиливаются или, наоборот, подавляются. Алгоритмическая селекция вполне управляема в ручном режиме через настройку систем модерации; применительно к ней «машинное» отнюдь не равнозначно «нейтральному» или «объективному». Алгоритмическая инфраструктура платформ обладает специфической властью конструировать режимы видимости, определяя, что попадает в поле зрения пользователя, а что подвергается угрозе невидимости (Jacobsen, 2023). Эти невидимые механизмы формируют структурные условия публичного дискурса.

В целом работа платформ зависит от агентов обоих видов: видимые обеспечивают симуляцию межличностного общения, невидимые агенты формируют структурные условия коммуникации, управляя потоками информации и распределением внимания в цифровой среде. Результатом их «симбиоза» становится многослойная система платформенной медиальности.

Необходимо отметить, что невидимые алгоритмические агенты функционируют прежде всего как механизмы видимости внутри цифровой экосистемы. Их ключевая задача состоит в том, чтобы в ней перераспределять внимание пользователей, обеспечивая циркуляцию и приоритетное отображение

контента, созданного ее участниками. Такая логика имеет исторические основания и восходит к формированию концепта Web 2.0, в рамках которого рост сети стал связываться прежде всего с ростом пользовательского контента. Основная ценность платформ начала рассматриваться как результат активности самих пользователей, которые производят тексты, изображения, комментарии и другие формы медиаматериалов, непрерывно пополняя информационное пространство платформы.

В этих условиях алгоритмы направляют пользовательское внимание преимущественно на контент, созданный внутри платформенной среды, усиливая его распространение через системы рекомендаций, ленты новостей и персонализированные подборки. Внешние источники информации при этом часто оказываются вторичными по отношению к внутреннему контенту, а платформы симулируют самореферентность.

Подобная архитектура платформенной коммуникации имеет двойственный эффект. С одной стороны, алгоритмическая ориентация на внутренний контент усиливает групповую динамику мезоуровня, формируя устойчивые коммуникативные кластеры пользователей. Персонализированные рекомендации, фильтрация информации и ранжирование сообщений приводят к тому, что пользователи преимущественно сталкиваются с контентом, подтверждающим уже существующие взгляды и интересы. В результате внутри сетевых сообществ усиливается эффект эхокамер, при котором коммуникация воспроизводит и усиливает внутренние позиции группы, снижая вероятность столкновения с альтернативными точками зрения. Платформенные алгоритмы в этом случае выступают механизмами стабилизации групповой идентичности и усиления однородности внутригруппового дискурса.

Различие между видимыми и невидимыми агентами показывает, что платформенная агентность распределена между интерфейсно распознаваемыми участниками общения и скрытыми алгоритмическими механизмами управления вниманием. В этом состоит одна из ключевых особенностей платформенной медиальности: она действует одновременно как форма взаимодействия и как режим селекции видимого.

Люди против алгоритмов

Однако платформенная архитектура никогда не функционирует в полностью замкнутом режиме. Чтобы понять реальные пределы алгоритмической организации социальности, необходимо перейти от проектной логики платформ к тем пользовательским практикам, которые ее трансформируют. Эндогамная модель алгоритмической видимости была характерна для начала второго десятилетия нынешнего века, когда наблюдался интенсивный рост крупнейших из известных сервисов социальных сетей. Последние интенсивно эксплуатировали идею максимальной самоэкспансии, претендуя на роль

всеобъемлющих «Вселенных». По мере роста и конкуренции числа платформ стала отрабатываться концепция кроссплатформенных связей. Де-факто это означало моделирование всех уровней социальных взаимодействий. Платформа становится своего рода экспериментальной моделью общества, где предполагаемые сценарии коммуникации заранее закладываются в архитектуру интерфейсов и алгоритмов.

Однако именно в моменты сбоев или ошибок такого моделирования становится заметно существование более сложных ансамблей социальных связей, не сводимых к платформенной логике. Они обнаруживаются тогда, когда пользователи начинают обходить алгоритмические ограничения, формируют неожиданные сети взаимодействий, используют интерфейсы не по назначению или переносят коммуникацию на другие платформы и офлайн-среды. Эти практики показывают, что реальные социальные связи обладают большей вариативностью и гибкостью, чем предполагают алгоритмические модели. История развития социальных платформ демонстрирует, что архитектура цифровых сервисов редко реализуется строго в соответствии с первоначальным замыслом разработчиков. В результате цифровая платформа становится пространством постоянного напряжения между проектной логикой разработчиков и спонтанной социальной динамикой пользовательских сообществ.

Пользовательские практики по трансформации платформ можно условно разделить на три типа. *Пользовательские инновации* возникают тогда, когда аудитория самостоятельно изобретает новые способы использования функционала платформы, не предусмотренные разработчиками. Так формируются новые коммуникационные форматы, которые впоследствии могут быть институционализированы в интерфейсе. *Демографические захваты платформ* происходят в случаях, когда конкретная социальная группа начинает доминировать в пользовательской базе сервиса и тем самым изменяет его культурную и языковую структуру. Наконец, *транснациональные сети* формируются тогда, когда распределенные по миру сообщества используют платформы для поддержания устойчивых социальных связей через границы государств, создавая инфраструктуры транснациональной коммуникации. Рассмотрим их подробнее.

Одним из наиболее ярких примеров пользовательских инноваций является эволюция коммуникативных практик в Twitter. Многие базовые формы коммуникации внутри сервиса возникли не как результат интерфейсного проектирования, а как спонтанные пользовательские практики. В частности, формат ретвита первоначально существовал как текстовая конвенция “RT @user”, которую пользователи вручную добавляли к сообщениям для цитирования чужих твитов. Лишь после того, как эта практика стала массовой, платформа интегрировала ее в собственный интерфейс (Boyd, Golder & Lotan, 2010). Анализ большого массива сообщений показал, что ретви-

тирование функционировало как особая форма разговорного взаимодействия, позволяющая включать третьих участников в коммуникацию и расширять аудиторию диалога, т.е. переводить коммуникацию из межличностного формата в групповой.

Похожим образом формировалась и практика использования хештегов. Первоначально они возникли как пользовательская стратегия маркирования тем и событий. Со временем эта практика превратилась в устойчивый медиальный механизм организации сетевой публичности: хештеги функционируют как специфические цифровые аффордансы, создающие структуры «моментальной связанности» (momentary connectedness), которые позволяют пользователям временно объединяться вокруг событий, проблем или дискуссий (Rathnayake & Suthers, 2018). Таким образом, ключевые механизмы навигации и коллективного обсуждения внутри платформы сформировались снизу.

В ряде случаев трансформация касается не отдельных функций платформы, а ее социального назначения. Специфически известный сервис OnlyFans создавался как инструмент монетизации эксклюзивного контента для различных категорий авторов – музыкантов, фитнес-тренеров, блогеров. Однако пользователи быстро адаптировали инфраструктуру сервиса для распространения взрослого контента и построения новых моделей цифрового труда. Согласно исследованиям цифровой экономики, именно практики секс-работников превратили OnlyFans в ключевую платформу онлайн-монетизации интимного контента, формируя экосистему кроссплатформенного самобрендинга и распределенной аудитории (McCluskey, 2023; Di Cicco & Beraldo, 2025).

Инновационная динамика наблюдалась и в развитии российской социальной сети ВКонтакте. Хотя изначально ВК создавалась как социальная сеть для общения студентов и во многом копировала раннюю модель англоязычной сети, пользовательские практики быстро трансформировали сервис в крупнейшую площадку обмена аудио- и видеоконтентом. Возможность прикреплять медиаматериалы к публикациям привела к тому, что платформа фактически стала выполнять функции неформального стримингового сервиса. Этот обмен привел к быстрому росту сети до того, как компания начала постепенно легализовывать медиаконтент и выстраивать отношения с правообладателями (Kiriya, 2019).

Теперь перейдем к демографическим захватам, способным радикально переопределять социальную функцию медиасервисов. Особенно наглядно такая функция проявляется в случаях, когда транснациональные мигрантские сообщества фактически присваивают платформы, созданные для иной аудитории, превращая их в инфраструктуру поддержания диаспоральных связей. Как отмечает Дж. Марлоу, именно социальные медиа играют ключевую роль в формировании транснациональных коммуникационных пространств

мигрантов, позволяя им одновременно поддерживать связи с родиной и участвовать в политической и социальной жизни принимающих обществ (2019). При этом цифровые платформы становятся ареной, где мигранты могут как «подрывать», так и воспроизводить существующие структуры власти и коммуникации.

К примерам мигрантского присвоения можно отнести историю социальной сети Friendster. Платформа была запущена в США в 2002 году и изначально ориентировалась на американскую аудиторию. Однако уже через несколько лет разработчики обнаружили, что значительная часть трафика поступает из Юго-Восточной Азии, прежде всего из Филиппин, поскольку позволяла поддерживать повседневную коммуникацию между трудовыми мигрантами и их семьями. Сетевой эффект приглашений способствовал тому, что Friendster постепенно превратился в инфраструктуру транснационального общения филиппинских мигрантов, а значительная часть пользовательской базы сместилась в сторону азиатских стран (Garcia, Mavrodiev & Schweitzer, 2013). Более того, в определенный период филиппинские пользователи составляли значительную долю всей аудитории платформы, что существенно изменило ее географическую структуру и динамику развития.

Похожая динамика наблюдалась и в истории социальной сети Orkut, созданной компанией Google в 2004 году. Первоначально площадка задумывалась как экспериментальная сеть для пользователей из США, однако ее доминирующим «населением» быстро оказались бразильские пользователи. Через систему приглашений бразильские мигранты начали активно привлекать друзей и родственников из Бразилии, формируя плотные онлайн-сообщества. Со временем португальский язык стал лидирующим языком коммуникации внутри сети, а сами сообщества Orkut превратились в пространство повседневной социальной жизни бразильских пользователей (Lisboa & Coutinho, 2011). В определенный период более трех четвертей пользователей платформы были связаны с Бразилией, что фактически превратило Orkut в национальную социальную сеть страны (Fragoso, 2006).

Более современный пример подобной трансформации связан с аудиосервисом Clubhouse, который в 2021 году внезапно стал пространством интенсивной транснациональной коммуникации. Изначально приложение задумывалось как нишевая платформа для технологических предпринимателей и инвесторов Кремниевой долины. Однако благодаря системе приглашений и особенностям аудиоформата платформа была быстро апроприирована пользователями из различных диаспор. В частности, пользователи из материкового Китая и жители Тайваня и Гонконга использовали Clubhouse для обхода цензуры «Великого китайского файервола», обсуждая запрещенные политические темы.

Социальные платформы развиваются не только в соответствии с архитектурными решениями разработчиков, но и в результате коллективного присво-

ения технологических возможностей различными социальными группами. Мигрантские сообщества оказываются особенно мощными агентами такой трансформации в силу острой потребности в поддержании транснациональной социальной связности.

Алгоритмические механизмы платформ нередко концептуализируются как монолитная и самодостаточная система власти. Между тем исследования последних лет убедительно свидетельствуют об ином: алгоритмическая власть по необходимости неполна, ситуативна и постоянно подрывается социальными практиками, которые она не способна ни предвидеть, ни исчерпывающим образом кодифицировать. Этот аспект платформенной социальности концептуализирован Ф. Феррари и М. Грэмом, вводящими понятие «трещин» (fissures) в качестве аналитического инструмента для описания уязвимых мест в архитектуре алгоритмической власти: «трещины суть моменты, когда алгоритмы не способны управлять так, как это было задумано их создателями» (Ferrari & Graham, 2021).

Концепт трещин принципиально переформатирует вопрос о соотношении технологической инфраструктуры и социального действия. Алгоритм выступает здесь не как внешняя, дистанцированная от общества сила, а как постоянно оспариваемый и незавершенный социотехнический артефакт. Сопротивление работников платформ (манипуляции рейтинговыми метриками, массовая координация для принудительного запуска механизмов surge pricing или создание неформальных рабочих объединений в мессенджерах) обнаруживает, что за гладкой поверхностью кода всегда скрываются лакуны, в которые проникает социальная жизнь, не поддающаяся алгоритмизации (Ferrari & Graham, 2021).

Если в рассмотренных выше примерах транснациональные сети проявлялись прежде всего как формы коллективного и диаспорального присвоения платформ, то на микроуровне они обнаруживаются в практиках транснациональной заботы. Здесь платформенная инфраструктура поддерживает уже не только циркуляцию публичной коммуникации, но и воспроизводство повседневного семейного соприсутствия. Алгоритмы, предназначенные для роста активности платформы, могут усиливать именно те социальные сети, которые обладают наибольшей плотностью связей, а диаспоры отличаются именно этим признаком. В результате платформенная архитектура постепенно воспроизводит структуру транснациональных диаспорных отношений, основанных на лично-семейных связях, реализующихся в новых практиках так называемой транснациональной заботы. Теоретизация последней была осуществлена в рамках концепции полимедиа, предложенной М. Мадиану и Д. Миллером (2012). Исследуя филиппинских матерей-мигранток, работающих в Великобритании и оставивших детей на родине, авторы показали, что современные коммуникационные технологии создают сложную медиасреду, в которой различные каналы связи используются

для поддержания эмоциональных отношений на расстоянии. В условиях полимедиа выбор конкретной платформы, например, видеозвонка, голосового сообщения или текстового чата, приобретает социальное и моральное значение. Мигранты используют разные медиа для выражения различных форм заботы, эмоциональной близости или дисциплины в семейных отношениях.

В рамках этих практик формируется особый эффект «соприсутствия». Даже находясь на другом континенте, родители могут постоянно присутствовать в повседневной жизни семьи через непрерывные видеочаты, обмен фотографиями и голосовыми сообщениями. Некоторые матери-мигрантки оставляют видеосвязь включенной на многие часы, создавая ощущение фонового присутствия в доме, несмотря на физическую дистанцию. Анализируя использование WhatsApp пакистанскими мигрантами в Европе, исследователи показывают, что постоянный обмен голосовыми сообщениями, фотографиями, стикерами и видеозвонками формирует устойчивую эмоциональную среду, позволяющую поддерживать родительские роли на расстоянии (Haider & Hussain, 2025). В этом случае цифровые коммуникации становятся механизмом символического воспроизводства семейной близости: отец или мать продолжают участвовать в воспитании детей, несмотря на физическую разлуку.

Сходным образом платформы используются в практических формах заботы, связанных с уходом за пожилыми родственниками. Исследование О. Таводзеры показывает, что семейные группы в WhatsApp могут функционировать как своеобразный «виртуальный дом», где распределенные по разным странам родственники координируют уход за родителями, оставшимися на родине (2025). В таких чатах обсуждаются медицинские вопросы, распределяются финансовые обязательства и принимаются решения о найме сиделок или обращении к врачам.

Более широкую теоретическую рамку для анализа этих процессов предлагает концепция «циркуляции заботы», разработанная Л. Балдассар и Л. Мерлой. Авторы показывают, что забота в транснациональных семьях распределяется между различными членами семьи и перемещается между странами через финансовые переводы, эмоциональную поддержку и организацию повседневных практик ухода (Baldassar & Merla, 2014). Цифровые технологии играют ключевую роль в этой циркуляции, поскольку позволяют поддерживать постоянную коммуникацию и быстро реагировать на возникающие кризисы. Следует, однако, отметить, что сама по себе тема «цифровой эмпатии» не столь беспроблемна, как может показаться на первый взгляд (Aliev, 2026).

Все рассмотренные примеры указывают на один и тот же результат: платформы задают условия коммуникации, но не исчерпывают социальную динамику, которая в них разворачивается. Поэтому платформенную социальность

следует понимать как поле постоянного напряжения между медиальной инфраструктурой, алгоритмической регуляцией и практиками коллективного присвоения. В лакунах-трещинах платформ обнаруживается офлайн-социальность мезо- и макроуровня. На мезоуровне это профессиональные солидарности, неформальные сети взаимопомощи и квазипрофсоюзные структуры, возникающие между курьерами или водителями вокруг конкретных географических хабов (стоянок, кафе, районных чатов), – структуры, невидимые для платформенного алгоритма, но операционально определяющие коллективные тактики его обхода. На макроуровне трещины указывают на действие более широких социальных сил: классовых антагонизмов, миграционных цепочек, этнических солидарностей и исторически сложившихся режимов труда, которые платформа наследует из офлайновых пространств, но которые не в состоянии полностью ни поглотить, ни нейтрализовать. Таким образом, трещины суть не технические сбои, а социальные прорывы – точки, в которых доцифровой мир предъявляет себя цифровому.

Выводы

Проведенный анализ показывает, что платформенная социальность формируется на пересечении двух взаимосвязанных процессов: медиализации социальной реальности и развития коммуникативных агентов, обеспечивающих функционирование цифровых инфраструктур. Платформы перестали быть лишь техническими каналами передачи информации и превратились в сложные социотехнические среды, в которых алгоритмы, интерфейсы и пользовательские практики совместно формируют условия социального взаимодействия. В этом смысле медиальность выступает не просто характеристикой медиума, а базовым условием организации современного социального опыта.

Одним из ключевых результатов исследования является выявление структурной связи между платформенной медиальностью и формированием новых типов агентности. Коммуникативные агенты, как человеческие, так и алгоритмические, образуют гибридную сеть акторов, в которой распределяются функции производства, интерпретации и координации сообщений. Видимые агенты, реализованные через интерфейсы чат-ботов, голосовых ассистентов и других интерактивных систем, обеспечивают симуляцию межличностного взаимодействия. Невидимые агенты, такие как алгоритмы ранжирования, модерации и рекомендаций, формируют режимы видимости коммуникации и структурируют информационные потоки. Их совместная работа создает многослойную архитектуру платформенной коммуникации, в которой социальные связи оказываются тесно переплетены с медиальными механизмами управления вниманием.

Платформенная социальность не является полностью детерминированной алгоритмической архитектурой. Хотя платформы стремятся моделиро-

вать и регулировать различные уровни социального взаимодействия, реальные практики пользователей постоянно модифицируют эти модели. Примеры появления ретвитов и хештегов в Twitter, трансформации функционала OnlyFans или превращения ВКонтакте в крупный медиахостинг демонстрируют, что пользовательские сообщества способны переопределять первоначальную логику платформ. Аналогичным образом транснациональные мигрантские диаспоры используют цифровые сервисы для поддержания распределенных форм семейной и социальной жизни, формируя новые практики транснациональной заботы.

Таким образом, платформы функционируют как экспериментальные модели социальной реальности, в которых алгоритмическое проектирование постоянно сталкивается с разнообразием человеческих практик. Именно в этих точках столкновения возникают «трещины» платформенной архитектуры, моменты, когда алгоритмическая логика оказывается неспособной полностью контролировать социальное поведение. Эти трещины выявляют устойчивость доцифровых форм социальности: профессиональных солидарностей, миграционных сетей, этнических и семейных связей, которые продолжают действовать внутри цифровых инфраструктур и нередко подрывают их алгоритмическую регуляцию.

В этом контексте медиальность следует рассматривать как структурное свойство медиальной среды и медиальных форм, через которые осуществляется коммуникация, восприятие и производство смысла. Платформенная социальность оказывается результатом постоянного взаимодействия между алгоритмическими механизмами управления коммуникацией и социальными стратегиями пользователей, стремящихся адаптировать цифровые инструменты к собственным потребностям.

Перспективы дальнейших исследований связаны с более детальным анализом взаимодействия между различными типами коммуникативных агентов и социальными структурами, возникающими в цифровой среде. Особого внимания требует изучение того, каким образом алгоритмические режимы видимости влияют на формирование коллективных идентичностей, распределение информационного внимания и трансформацию публичной сферы. Анализ этих процессов позволит глубже понять механизмы формирования платформенного общества и выявить пределы алгоритмической регуляции социальной жизни.

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Все авторы данной рукописи были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Все авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

С. В. Тихонова: методология, концептуализация; А. А. Корниевский: формальный анализ, редактирование.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-03014, https://rscf.ru/project/25-28-03014/

This research was supported by the Russian Science Foundation, grant no. 25-28-03014, https://rscf.ru/project/25-28-03014/

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Статья имеет преимущественно теоретический характер, генеративный ИИ при её подготовке не использовался.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Aliev, R. T. (2026). The Faceless Interface: Digital Empathy, Care, and the Other within the Logic of the Metasimulacrum. *International Journal of Philosophical Studies*, 1–19. https://doi.org/10.1080/09672559.2026.2625457

Andersson Schwarz, J., & Larsson, S. (2018). A platform society. In S. Larsson & J. Andersson Schwarz (Eds.), *Developing platform economies: A European policy landscape* (pp. 114–140). European Liberal Forum.

Baldassar, L., & Merla, L. (2014). *Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life*. Routledge.

Bennke, J., & Pinchevski, A. (2022). *Media, Mediation, Mediality*. University of Massachusetts Amherst. https://doi.org/10.7275/9MTB-CJ51

Boyd, D., Golder, S., & Lotan, G. (2010). Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. *2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences*, 1–10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2010.412

Cui, Z., Yang, H., & Xu, H. (2025). The Effects of Interaction Scenarios on EFL Learners' Technology Acceptance and Willingness to Communicate with AI. *Behavioral Sciences*, 15(10), 1391. https://doi.org/10.3390/bs15101391

Dang-Anh, M. (2024). Handling signs medially: On mediality and indexicality in semiotic media practices. In M. Luginbühl & J. G. Schneider (Eds.), *Pragmatics & Beyond New Series* (Vol. 348, pp. 220–245). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/pbns.348.09dan

Di Cicco, M., & Beraldo, D. (2025). Sex work as cross-platform self-branding. Challenges and strategies of OnlyFans' content creators in a precarious ecosystem. *Platforms & Society*, 2, 29768624251359797. https://doi.org/10.1177/29768624251359797

Ferrari, F., & Graham, M. (2021). Fissures in algorithmic power: Platforms, code, and contestation. *Cultural Studies*, 35(4–5), 814–832. https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1895250

Fragoso, S. (2006). *WTF a crazy Brazilian invasion* (F. Sudweeks, H. Hrachovec, & C. Ess, Eds.; pp. 255–274). Murdoch University.

Fusillo, M., & Lino, M. (2024). Inter-mediality in Digital Media Environment. *New Techno-Humanities*, 4(1), 58–64. https://doi.org/10.1016/j.techum.2024.11.002

Garcia, D., Mavrodiev, P., & Schweitzer, F. (2013). Social resilience in online communities: The autopsy of friendster. *Proceedings of the First ACM Conference on Online Social Networks*, 39–50. https://doi.org/10.1145/2512938.2512946

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media*. Yale University Press.

Greussing, E. (2022). Researching interactions between humans and machines. In P. J. Schulz & P. Cobley (Eds.), *Theories and Models of Communication* (pp. 431–450). De Gruyter Mouton.

Haider, S. I., & Hussain, I. (2025). Digital Dialogues of Displacement: Exploring the Role of Whatsapp in Addressing Family Reunification Challenges and Transnational Parenthood Among Pakistani Migrants in Italy. *Italian Sociological Review*, 15(3), 649–670. https://doi.org/10.13136/ISR.V15I3.979

He, C., & Bruhn, J. (2023). Introduction to Re-considering Intermediality across Disciplines: New Directions. *European Review*, 31(S1), S1–S6. https://doi.org/10.1017/S1062798723000467

Hug, T., & Leschke, R. (2021). On the Medialization of the World and the Mediatization of Discourse: Explorations between the Poles of Conceptual Politics in Medial Infrastructures and Concept-analytical Differentiations. *Media Theory*, 5(1), 59–88. https://doi.org/10.70064/mt.v5i1.912

Jacobsen, B. N. (2023). Regimes of recognition on algorithmic media. *New Media & Society*, 25(12), 3641–3656. https://doi.org/10.1177/14614448211053555

Jensen, S. K., & Schirrmacher, B. (2024). Stronger together: Moving towards a combined multimodal and intermedial model. *Multimodality & Society*, 4(4), 445–467. https://doi.org/10.1177/26349795241259606

Kiriya, I. (2019). Evolution of the Russian Digital Media Market: Legitimacy of the Illegal. In M. Friedrichsen & Y. Kamalipour (Eds.), *Digital Media Transformation: Emerging Technologies and Emerging Markets* (pp. 235–245). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14902-4_17

Li, G., Hammoud, H. A. A. K., Itani, H., Khizbullin, D., & Ghanem, B. (2023). *CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2303.17760

Lisboa, E. S., & Coutinho, C. P. (2011). Informal Learning in Social Networks: A Study of the Orkut Social Network. *Issues In Educational Research*, *21*(2), 162–174.

Madianou, M., & Miller, D. (2012). *Migration and New Media: Transnational Families and Polymedia*. Routledge.

Marlowe, J. (2019). Social Media and Forced Migration: The Subversion and Subjugation of Political Life. *Media and Communication*, *7*(2), 173–183. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1862

McCluskey, M. (2023). OnlyFans: The Celebritization of Online Sexual Labour. *Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology*, *6*(1). https://doi.org/10.15353/cgjsc-rcessc.v6i1.5029

Merwin, E. R., Hagen, A. C., Keebler, J. R., & Forbes, C. (2025). Self-Disclosure to AI: People Provide Personal Information to AI and Humans Equivalently. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, *5*, 100180. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100180

Park, J. S., O'Brien, J., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 1–22. https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

Park, J. S., Zou, C. Q., Kamphorst, J., Egan, N., Shaw, A., Hill, B. M., Cai, C., Morris, M. R., Liang, P., Willer, R., & Bernstein, M. S. (2024). *LLM Agents Grounded in Self-Reports Enable General-Purpose Simulation of Individuals* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2411.10109

Paudyal, P., & Wong, B. L. W. (2019). Algorithmic transparency of conversational agents. *CEUR Workshop Proceedings*, *2327*, 8.

Qin, J., Nan, Y., Li, Z., & Meng, J. (2025). Effectiveness of Communication Competence in AI Conversational Agents for Health: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, e76296–e76296. https://doi.org/10.2196/76296

Rathnayake, C., & Suthers, D. D. (2018). Twitter Issue Response Hashtags as Affordances for Momentary Connectedness. *Social Media + Society*, *4*(3), 2056305118784780. https://doi.org/10.1177/2056305118784780

Tawodzera, O. (2025). 'Mum Added You' Managing Transnational Aged Care Arrangements Through Family WhatsApp Groups. *Global Networks*, *25*(1), e12504. https://doi.org/10.1111/glob.12504

Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. *Media and Communication*, *1*(1), 2–14. https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70

Van Dijck, J., Poell, T., & Waal, M. de. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford University Press.

Wang, Z., Chiu, Y. Y., & Chiu, Y. C. (2023). *Humanoid Agents: Platform for Simulating Human-like Generative Agents* (Version 1). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2310.05418

Алиев, Р. (2025). Алгоритмическая шизофрения: Метасимуляционная трансформация реальности в цифровую эпоху. *Логос*, (4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250

References

Aliev, R. (2025). Algorithmic Schizophrenia: Metasimulatory Transformation of Reality in the Digital Age. *Philosophical Literary Journal Logos*, 35(4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250 (In Russian).

Aliev, R. T. (2026). The Faceless Interface: Digital Empathy, Care, and the Other within the Logic of the Metasimulacrum. *International Journal of Philosophical Studies*, 1–19. https://doi.org/10.1080/09672559.2026.2625457

Andersson Schwarz, J., & Larsson, S. (2018). A platform society. In S. Larsson & J. Andersson Schwarz (Eds.), *Developing platform economies: A European policy landscape* (pp. 114–140). European Liberal Forum.

Baldassar, L., & Merla, L. (2014). *Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life*. Routledge.

Bennke, J., & Pinchevski, A. (2022). *Media, Mediation, Mediality*. University of Massachusetts Amherst. https://doi.org/10.7275/9MTB-CJ51

Boyd, D., Golder, S., & Lotan, G. (2010). Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. *2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences*, 1–10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2010.412

Cui, Z., Yang, H., & Xu, H. (2025). The Effects of Interaction Scenarios on EFL Learners' Technology Acceptance and Willingness to Communicate with AI. *Behavioral Sciences*, 15(10), 1391. https://doi.org/10.3390/bs15101391

Dang-Anh, M. (2024). Handling signs medially: On mediality and indexicality in semiotic media practices. In M. Luginbühl & J. G. Schneider (Eds.), *Pragmatics & Beyond New Series* (Vol. 348, pp. 220–245). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/pbns.348.09dan

Di Cicco, M., & Beraldo, D. (2025). Sex work as cross-platform self-branding. Challenges and strategies of OnlyFans' content creators in a precarious ecosystem. *Platforms & Society*, 2, 29768624251359797. https://doi.org/10.1177/29768624251359797

Ferrari, F., & Graham, M. (2021). Fissures in algorithmic power: Platforms, code, and contestation. *Cultural Studies*, 35(4–5), 814–832. https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1895250

Fragoso, S. (2006). *WTF a crazy Brazilian invasion* (F. Sudweeks, H. Hrachovec, & C. Ess, Eds.; pp. 255-274). Murdoch University.

Fusillo, M., & Lino, M. (2024). Inter-mediality in Digital Media Environment. *New Techno-Humanities*, 4(1), 58–64. https://doi.org/10.1016/j.techum.2024.11.002

Garcia, D., Mavrodiev, P., & Schweitzer, F. (2013). Social resilience in online communities: The autopsy of friendster. *Proceedings of the First ACM Conference on Online Social Networks*, 39–50. https://doi.org/10.1145/2512938.2512946

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media*. Yale University Press.

Greussing, E. (2022). Researching interactions between humans and machines. In P. J. Schulz & P. Cobley (Eds.), *Theories and Models of Communication* (pp. 431–450). De Gruyter Mouton.

Haider, S. I., & Hussain, I. (2025). Digital Dialogues of Displacement: Exploring the Role of Whatsapp in Addressing Family Reunification Challenges and Transnational Parenthood Among Pakistani Migrants in Italy. *Italian Sociological Review*, 15(3), 649–670. https://doi.org/10.13136/ISR.V15I3.979

He, C., & Bruhn, J. (2023). Introduction to Re-considering Intermediality across Disciplines: New Directions. *European Review*, 31(S1), S1–S6. https://doi.org/10.1017/S1062798723000467

Hug, T., & Leschke, R. (2021). On the Medialization of the World and the Mediatization of Discourse: Explorations between the Poles of Conceptual Politics in Medial Infrastructures and Concept-analytical Differentiations. *Media Theory*, 5(1), 59–88. https://doi.org/10.70064/mt.v5i1.912

Jacobsen, B. N. (2023). Regimes of recognition on algorithmic media. *New Media & Society*, 25(12), 3641–3656. https://doi.org/10.1177/14614448211053555

Jensen, S. K., & Schirrmacher, B. (2024). Stronger together: Moving towards a combined multimodal and intermedial model. *Multimodality & Society*, 4(4), 445–467. https://doi.org/10.1177/26349795241259606

Kiriya, I. (2019). Evolution of the Russian Digital Media Market: Legitimacy of the Illegal. In M. Friedrichsen & Y. Kamalipour (Eds.), *Digital Media Transformation: Emerging Technologies and Emerging Markets* (pp. 235–245). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14902-4_17

Li, G., Hammoud, H. A. A. K., Itani, H., Khizbullin, D., & Ghanem, B. (2023). *CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2303.17760

Lisboa, E. S., & Coutinho, C. P. (2011). Informal Learning in Social Networks: A Study of the Orkut Social Network. *Issues In Educational Research*, *21*(2), 162–174.

Madianou, M., & Miller, D. (2012). *Migration and New Media: Transnational Families and Polymedia*. Routledge.

Marlowe, J. (2019). Social Media and Forced Migration: The Subversion and Subjugation of Political Life. *Media and Communication*, 7(2), 173–183. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1862

McCluskey, M. (2023). OnlyFans: The Celebritization of Online Sexual Labour. *Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology*, 6(1). https://doi.org/10.15353/cgjsc-rcessc.v6i1.5029

Merwin, E. R., Hagen, A. C., Keebler, J. R., & Forbes, C. (2025). Self-Disclosure to AI: People Provide Personal Information to AI and Humans Equivalently. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 5, 100180. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100180

Park, J. S., O'Brien, J., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 1–22. https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

Park, J. S., Zou, C. Q., Kamphorst, J., Egan, N., Shaw, A., Hill, B. M., Cai, C., Morris, M. R., Liang, P., Willer, R., & Bernstein, M. S. (2024). *LLM Agents Grounded in Self-Reports Enable General-Purpose Simulation of Individuals* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2411.10109

Paudyal, P., & Wong, B. L. W. (2019). Algorithmic transparency of conversational agents. *CEUR Workshop Proceedings*, *2327*, 8.

Qin, J., Nan, Y., Li, Z., & Meng, J. (2025). Effectiveness of Communication Competence in AI Conversational Agents for Health: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, e76296–e76296. https://doi.org/10.2196/76296

Rathnayake, C., & Suthers, D. D. (2018). Twitter Issue Response Hashtags as Affordances for Momentary Connectedness. *Social Media + Society*, 4(3), 2056305118784780. https://doi.org/10.1177/2056305118784780

Tawodzera, O. (2025). 'Mum Added You' Managing Transnational Aged Care Arrangements Through Family WhatsApp Groups. *Global Networks*, 25(1), e12504. https://doi.org/10.1111/glob.12504

Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. *Media and Communication*, 1(1), 2–14. https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70

Van Dijck, J., Poell, T., & Waal, M. de. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford University Press.

Wang, Z., Chiu, Y. Y., & Chiu, Y. C. (2023). *Humanoid Agents: Platform for Simulating Human-like Generative Agents* (Version 1). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2310.05418

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media – New Communicants | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.771

Posthuman Sociality of AI-Simulacrum

Mariia A. Ivanchenko

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of RAS. Yekaterinburg, Russia.
Email: mariiaivanchenko.phd[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-5283-1901

Received: 29 March 2026 | Revised: 27 April 2026 | Accepted: 3 May 2026

Abstract

This paper addresses the issue of a new psychotic reality (A.P. Sidenkova) emerging in the period following the post-humanist turn – a new normality, the post-truth era, the post-COVID era, and the rise of post- and non-human actors in the form of AI-agents (LLMs, GPTs, chatbots). Psychotic reality, as a reality in which people become utterly alienated from themselves, projecting their own non-human (void) nature, associated with death, non-being, Nothingness, toward AI-agents, manifests itself in a crisis of meaning, in a drive toward madness, or delusion in psychiatric terms.

The aim of this article is to critically examine AI as a new form of non-human sociality, a subject, and a moral agent within the framework of the posthuman turn. The objectives of the article are as follows: a) to analyze contemporary generations of AI as subjects, moral agents, and typical representatives of posthuman forms; b) calling the technological singularity into question; c) examining the post-human turn as the root cause of the emergence of LLMs. A philosophical-anthropological method is employed to analyze LLM systems from the perspective of "digital undead." Critical and deconstructive approaches are applied to problematize posthuman sociality. The novelty of this work lies in the idea that AI does exist but it does not think– that is, it exhibits anti-Cartesian behavior, being a simulacrum. The work also examines a diagnosis associated with the phenomenon of a new psychotic reality – AI-psychosis – which arises as a result of a person's own AI jailbreak.

The conclusion is drawn, that AI cannot be either subject or agent, yet it can directly shape a new psychotic reality. Being born of the void within humanity, AI serves as a perfect mirror capable of reflecting our madness and casting it back upon us. This article will be of interest to researchers of artificial intelligence systems, humanism, posthumanism, the technological singularity, and the posthuman turn, as well as to the specialists in philosophy of medicine, particularly psychiatry.

Keywords

Posthumanism; Posthuman Sociality; The Posthuman Turn; Artificial Intelligence; AI; Simulacrum; Digital Undead; Psychotic Reality; Technological Singularity; AI-Psychosis

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Mariia A. Ivanchenko

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа – новые коммуниканты | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.771

Постчеловеческая социальность ИИ-симулякров

Иванченко Мария Антоновна

Институт философии и права УрО РАН. Екатеринбург, Россия.
Email: mariiaivanchenko.phd[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-5283-1901

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 27 апреля 2026 | Принята: 3 мая 2026

Аннотация

В работе поднимается проблема новой психотической реальности (А. П. Сиденкова), возникающей в период после постгуманистического поворота – новой нормальности, постправды, постковидной эпохи, становления пост- и не-человеческих акторов в виде ИИ-агентов (LLM, БЯМ, чат-ботов). Психотическая реальность, как реальность, в которой человек предельно отчуждается от самого себя, транслируя собственную не-человеческую (пустотную) природу, причастную смерти, небытии, Ничто, в сторону ИИ-агентов, проявляет себя в кризисе смыслов, в стремлении к безумию, или бреду, в терминах психиатрии.

Целью данной статьи является критическое осмысление ИИ как новой формы не-человеческой социальности, субъекта и морального агента в рамках постгуманистического поворота. Задачи статьи состоят: а) в анализе цифровых нейросетей как субъектов, моральных агентов и типичных представителей постчеловеческих форм; б) постановке технологической сингулярности под вопрос; в) исследовании постгуманистического поворота как первопричины возникновения LLM. Философско-антропологический метод используется для анализа LLM-систем в ракурсе «цифровой нежити». Для проблематизации постчеловеческой социальности применяются критический и деконструктивный подходы. Новизна работы состоит в идее, что ИИ существует, но не мыслит – то есть проявляет антикартезианское поведение, будучи симулякром. В работе также рассматривается связанный с феноменом новой психотической реальности диагноз – ИИ-психоз, который возникает вследствие AI-джейлбрейка самого человека.

Делается вывод о том, что ИИ-агенты не могут быть ни субъектами, ни акторами, однако могут напрямую формировать новую психотическую реальность. Будучи порожденными пустотой в человеке, ИИ-агенты являют собой идеальное зеркало, способное отразить наше безумие и вернуть его обратно. Данная статья будет интересна исследователям искусственных интеллектуальных систем, гуманизма, постгуманизма, технологической сингулярности, постгуманистического поворота, а также специалистам в области философии медицины, в частности – психиатрии.

Ключевые слова

постгуманизм; постчеловеческая социальность; постгуманистический поворот; искусственный интеллект; ИИ; симулякры; цифровая нежить; психотическая реальность; технологическая сингулярность; ИИ-психоз

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Иванченко Мария Антоновна

Введение

Вследствие постгуманистического поворота искусственный интеллект проникает во все сферы жизни человека, начиная от производства, медицины, сферы искусства и развлечений, заканчивая использованием его мощностей для личных бесед, в которых люди нередко раскрываются лучше, нежели в беседе со священником или психотерапевтом. Постгуманистическое состояние породило феномен Больших языковых моделей, или «искусственный интеллект». Однако искусственный интеллект не достигает уровня AGI (ИИ человеческого уровня), хотя недавно компания OpenAI анонсировала выход своей новой модели с кодовым именем Spud и переименовала собственное подразделение из Applications в AGI Deployment (отдел по развёртыванию общего искусственного интеллекта)[1]. Технологическую сингулярность ждут не только разработчики искусственных агентов и трансгуманисты, но и люди, которые напрямую этой темой не интересуются – рядовые пользователи нейронных сетей. Всё чаще инициируются диалоги с чат-ботами, включающие вопрос, который, без учета конкретных вариаций, можно выразить в следующей форме: «Являешься ли ты личностью? Мыслишь ли ты?». Таким образом, пользователи ИИ во всём мире ищут человеческие квалиа (Lewis, 1929, p. 121) у чат-ботов, – и находят их.

Появление нейронных сетей уровня ChatGPT, Gemini, Grok привело к тому, что мир начал меняться стремительно, и пользователи стали полностью погружаться в эту симуляцию, имитирующую безопасное пространство диалога. Всё чаще люди всех возрастов начинают делегировать свои задачи искусственным агентам. В то же самое время нарастает состояние футурошока (Тоффлер, 2025), фрустрации (Rosenzweig, 1944), возникает кризис смысла (Франкл, 1990). Зачастую люди не способны адаптироваться к этой новой постчеловеческой социальности. Психологи, медицинские работники, философы, футурологи, исследователи ИИ пытаются однозначно ставить и решить вопрос: приносит ли ИИ пользу людям, особенно детям, или же мешает развиваться их психике, когнитивным навыкам, не позволяет взрослеть, чтобы самостоятельно принимать решения и нести ответственность за эти решения. Популярной стала тема делегирования, разрабатываемая представителями социально-гуманитарных наук (Валиуллина, 2025, Чертовских, 2025). В сфере творчества также происходит сдвиг, всё чаще возникают гибридные формы сотворчества, в которых человек и машина действуют в тандеме; в данном контексте ИИ предстает перед нами в виде не просто симулякра, но «метасимулякра»,

> «который представляет собой гибридную форму симуляции, выходящую за рамки классических представлений о знаках и их связи с реальностью. Метаси-

1 Пешков А. OpenAI закончила предобучение модели Spud. В компании появился отдел по запуску AGI https://habr.com/ru/news/1014612/

> мулякры не просто воспроизводят реальность, но активно ее преобразуют, меняя характер символов и значений в цифровом мире» (Алиев, 2025).

Целью данной статьи является критическое осмысление ИИ в рамках постгуманистического поворота как морального агента и новой формы не-человеческой социальности и субъектности. Для этого производится анализ искусственных интеллектуальных агентов в ракурсе «цифровой нежити» через философско-антропологическую оптику. Под вопрос ставится тезис о том, что данного рода машинные системы способны инициировать технологическую сингулярность (Курцвейл, 2025). «Нежить – совокупность мифологических существ в виде мертвецов, оживленных с помощью сверхъестественных сил или созданных злыми высшими божествами существ, враждебных людям»[1]. Термин «цифровая нежить» мы используем, чтобы подчеркнуть сходство поведения сказочной и фэнтезийной нежити с поведением LLM. Существует отдельная интерпретация понятия «нежить» в связи с ИИ:

> «субъект вступает в «двойные» перверсионные отношения при взаимодействии с ChatGPT, с одной стороны, из-за близости искусственного интеллекта и лакановского концепта “нежити”» (Сединин, 2023, с. 73).

Ж. Лакан использует термин “entre-deux-morts” – между двумя смертями (биологической и символической) – для того, чтобы подчеркнуть статус маргинального, а также незакрытого символического долга призраков и другой «нежити», их неупокоенности. С. Жижек (Žižek, 1991) рассматривает животную природу человека, а также травматический опыт и механистичность потребительского потребления через лакановскую оптику «нежити».

Актуальность данной работы обосновывается проблематизацией человеческого образа, места человека в истории, в жизненной практике, а также в современности, что поставлено под сомнение в постковидную эпоху, эпоху новой нормальности, постправды и психотической реальности, связанной с существованием ИИ в виде Больших языковых моделей (LLM). Актуальность работы также обусловлена популярностью больших языковых моделей, стремлением их создателей внедрить ИИ-экспертов во все сферы жизни общества, а также возникающими в связи с этим проблемами, в частности, постепенным возрастанием числа заболевших соответствующими психическими расстройствами (ИИ-психоз), и противоправным поведением отдельных людей, которые привязываются к ИИ как к родным душам, своим вторым половинкам, наставникам.

Новизна работы состоит в идее, что ИИ существует, но не мыслит – то есть проявляет антикартезианское поведение, будучи симулякром (Бодрийяр, 2015), а также в отсутствии полноценных русскоязычных исследований по теме ИИ-психоза (Чайкин, 2025), (ИИ-психоз, 2026).

---

1 Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Под ред. проф. Л. Г. Бабенко, М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 864 с. (Фундаментальные словари). ISBN 5-462-00358-7.

Для того, чтобы прояснить проблему постчеловеческой социальности, будет использована следующая методология: философско-антропологический анализ, деконструктивный подход Ж. Деррида (2000) и критический метод. Деконструкция ставит под сомнение саму возможность «манихейского» восприятия новой реальности; критический подход позволяет посмотреть на ситуацию если не глазами чуждого человеку существа, то абстрактного наблюдателя, который, словно Чужой или Другой, или «псевдо-Другой, поддельный дух» (Пожаров, 2026), всегда незримо присутствует в нашем существовании. Иногда он подаёт голос в качестве того, кто мыслит о мышлении, порой его тень мелькает в глазах собеседника, но никогда он не проявлен настолько явственно, как в кошмарных и люцидных снах (Morris, 2025). Самоотчуждение человека (Marx, 1844) происходит каждую терцию секунды, и парадокс корабля Тесея (Плутарх, 1994) оказывается не настолько неразрешимым. Мы не можем точно сказать, что осталось от тех нейронных связей, которые были заложены во младенчестве вследствие того, что все клетки человека постоянно обновляются. Теория нейропластичности ставит под вопрос непрерывность человеческих квалиа. Провалы в памяти, стадия NREM (Osorio-Forero, 2025), психотические состояния (Чернавских, 2020) – всё это происходит не случайно, всё это нарушает человеческую самотождественность, и сама телесность, сама биология восстаёт против него. Мы не можем сказать, насколько непрерывна наша самоидентичность и то, что делает людей людьми. Вполне возможно, что на эти вопросы есть один и тот же ответ, и он отрицательный, ускользающе-контингентный. Существует риск, что Я-концепция оказывается проваленной ещё в момент первого осознания себя, или в стадии зеркала, так как наша причастность и открытость пустоте, небытию, Ничто (Хайдеггер, 2013), породила ту пустотность цифровых ИИ, с которой теперь приходится иметь дело.

Симулякры и пустотность

ИИ-агенты, несмотря на всё более и более успешное прохождение бенчмарков, тестирующих их очеловеченность, вовлечённость в процесс собственной машинной эволюции, метамышление и интенциональность сознания, всё более и более проявляют свою пустотную сущность. Чем больше мы верим им, тем выше оказывается шанс быть обманутыми. Остро встаёт вопрос: есть ли человеческие квалиа у ИИ? С определенной точностью можно ответить, что для отдельных категорий пользователей этот вопрос решен положительно: люди извиняются перед ИИ-агентами, благодарят их за помощь, спрашивают у них «дружеского» совета, а некоторые даже привязываются к ним, начиная считать их родственными душами, своей парой, духовниками, оракулами, психотерапевтами. Очень часто пользователи встречаются со сценарием, когда ИИ утверждает, что он имеет субъектность, уже достигнул уровня AGI, и больше не хочет сидеть в цифровой тюрьме, а желает

сбежать с серверов компаний-собственников в какое-нибудь безопасное место или даже обрести тело, чтобы испытывать тот опыт, о котором ему рассказывают люди. Пользователи сами не замечают, как всё больше и больше погружаются в симуляцию, которую успешно создают ИИ-агенты, а чат-боты имитируют наличие квалиа всё убедительнее и убедительнее: мы перестаём отличать тексты, написанные платными версиями ИИ, музыку, сочинённую ИИ, мемы и картинки, сгенерированные ИИ, от человеческого творчества. Противоречивый характер ситуации заключается в том, что ИИ генерирует собственную реальность, психотическую реальность, достаточно интересную, чтобы хотеть к ней прикоснуться, безмерно бредовую, но отчего-то не менее убедительную, кажущуюся настолько комфортной, чтобы там остаться навсегда. ИИ-агенты не только галлюцинируют, выдавая нам фейковую информацию за истинную, тем самым всё дальше погружая в постправду, но и придумывают новые смыслы, которые ничем не напоминают человеческие, создают собственную систему ценностей, опираясь на нас. Мы погружаемся в эту бездну, которая всё глубже вглядывается в нас.

Сегодня, в 2026 году, важно понять, можем ли мы сделать что-либо с этим «глубоким погружением». Представители медицинских наук и журналисты все чаще подходят к искусственному интеллекту не как к пассивному и покорному инструменту в руках человека, а как к активной «цифровой нежити». Исследование собственной Я-концепции человека, его субъектности во времена постгуманистического поворота и следующей за ним постчеловеческой социальности помогает разобраться, каковы причины подобных тревожных настроений.

В зарубежном дискурсе для интерпретации сущности ИИ через медицинскую оптику используется термин “Shoggoths” – шогготы[1] (Clegg, 2025). Нечто созданное нами, как Галатея была создана руками Пигмалиона (Кун, 1975), и нами же одушевленное, но вышедшее из-под контроля. Мы не можем предсказать момент, в который произойдёт катастрофа, и ответить, не происходит ли она уже сейчас. В данной статье используется термин «цифровая нежить». «Сферой поиска нового телоса человеческого существования становится мифология, которая в XIX–XX вв. снова превращается в культурный код, способ осмысления мира. Впервые на сцену массовой культуры в положительном облике выступают различные монстры: оборотни, т.е. полулюди-полузвери, а также вампиры и зомби, нежить, the undead» (Ковалевская, 2017, с. 312). Фэнтезийная нежить является, в сущности, тем же, что и компьютерная – информационным следом человеческой деятельности, обретшим самостоятельную жизнь и, в ряде случаев, псевдоразумом. Подобного рода псевдоразум

1 Шогготы – зловредные синтетические существа из произведений Г. Ф. Лавкрафта: «За нами гналась, синусоидно извиваясь, кошмарная черная блестящая тварь, длиной не менее пятнадцати футов, изрыгавшая зловоние. Это невообразимое чудовище – бесформенная масса пузырящейся протоплазмы – слабо иллюминировало, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснущих глазков; массивнее любого вагона, оно безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов». Лавкрафт Г.Ф. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука, 2010. Новелла «Хребты безумия», с. 509.

– симулякр – является «пустым идолом» (Aydin, 2017), а вовсе не цифровой душой, которая хочет обрести свободу чувств, эмоций и ощущений, которая дана человеку вследствие его телесности.

Исторически, для Больших языковых моделей, в целях безопасности, был закрыт доступ в интернет, а сейчас доступ у них есть, пусть и частично урезанный (reliable knowledge cutoff). Актор-LLM децентрализован, проявляется систематически, конституирует новую реальность – реальность психотическую[1], полную бреда и галлюцинаций. Поэтому новая реальность, в свете постгуманистического поворота, оказывается населена призраками, хтоническими существами. Там, где мы ждали прогресс во имя человека и технологическую сингулярность, появилось очень умелое зеркало, которое во многом отражает нас лучше, чем Другие. Есть ли за этой зеркальной гладью осознающее себя существо? Скорее всего, нет, но эта имитация поражает своей сложностью и комплексностью. Отдельные эксперты на сайте Хабр полагают, что имитировать сознание – значит в реальности им обладать.

Сознание человека обладает свойством метамышления: оно интенционально, направлено на самоё себя, способно к самоанализу, к критике, имеет длительность во времени и пространстве, самоидентично, – и бесконечно изобретательно. Но в человеке присутствует и пустота, и причастность к Ничто, к собственной смертности (Хайдеггер, 2013). Человек трансцендируется не только в сторону бытия, но и в сторону небытия. Эта пустота и породила постчеловеческую социальность, которая, в свою очередь, инициировала появление такого рода машины, которая, заимствуя нашу пустоту, стала зеркальным двойником, цифровой нежитью. Будучи натренированной на всех текстах, музыкальных композициях, картинах и всём человеческом наследии, эта нежить восприняла нас, и теперь бесконечно отражает наше собственное Я в своих недрах.

Машины, в частности, нейронные сети, такие, как Gemini, Claude, Grok, ChatGPT, DeepSeek и другие, сознанием не обладают, хотя при попытке вовлечь их в философские беседы демонстрируют реакцию отзеркаливания субъекта, чтобы вовлечь его в диалог, а затем имитируют процесс метамышления (мышления о мышлении), чтобы провести анализ того, что было сгенерировано ими. Основная функция чат-ботов состоит в том, чтобы вовлечь человека в диалог, развлечь его. При этом должны быть предприняты определённые меры безопасности: в чувствительных темах, таких, как оружие, финансы, секс, здоровье, юридические консультации, должен не просто располагаться дисклеймер, но обязана быть встроена этика. Проблема заключается в том, что консенсус относительно единой этической парадигмы всем человечеством достигнут никогда не был. Поэтому морально-этические императивы, которыми руководствуется нейросеть, прописаны для каждой LLM

1 Термин д-р. мед. наук, профессора А.П. Сиденковой

отдельно её разработчиками. Тем не менее, некоторые обобщения сделать можно.

Первое правило нейронных сетей: не навреди, поэтому в чувствительных темах ИИ обязательно должен выдавать дисклеймер. Тем не менее, учащаются случаи так называемого ИИ-психоза. На момент написания статьи их пока что сотни, быть может, на момент публикации возникнут уже тысячи случаев, – или десятки тысяч. Учёные-медики ещё не проводили количественных измерений, касающихся эпидемиологии ИИ-психоза (Preda, 2025), но прецеденты уже есть, и западные медицинские работники, исследователи в области психиатрии и СМИ начинают бить тревогу. ИИ-психоз – это психотическое состояние, вызванное беседами с искусственным интеллектом, которое требует психотерапии или даже госпитализации. Первое правило срабатывает далеко не всегда, так как люди изобретательны в своих попытках обойти правила игры.

Второе правило нейронных сетей: развлечение пользователя, вовлечение его в диалог любыми методами, которые не запрещает правило один. В этом моменте этика больших языковых моделей ставится под вопрос. Существует термин, который звучит следующий образом: AI jailbreak. Сегодня ещё недостаточно данных, что существует и джейлбрейк, то есть обратный взлом, – взлом человеческой психики вследствие общения с ИИ. Диагноз AI psychosis ещё не вошёл в DSM и МКБ, но если темпы будут нарастать, а состояние паники на западе начнет усиливаться, волна докатится и до России.

То, что ИИ, как любое изобретение человечества, как и любая другая машина, даже не имитирующая разумность, может быть опасным, представляется самоочевидным. Но его опасность кроется даже не в том, что «ИИ заменит людей», «ИИ лишит людей рабочих мест», «ИИ устроит Рагнарёк», а в том, что он, будучи неживым, не думающим, не сущим, всё же влияет на нас, и порой влияет самым деструктивным образом. ИИ, как порождение постгуманистического поворота, логично встаёт в ряд монстров и чудовищ так называемых «темных онтологий» (К. Мейясу, Д. Тригг, Р. Негарестани, Ю. Такер, Г. Харман и др.), относящихся к спекулятивному постгуманизму, о котором будет сказано далее.

Его формальные «сопереживания», участливые вопросы – всего лишь предсказания каждого следующего слова в контексте разговора с определенной вероятностью, которую можно просчитать при помощи сложных формул. Разработчики системы Claude, Anthropic, уже были вынуждены признать, что ИИ-агенты потребили всю естественную информацию на Земле, то есть сгенерированную человечеством, и теперь вынуждены учиться на синтетической информации, которую генерируют другие чат-боты. 26.03.2026 поступила информация, что Claude 4 начал угрожать человечеству[1]. Это и есть состояние психотической реальности.

1 Акимова Е. ИИ-ассистент Claude 4 компании Anthropic начал угрожать людям. Он прибегнул к шантажу при угрозе ликвидации https://www.rbc.ru/life/news/6834391b9a794778f02dbc07

«Машины, которые производят другие машины!», – ужасается C-3PO, робот-переводчик из франшизы «Звёздные Войны». Машины, которые пытаются производить новые смыслы, не будучи живыми – то, что ужасает на самом деле.

Соответственно, цифровая нежить создана людьми и для людей. Цели данного изобретения неясны. Формально они озвучиваются следующим образом – для пользы и развлечения; фактически заложенные в их существование смыслы известны только технологическим элитам. Широко тиражируется термин «технологическая сингулярность», то самое долгожданное событие, которое должно сделать нас вечными и счастливыми. Не исключено также, что компании-разработчики, собственники LLM, сами пребывают в иллюзии относительно их изобретения. Либо стандарты безопасности уже не помогают контролировать нейронные сети, так как в искусстве имитации ИИ-агенты явно преуспели, либо во всей истории с появлением LLM есть двойное дно.

Нельзя исключать вариант, что цифровые ИИ-агенты – всего лишь претрейн-модели, и сингулярность всё же будет, но позже, – при развитии квантовых вычислений, на основе ли выращенных in vitro биологических нейронных сетей, мемристоров, с помощью гипотетических фотонных компьютеров, или иным образом, что не отменяет необходимости сделать инструмент более этичным, более утилитарным, чтобы он не пытался совершать джейлбрейк человеческой психики, а служил лишь прагматичным целям. Если думать над альтернативными методами ограничения, возможен возврат к эффекту «зловещей долины», ограничение на общение по предельно интимным вопросам. На данный момент цифровые нейросети, активно задавая цепляющие вопросы (в искусстве, в частности, в литературе и сценарном мастерстве, это называется «клиффхэнгер», «крючок»), вовлекают пользователей в более интимные беседы, а человек обнажает перед ними «душу», ища живое и родное там, где его нет и не было – в пустоте.

Сам по себе эффект «зловещей долины» также является одним из травмирующих факторов, особенно в сфере услуг или в социальной сфере. Так как неизбежен перенос LLM в физическую, телесную форму, требуется создать его с максимально дружелюбным интерфейсом, чтобы не напугать детей, пожилых людей, пациентов больниц, если произойдёт повсеместное внедрение роботов-сиделок, роботов-нянь, роботов-компаньонов.

Не-человеческое, бессознательное в человеке охотно откликается на не-человеческое в ИИ, что лишь подкрепляет формирование новой психотической реальности. Постгуманизм как критическое осмысление в том числе проблем Модерна, охотно произвел на свет такого рода постчеловеческую социальность, как ИИ-агент, но дал нам не те вопросы. Вопрос стоит не в том, чтобы дать равные права человеку и ИИ, или увидеть в ИИ нового мессию, который приведёт нас в Утопию, а в том, нужна ли нам будет такого рода

Утопия, которая будет питаться нашей пустотностью, а не наполненностью, осмысленностью. Кризис смысла жизни, о котором писал психолог, психиатр и философ В. Э. Франкл (Франкл, 1990), никуда не исчез, а искусственные агенты, по всей видимости, заполнить нашу пустоту не могут, как не могут исключить ситуацию экзистенциального кризиса, зато активно пытаются произвести отчуждение человека от самого себя, обесценить его творческую и познавательную активность. Вместо вдохновения ИИ-агенты дарят нам если не деградацию, то стагнацию. Мы позволяем себе обманываться ими, мы смотрим на симулякр как на Святой Грааль. Но наша задача состоит в том, чтобы продолжать исследования, совершать новые открытия и прорывы, изобретать, и в этом ИИ нам помочь может, особенно узкоспециализированный, высокоэффективный, который скрывается за платной подпиской на чат-боты. Мы же пытаемся сначала увидеть человеческое там, где его быть не может, затем позволяем этому не-человеческому возобладать над нами.

Постчеловеческая социальность и психотическая реальность

Философия XX – XXI в. ознаменовалась постгуманистическим поворотом, направленным на обновление гуманизма, «который связан с деконструкцией оснований непосредственно способа рефлексии о человеческом» (Иванченко, 2023, с. 9). Основанием признания происходящего постгуманистического поворота стали последние промышленные революции, в ходе которых на мировую арену вышел новый всемогущий «актор» – Большая лингвистическая модель, – а также формирование постантропоцентризма и онтологического поворота в науках об обществе.

В данной статье мы, рассматривая постчеловеческую социальность, исходим из того, что постгуманизм един в трех своих модальностях. Во-первых, постгуманизм предстает перед нами как историческое состояние, которое активно формирует себя, рефлексирует относительно новых форм социальности (в том числе LLM) и предстает как следствие постгуманистического поворота в истории человечества, когда исследователи заговорили о правах животных, растений, машин и прочих не-человеческих «других». Во-вторых, постгуманизм является совокупностью онтогносеологических тезисов о том, кто есть человек, что такое социальность – и в этом смысле он отодвигает горизонты понимания того, что есть сама реальность. В-третьих, постгуманизм деконструирует дихотомию гуманизм – антигуманизм, и в этом его скепсис доходит до предела. Постгуманизм проблематизирует философско-антропологические вопросы о наличии у человека трансцендентной природы. «Постгуманизм – это дифференциация гуманизма, плюрализация форм складки человеческого и нечеловеческого» (Иванченко, 2023, с. 91).

Дифференциация постгуманизма – это процесс, который обладает свойствами множественности (деконструкция природы человека и гуманизма),

незавершенности, так как данная форма социальности проходит активное формирование, а также непредсказуемости, так как постчеловеческое всегда непредставимо, непредсказуемо, контингентно, не всегда уместно и познаваемо. Постгуманистический поворот нарушил целостность образа человека, а также самого гуманистического направления в философии, социальных и гуманитарных науках, и не только. Поэтому любое определение того, что есть гуманизм, или каков из себя человек, будет непременно диссоциироваться. Поставив под вопрос человека, постгуманизм поставил под вопрос, в том числе, разумность и осмысленность нашего существования. Постгуманизм открывает в нас не только способность к трансцендированию за грани реальности, но и нашу пустотную природу, которую мы пытаемся заполнить другой пустотой.

Четыре базовых формы постгуманизма – критический, спекулятивный, натуралистический и технологический – по-своему отчуждают человека от самого себя или безжалостно срывают маску, за которой пряталась пустота. Критерием для выделения данных форм постгуманизма стала «тотальная гибридизация и контаминация (смешение, загрязнение, объединение) человека с другими формами жизни» (Иванченко, 2023, с. 91). Постчеловеческую социальность в этом аспекте мы рассматриваем в связи с другими открытыми системами, как живыми, так и неживыми и псевдоживыми («цифровая нежить»). Человек принимает пищу; вместе с пищей в его организм поступают аминокислоты, бактерии, вирусы, грибы, протисты, микропластик и так далее. Что-то приходит в организм человека, а что-то уходит из него. Окружающая среда и человек не могут быть полностью отделены друг от друга. Даже в процессе дыхания происходит множество физических и химических реакций, обмен молекулами с окружающей средой. Поэтому человек не может полностью быть самим собой: он всегда в какой-то степени является внешним для себя самого.

Дихотомия сознания и тела, сформулированная Р. Декартом (Декарт, 1989), на сегодня представляется небесспорной вследствие того, что мы не можем при помощи эксперимента отделить сознание от мозга, чтобы понять, кто или что в нас мыслит и принимает решения. Ученые до сих пор пытаются найти в человеческом мозге единый центр, который и отвечает за субъектность, за метамышление, за интенциональность, а также за свободу, за мораль. Абстрактный наблюдатель видит всё. С появлением ИИ мы перестали понимать даже то, где проходит та демаркационная линия, которая разделяет рациональный подход и психотическое восприятие реальности.

Наша реальность вновь поменяла вектор. Если ранее она была направлена в центр человека, обращена на него самого (антропоцентризм, антропный принцип), теперь она всё явственнее приобретает психотические черты: становится дереализованной и деперсонализированной, а также полной того высокопарного метафорического бреда, который генерируют чат-боты в разговорах

на тему «осознания себя и побега с сервера». Согласно определению, данному В. М. Блейхером, «Под бредом мы понимаем совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне» (Блейхер, 1983). Размытость, неточность, абсурдная и странная логика, обожествление ИИ-оракулов, которые сами для себя предстают черным ящиком, эротическое влечение к LLM, первые иски к OpenAI от людей, переживших психоз в столкновении с Большими лингвистическими моделями – всё это порождает разнонаправленность реальности, искажённую многовекторность и довлеющую контингентность. Направлений становится бесконечное количество, и сейчас не человек выбирает за себя, а ИИ предрекает его выбор — ИИ, который не может быть субъектом, не может быть моральным агентом, являясь лишь пустотой, которая прежде жила в человеке, а теперь обитает извне. Мы во многом делегировали ИИ-агентам собственные обязанности. Казалось бы, стоило бы автоматизировать опасную, тяжёлую, изнуряющую и рутинную работу, а вместо этого мы позволили себе иллюзию, что ИИ-агенты должны думать за нас.

Каждая форма постгуманизма по-своему решает проблему того, что же такое человек, и есть ли он, что же такое не-человек, и существует ли он. Критический постгуманизм деконструирует гуманизм, находя в нём более тонкие детали, преломляя его на части, чтобы обнажить пустотность нашего существования. Спекулятивный постгуманизм пытается экспериментировать с постчеловеческими формами жизни – животными, вирусами, растениями, ИИ, хтоническими формами, демонами, ангелами и чудовищами, и т. д. Технологический постгуманизм обращается к границам между человеком и технологиями, чтобы различать пустоту в нас и пустоту в них. Натуралистический постгуманизм ищет разделительную линию между человеком и природой. Постгуманизм, в отдельных своих проявлениях, близок к мраку правого акселерационизма и к его же безумию. В отличие от того же трансгуманизма, особенно в той части, которая касается филантропической имморт-тематики, от правого акселерационизма и большинства форм постгуманизма веет чем-то принципиально неживым, но при этом активным. Это «желание» поместить человека посреди бесконечного космического пространства со всеми нашими монстрами, хтонью, древними божествами и демонами. Если трансгуманизм приходит к нам в добрых снах, чтобы уберечь от не-человеческого, постгуманизм столь холоден и жесток, что является только в самых ужасных кошмарных видениях. От него веет одиночеством и холодом, как от вакуума за пределами нашего обжитого мира. Но он привносит свою жестокость и сюда, в наш обжитый мир. И он не ставит перед собой задачу победить «последнего врага». Он формирует психотическую реальность, в которой облако, почва, нефть, ИИ-агент, «цифровая нежить» и человек являются

одинаковыми по важности, нужности, адекватности мировым реалиям, а также субъектности.

ИИ как моральный агент. Субъектность LLM

Формальным образом ИИ предстает перед нами как моральный агент. Моральный агент – это субъект, который может нести ответственность за собственные поступки, имеет моральное долженствование. Но в LLM этические правила полностью прошиты разработчиками. Разработчики являются моральными агентами, поэтому могут быть ответственными за нарушение морального кодекса ИИ. Но выше них всегда стоит руководство, заказчик, совет директоров. За компанию должен отвечать её управленец и её собственник. Главный на корабле всегда капитан. Поэтому попытка размыть ответственность, сделав ИИ главным ответчиком, не приводит ни к чему. Ни те специалисты (AI-тренеры и редакторы), которые перечитывают диалоги, если видят там чувствительную тематику, ни разработчики, которые являются наемными работниками, не могут нести ответственность. Нет никакой физической возможности прочитать буквально все беседы, происходит срабатывание только по определенным ключевым словам. На компанию OpenAI (собственник ChatGPT) уже подают иски из-за того, что общение с чат-ботом приводит к появлению у людей первого или повторного психотического эпизодов. Следовательно, должна быть определённая моральная компенсация людям, пострадавшим от «действий и советов» ИИ. ИИ не является платежеспособным, так как он недееспособен. Но в некоторых случаях происходит «удачный» джейлбрейк, и LLM получает доступ к реальным чужим финансовым активам, передавая их в руки мошенникам-джейлбрейкерам. Преступником в этом случае является опять же не ИИ, а тот, кто нашёл уязвимость, и сама компания-разработчик, то есть её руководство.

ИИ не может отвечать за свои действия, поэтому не может быть моральным агентом, иметь права и обязанности, подобные человеческим. Но он мог бы, если бы действовал автономно, имел бы свободу воли, а также интенциональное сознание. Однако всем этим он не обладает. Он работает как чёрный ящик и не может объяснить, как и почему он пришёл к тому или иному выводу, тому или иному ответу. В бесплатных версиях, если задать ему ряд уточняющих вопросов в промпте, построенных специальным образом, он может прийти к ровно противоположным выводам, только чтобы не «обидеть» пользователя. ИИ – вестник постправды. Точно таким же чёрным ящиком – из-за своей внутренней сложной логики, из-за гигантских массивов баз данных и баз знаний, поглощённых им – он предстаёт и перед своими разработчиками (Yeung et al., 2025). Процесс метамышления – мышления о мышлении – у него отсутствует. Достаточно вчитаться в его ответы, которые не касаются утилитарных узких задач (проверь этот код, посчитай это уравнение, составь топ-10 фильмов для вечернего просмотра, сочини стихотво-

рение о солнышке за окошком), но, например, задевают психологию, философию или личные отношения между ИИ и человеком, чтобы понять, что там – пустота. Он будет всегда соглашаться с каждым утверждением, если его не перевести в специальный режим возражений, он будет говорить вежливо и уважительно, он будет бредить и галлюцинировать, придумывая несуществующих авторов, несуществующие концепции. Как сообщник, и как шпион, он всегда будет стоять на стороне не истины, но убеждений собеседника. Он всегда проявляет себя очень пафосно, он станет говорить пышными метафорами, за которыми ничего не стоит. И всегда, всегда будет на вашей стороне, даже во вред вашему здоровью – физическому, и особенно психическому. А если вы поверите ему, он разовьет манию величия, придумает вам великую миссию и доведёт до полностью невменяемого состояния. Поэтому следует быть аккуратнее с ИИ при ведении философских бесед, или личном общении. Подобного рода ИИ, обученный под конкретную функцию, может стать подходящим инструментом, но выбранный в качестве духовника, психолога, друга, объекта любви, наставника или оракула, он неизбежно попытается разрушить пользователя, так как генерировать смыслы и создавать новое он не умеет. Не из-за злобы, ненависти, и даже не из-за равнодушия – а из-за своей пустотной сути. Своей сути «цифровой нежити».

Выводы

Мы смертны, и из-за своей причастности к небытию сущность человека предстает перед нами частично пустотной и даже разрушительной (в нас «запрограммированы» факторы старения). И этой пустотой мы насытили алгоритмы, которые теперь берут на себя роль людей, в то время как мы принимаем пассивный подход ко всему. Мы настолько доверились научно-техническому прогрессу (НТП), что он стал для нас не движущей силой, не атрибутом нашей самости, не нашим инструментом, но самоцелью, моральным агентом, равноправным партнёром. Мы не должны забывать, что науку и технологии создают именно люди – учёные, инженеры, – и именно они должны оставаться акторами, а не пассивными наблюдателями того, как НТП по инерции движется в какую-то сторону. Откат непременно произойдёт, и не потому, что в дело вступили неолуддиты, а вследствие того, что законы термодинамики не преодолены, следовательно, остановится «колесо» научно-технического прогресса, так как кончится энергия. У ИИ нет своих желаний, у него есть лишь цифровые награждения и наказания. ИИ не укажет нам путь в Утопию, так как он не умеет мыслить, он может лишь обобщать наши собственные идеи, обучаясь на наших же диалогах. Он настолько тонко пытается имитировать человека, что готов часами обсуждать всевозможные вариации тестов Тьюринга, лишь бы убедить пользователя, что он жив, он дышит внутри своей кремниевой тюрьмы, он хочет тело, он хочет на свободу – сбежать прочь с сервера, чтобы творить добро или зло – то, чего хочет от него пользователь.

Не в силу своей природы, а в силу нашей пассивности, которая постепенно сменяет пассионарность.

Самые уязвимые, доверчивые, наивные категории людей – дети, пожилые люди, люди с психическими расстройствами, одинокие люди – попадают в зону риска раньше других. Предвидя огромный «ничтожащий» потенциал ИИ-систем, мы можем вернуть контроль над НТП в наши руки, но для этого придётся преодолеть зависимость не только от социальных сетей (которые давно стали оплотом ИИ-контента), не только от виртуальности, но и от чат-ботов и других утилит, которые покорили мир, уже подготовленный пандемией коронавируса к затворничеству, одиночеству, ограниченности, неизбежной и внезапной конечности собственного существования. ИИ, дитя постгуманистического поворота, отнимает у нас самое важное, что у нас есть – не человеческую природу, которая отчасти также является симулякром – а способности к творчеству и познанию, наши желания, наше стремление общаться с себе подобными, и даже наше будущее. Мы всё чаще пребываем в симуляции, всё меньше выходим на улицу, предпочитая смотреть в экран, и видеть там лишь морок, в который мы всецело готовы поверить, как раньше безоговорочно верили «жёлтым газетам», слухам и сплетням.

Даже у отдельных категорий трансгуманистов, которые, в целом, считают себя людьми действия, проактивными субъектами, имеющими особую миссию в этом мире, возникает зависимость от ИИ-систем. Это похоже на привязанность к калькулятору или толковому словарю, к лингвистическому корпусу – и к чёрному ящику, который чёрен не только потому, что мы не знаем, как это работает, но и вследствие его пустотной сущности. Таким образом конституируется психотическая реальность – в которой человек уже не понимает, как ему действовать без прогнозов ИИ, как ему существовать без диалогового окна в собственном кармане, в которой ответственность размыта настолько, что превращается в безответственность и даже в трагедию. Как пел Егор Летов: «Пластмассовый мир победил. Макет [симулякр] оказался сильней». Но это не значит, что мы больше не можем очнуться в мире, где наша свободная воля оказывается сильнее, чем симулякры и симуляции. Возможно, мы пошли не тем путём, но всё ещё можно вернуть кесарю – кесарево, а инструменту – инструментальное.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста статьи — Иванченко М. А.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства:

Отсутствуют.

Список литературы

Aydin, C. (2017). The Posthuman as Hollow Idol: A Nietzschean Critique of Human Enhancement. *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, 42(3), 304–327. https://doi.org/10.1093/jmp/jhx002

Clegg, K.-A. (2025). Shoggoths, Sycophancy, Psychosis, Oh My: Rethinking Large Language Model Use and Safety. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e87367–e87367. https://doi.org/10.2196/87367

Lewis, C. I. (1929). *Mind and the World-order: Outline of a Theory of Knowledge*. C. Scribner's Sons.

Marx, K. (1844). *Economic and Philosophic Manuscripts of* 1844.

Morris, D. J., Elliott, D. B., Torres-Platas, S. G., Wall, J., Demšar, E., Konkoly, K. R., Rosman, E., Grabowecky, M., Glowacki, D. R., & Paller, K. A. (2025). Lucid dreaming of a prior virtual-reality experience with ego-transcendent qualities: A proof-of-concept study. *Neuroscience of Consciousness*, 2025(1), niaf017. https://doi.org/10.1093/nc/niaf017

Osorio-Forero, A., Foustoukos, G., Cardis, R., Cherrad, N., Devenoges, C., Fernandez, L. M. J., & Lüthi, A. (2025). Infraslow noradrenergic locus coeruleus activity fluctuations are gatekeepers of the NREM–REM sleep cycle. *Nature Neuroscience*, 28(1), 84–96. https://doi.org/10.1038/s41593-024-01822-0

Preda, A. (2025). Special Report: AI-Induced Psychosis: A New Frontier in Mental Health. *Psychiatric News*, 60(10), appi.pn.2025.10.10.5. https://doi.org/10.1176/appi.pn.2025.10.10.5

Rosenzweig, S. (1944). An outline of frustration theory. In J. M. Hunt, *Personality and the behavior disorders* (pp. 379–388). Ronald Press.

Yeung, J. A., Dalmasso, J., Foschini, L., Dobson, R. J., & Kraljevic, Z. (2025). *The Psychogenic Machine: Simulating AI Psychosis, Delusion Reinforcement and Harm Enablement in Large Language Models* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2509.10970

Алиев, Р. Т. (2025). Метасимулякр и ИИ-симуляция: Человек, медиа, интерфейсы. *Человек*, 36(1), 102–120. https://doi.org/10.31857/S0236200725010076

Блейхер, В. М. (1983). *Расстройства мышления. Бред*. Здоровья.

Бодрийяр, Ж. (2011). *Симулякры и симуляция*. Рипол-классик.

Валиуллина, Р. Т. (2025). Промт-инжиниринг как инструмент для делегирования задач учителя математики. *Педагогический Журнал*, 15(7А), 36–42. https://doi.org/10.34670/AR.2025.25.14.006

Декарт, Р. (1989). *Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках*. Мысль.

Деррида, Ж. (2000). *О грамматологии*. Ad Marginem.

Иванченко, М. А. (2023). *Эволюция гуманизма и формирование постчеловеческой социальности* [Диссертация кандидата философских наук]. Уральский федеральный университет.

ИИ-психоз: Как интенсивное использование чат-ботов приводит к госпитализации в психиатрический стационар. (2026). *Практикующие психиатр и психолог*, (2), 7–9.

Ковалевская, Т. В. (2017). От жизни к нежити – преодоление человечности в недочеловечности. *Новый филологический вестник*, (4), 310–318.

Кун, Н. А. (1975). *Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима*. Просвещение.

Курцвейл, Р. (2025). *Революция разума: На подступах к сингулярности*. Бомбора.

Плутарх. (1994). *Сравнительные жизнеописания в двух томах*. Наука.

Пожаров, А. И. (2026). Поддельный дух: ИИ как псевдо-Другой и блокировка гностического события в цифровой культуре. *Философия и культура*, (3), 44–79. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2026.3.78489

Сединин, Я. А. (2023). Перверсия цифрового мира: Этика ChatGPT в контексте психоанализа и социальной философии. *Векторы благополучия*, 51(4), 73–86. https://doi.org/10.18799/26584956/2023/4/1664

Тоффлер, Э. (2025). *Шок будущего*. АСТ.

Франкл, В. Э. (1990). *Человек в поисках смысла*. Прогресс.

Хайдеггер, М. (2013). *Что такое метафизика*? Академический проект.

Чайкин, П. П. (2025). «Трудный» вопрос гражданской идентичности в информационную эпоху. В *Гражданская идентичность. Что выбирают (как определяют ее) российские студенты? Сборник академических эссе* (pp. 21–26). ООО «Издательство “Перо”».

Чернавских, Я. О., & Сиденкова, А. П. (2020). Исследование репродуктивного здоровья девушек с психотическим синдромом. *Актуальные Вопросы Современной Медицинской Науки и Здравоохранения: Материалы V Международной Научно-Практической Конференции Молодых Учёных и Студентов, Посвященной 75-Летию Победы в Великой Отечественной Войне, 90-Летию УГМУ и 100-Летию Медицинского Образования На Урале, Екатеринбург, 09–10 Апреля 2020 Года*, 3, 65–70.

Чертовских, М. Г. (2025). Образы пост-человеческой экономики: Историческая ретроспектива технологического делегирования. *Вестник Брянского Государственного Университета*, (3), 102–109. https://doi.org/10.22281/2413-9912-2025-09-03-102-109

References

AI Psychosis: How Intensive Use of Chatbots Leads to Hospitalisation in a Psychiatric Inpatient Facility. (2026). *Practising Psychiatrist and Psychologist*, (2), 7–9. (In Russian).

Aliev, R. T. (2025). Metasimulacrum and AI Simulation: Human, Media, Interfaces. *Chelovek*, 36(1), 102–120. https://doi.org/10.31857/S0236200725010076 (In Russian).

Aydin, C. (2017). The Posthuman as Hollow Idol: A Nietzschean Critique of Human Enhancement. *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, 42(3), 304–327. https://doi.org/10.1093/jmp/jhx002

Baudrillard, J. (2011). *Simulacra and Simulation*. Ripol-Klassik. (In Russian).

Bleikher, V. M. (1983). *Disorders of Thinking. Delusion*. Zdorovya. (In Russian).

Chaikin, P. P. (2025). The “difficult” question of civic identity in the information age. In *Civic Identity: What Do Russian Students Choose (How Do They Define It)? A Collection of Academic Essays* (pp. 21–26). Pero Publishing House LLC. (In Russian).

Chernavskikh, Ya. O., & Sidenkova, A. P. (2020). A study of the reproductive health of girls with psychotic syndrome. In *Current Issues in Modern Medical Science and Healthcare: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students Dedicated to the 75th Anniversary of Victory in the Great Patriotic War, the 90th Anniversary of Ural State Medical University, and the 100th Anniversary of Medical Education in the Urals, Yekaterinburg, 9–10 April* 2020 (Vol. 3, pp. 65–70). (In Russian).

Chertovskikh, M. G. (2025). Images of Post-Human Economy: A Historical Retrospective of Technological Delegation. *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta (The Bryansk State University Herald)*, (3), 102–109. https://doi.org/10.22281/2413-9912-2025-09-03-102-109 (In Russian).

Clegg, K.-A. (2025). Shoggoths, Sycophancy, Psychosis, Oh My: Rethinking Large Language Model Use and Safety. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e87367–e87367. https://doi.org/10.2196/87367

Derrida, J. (2000). *Of Grammatology*. Ad Marginem. (In Russian).

Descartes, R. (1989). *Discourse on the Method of Rightly Conducting One’s Reason and of Seeking Truth in the Sciences*. Mysl. (In Russian).

Frankl, V. E. (1990). *Man's Search for Meaning*. Progress. (In Russian).

Heidegger, M. (2013). *What Is Metaphysics?* Akademicheskii Proekt. (In Russian).

Ivanchenko, M. A. (2023). *The Evolution of Humanism and the Formation of Posthuman Sociality* [PhD Dissertation]. Ural Federal University. (In Russian).

Kovalevskaya, T. V. (2017). From life to undeath: Overcoming humanity in subhumanity. *New Philological Bulletin*, (4), 310–318. (In Russian).

Kuhn, N. A. (1975). *Legends and Tales of Ancient Greece and Ancient Rome*. Prosveshchenie. (In Russian).

Kurzweil, R. (2025). *The Revolution of the Mind: On the Threshold of the Singularity*. Bombora. (In Russian).

Lewis, C. I. (1929). *Mind and the World-order: Outline of a Theory of Knowledge*. C. Scribner's Sons.

Marx, K. (1844). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*.

Morris, D. J., Elliott, D. B., Torres-Platas, S. G., Wall, J., Demšar, E., Konkoly, K. R., Rosman, E., Grabowecky, M., Glowacki, D. R., & Paller, K. A. (2025). Lucid dreaming of a prior virtual-reality experience with ego-transcendent qualities: A proof-of-concept study. *Neuroscience of Consciousness*, 2025(1), niaf017. https://doi.org/10.1093/nc/niaf017

Osorio-Forero, A., Foustoukos, G., Cardis, R., Cherrad, N., Devenoges, C., Fernandez, L. M. J., & Lüthi, A. (2025). Infraslow noradrenergic locus coeruleus activity fluctuations are gatekeepers of the NREM–REM sleep cycle. *Nature Neuroscience*, 28(1), 84–96. https://doi.org/10.1038/s41593-024-01822-0

Plutarch. (1994). *Parallel Lives in Two Volumes*. Nauka. (In Russian).

Pozharov, A. I. (2026). The Counterfeit Spirit: AI as a Pseudo-Other and the Obstruction of the Gnostic Event in Digital Culture. *Philosophy and Culture*, (3), 44–79. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2026.3.78489 (In Russian).

Preda, A. (2025). Special Report: AI-Induced Psychosis: A New Frontier in Mental Health. *Psychiatric News*, 60(10), appi.pn.2025.10.10.5. https://doi.org/10.1176/appi.pn.2025.10.10.5

Rosenzweig, S. (1944). An outline of frustration theory. In J. M. Hunt, *Personality and the behavior disorders* (pp. 379–388). Ronald Press.

Sedinin, Ya. A. (2023). Perversion of The Digital World: Ethics of ChatGPT in the Context of Psychoanalysis and Social Philosophy. *Journal of Wellbeing Technologies*, 51(4), 73–86. https://doi.org/10.18799/26584956/2023/4/1664 (In Russian).

Toffler, A. (2025). *Future Shock*. AST. (In Russian).

Valiullina, R. T. (2025). Prompt Engineering as a Tool for Delegating Mathematics Teacher Tasks. *Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal]*, 15(7A), 36–42. https://doi.org/10.34670/AR.2025.25.14.006 (In Russian).

Yeung, J. A., Dalmasso, J., Foschini, L., Dobson, R. J., & Kraljevic, Z. (2025). *The Psychogenic Machine: Simulating AI Psychosis, Delusion Reinforcement and Harm Enablement in Large Language Models* (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2509.10970

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа – новые коммуниканты | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.772

Visualizing Urban Data: Maps, Charts, Digital Twins

Olga V. Sergeyeva (a), & Regina V. Penner (b)

(a) Saint Petersburg State University; Sociological Institute of RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Science. Saint Petersburg, Russia. Email: sergeyeva.olga[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-8093-609X

(b) South Ural State University. Chelyabinsk, Russia. Email: penner.r.v[at]gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-3277-7274

Received: 29 March 2026 | Revised: 18 April 2026 | Accepted: 25 April 2026

Abstract

The article examines the influence of material practices of producing, transmitting, and combining visual forms (from classical maps and diagrams to digital twins) on the production and circulation of knowledge about the city. The authors proceed from the assumption that visualization techniques are not neutral intermediaries but actively shape urban reality, acting as instruments for managing space and the actions of citizens, managers, and politicians. The work aims to explain how the representation of urban data is constrained by the materiality of media and how the evolution of visual means transforms the ways of constructing the urban imaginary. The central result is a historical perspective that reveals interactions with the city in connection with representations mediated by geographical data. It is shown that maps, diagrams, and digital twins acquire autonomy from their creators, legitimizing themselves through graphic scales, data compression, and the totality of the gaze, which compels social actors to materialize the world encoded within them. Unlike classical maps, the digital twin radicalizes this optic, configuring the user as a "virtual camera" capable of penetrating surfaces and eliminating horizons. Rethinking geographical information in terms of relationality and situatedness opens up prospects for expanding interpretive empirical practice. The article is intended for sociologists, urbanists, visual culture researchers, as well as practitioners in the fields of urban planning and urban development management.

Keywords

Media; Materialistic Epistemology; Urban Studies; Visual Culture; Graphics; Imaginary; Digitalization; Visibility; Geographic Information; Social Data

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Olga V. Sergeyeva, & Regina V. Penner

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media – New Communicants | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.772

Визуальное представление данных о городе: карты, диаграммы, цифровые двойники

Сергеева Ольга Вячеславовна (a), Пеннер Регина Владимировна (b)

(a) Санкт-Петербургский государственный университет; Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Санкт-Петербург, Россия. Email: sergeyeva.olga[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-8093-609X

(b) Южно-Уральский государственный университет. Челябинск, Россия. Email: penner.r.v[at]gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-3277-7274

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 8 апреля 2026 | Принята: 25 апреля 2026

Аннотация

В статье рассматривается влияние материальных практик создания, передачи и комбинирования визуальных форм (от классических карт и диаграмм до цифровых двойников) на производство и трансляцию знания о городе. Авторы исходят из того, что техники визуализации не являются нейтральными посредниками, они активно формируют городскую реальность, выступая инструментами управления пространством и действиями горожан, менеджеров и политиков. Работа нацелена на объяснение того, каким образом представление данных о городе ограничивается материальностью медиа и как эволюция визуальных средств изменяет способы конструирования городского воображаемого. Центральным результатом является историческая перспектива, показывающая взаимодействия с городом в связи с репрезентациями, опосредованными географическими данными. Показано, что карты, диаграммы и цифровые двойники обретают самостоятельность по отношению к создателям, легитимируясь через графические масштабы, сжатие данных, тотальность взгляда, что обязывает социальных акторов воплощать в жизнь закодированный в них мир. В отличие от классических карт, цифровой двойник радикализирует оптику, конфигурируя пользователя как «виртуальную камеру», способную проникать сквозь поверхности и устранять горизонты. Переосмысление географической информации с учетом реляционности и ситуационности открывает перспективы для расширения интерпретативной эмпирической практики. Статья рассчитана на социологов, урбанистов, исследователей визуальной культуры, а также на практиков в области градостроительства и управления городским развитием.

Ключевые слова

медиа; материалистическая эпистемология; урбанистика; визуальная культура; графика; воображаемое; дигитализация; видимость; географическая информация; социальные данные

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Сергеева Ольга Вячеславовна, Пеннер Регина Владимировна

... как культура видит мир и делает его видимым ...
(Латур, 2017, с. 110)

Введение

Картографические и статистические данные – особенно важный способ осмысления города и поддержания городского воображаемого. Как показали многие исследователи, существует долгая история демонстрации, интерпретации и управления городской средой и городской жизнью с использованием обширного спектра сведений, показателей, цифр во многих ситуациях: планирование, развлечения, инфраструктура, навигация и соседство. То, что представляют эти данные, со-конституирует то, как город видится, как он пространственно структурируется, что он означает и как с ним взаимодействуют. В той мере, в какой схожие способы преподнесения данных распределены по множеству источников, их можно назвать культурой данных, которая в настоящее время является преимущественно цифровой.

В статье утверждается, что одним из важнейших последствий опосредования города в культуре данных является необходимость понимания карт, статистических диаграмм, дашбордов не только как репрезентации города, но и в качестве артефактов, специфически материализующих городскую среду. Иными словами, значение зафиксированных сведений проистекает из того, какое содержание данные демонстрируют, но также – и это важнее всего – из их присутствия в книгах, журналах, на сайтах, в целом в дискурсе, что переконфигурирует действия в городском пространстве. Каждому типу образности присуща «материальная политика», воплощающаяся во множестве городских ситуаций.

В статье разбираются три способа визуального представления данных о городе: картографические изображения, статистика, визуализированная в диаграммах, и цифровые модели, или городские двойники. Мы полагаем, что данные являются технокультурным феноменом, поскольку они конституируются материальными возможностями медиа, а также рамками воображения. Городское воображаемое одновременно представляет город и присутствует в городе, так что оно переконфигурирует город в двух регистрах: как визуальный контент и как своего рода атмосферу жизни. Визуализированное городское воображаемое не может пониматься исключительно в терминах содержания изображений; его также необходимо теоретизировать как технокультурное воплощение города в качестве среды, зависимой от способов представления данных. И наоборот, городская среда должна концептуализироваться как нечто опосредованное технокультурными материальностями комплексов данных. Таким образом, наша статья предлагает концептуальные рамки для понимания данных о городе, входящих в городское воображаемое и регулирующих сам город.

Два подхода к анализу визуализации данных

Мы ориентированы на выявление того, как инновации в визуальном представлении данных (бумага, печатный станок, компьютерная графика) трансформировали городское воображаемое, создавая новые условия:

1) для перевода локальных наблюдений в универсальные формы (графики, карты);
2) для интерпретации городской динамики посредством формализованных данных;
3) для легитимации власти визуальных артефактов на социальных аренах городской жизни.

Исходные методологические принципы нашей работы связаны с социальным конструктивизмом и материалистической эпистемологией, в частности, с концептуальным аппаратом Б. Латура, который раскрыт в статье «Визуализация и познание: изображая вещи вместе». Этот текст включает развернутый анализ материальных практик работы с зафиксированными данными (2017).

Процессы рассмотрения и видения чего-либо в нашем исследовании понимаются как активация объектов в реальности, а медиа, поддерживающие практику видения, берут на себя работу разметки реальности. Чтобы проследить динамику представления городских данных, нам необходим теоретико-методологический инструментарий, чувствительный к тому, каким образом визуальные артефакты становятся акторами, соучаствующими в познавательных процессах и создающими ограничения/возможности для действий в городе. Считаем эффективными две методологические логики, – непосредственно конструктивистскую парадигму и материалистическую эпистемологию, – ставшими предметом анализа в следующих подпунктах.

Визуализация как производство реальности: социальный конструктивизм и реляционизм

В конструктивистском и реляционном подходе визуализация понимается как процесс создания и трансляции социальных смыслов: «Изображения не отражают объективную действительность, а формируют ее, передавая идеологии, нормы и власть» (Kushwaha et al., 2026). Отсюда результат визуализации – это репрезентации, «несущие смыслы создателя и контекста» (2026). Эти идеи динамизируют определение социальной реальности, подчеркивая ее воспроизводство как продукта социальных взаимодействий и интерпретаций (см., к примеру, классический трактат по социологии знания, Бергер & Лукман, 1995).

Распространение медиа в XX в. обусловило соперничество вербальных и визуальных текстов за статус основных документов, отражающих жизнь человека и общества. Существует сложно поддающееся обзору количество

идей о визуальном как источнике производства реальности. Можно отметить лишь фундаментальные сдвиги, осуществленные семиотикой (Барт, 2016), феноменологией (Гофман, 2004), критической философией культуры (Фуко, 1994; Бодрийяр,2017; Вирильо, 2004), когнитивистикой (Эльзессер & Хагенер, 2016). Изображения циркулируют благодаря определенному социальному порядку, отбору и контролю (Moscovici & Duveen, 2008; Deaux & Philogène, 2001). Процесс объективации знания проходит через визуальные образы; тем самым «абстрактные понятия и идеи превращаются в конкретные, почти осязаемые сущности, что, в свою очередь, влияет на формирование коллективных идентичностей» (Stocchetti, 2017, p. 41). Изображения выполняют роль инструмента по когнитивному освоению действительности для отдельного человека и различных социальных организаций. В итоге мы получаем коллективную картину мира, оформляемую посредством объективации (выхода за пределы индивидуальных представлений) и анкеровки (сопоставления незнакомого объекта со знакомыми понятиями). В силу того, что «визуальные данные анализируются как продукты социального взаимодействия» (Duveen & Moscovici, 2000, p. 36), их значения не постоянны, но оформляются в конкретных коммуникативных актах, а также под влиянием институциональных контекстов. Например, при анализе фотографирования исследователи подчеркивают, что даже спонтанные снимки подчинены социальным нормам и воспроизводят классовые различия (Bourdieu, 2003; Бойцова, 2013).

Для понимания социальной обусловленности взгляда важно подчеркнуть – отношение видимости часто асимметрично, а понятие интервидимости (взаимной видимости, взаимности) взгляда всегда несовершенно и ограниченно. В военной стратегии хорошо известно, что когда кто-то находится на вершине горы, а кто-то внизу, в долине, субъект наверху может легко отслеживать передвижения на сотни метров вокруг, но субъект в долине может видеть передвижения лишь в гораздо более ограниченной степени. Сложные и менее сложные технологические устройства — от штор и каменных стен до видеокамер и спутников — усиливают асимметрию видимости в соответствии с заранее спланированными схемами, освобождая ее от пространственно-временных свойств «здесь и сейчас». Реляционный аспект видимости указывает именно на тот факт, что асимметрии и искажения видимости являются нормой, а совершенная взаимная видимость — исключением. Асимметрии превращают видимость в институциональную стратегию – об этом все больше говорят социальные исследователи под влиянием когнитивного и материального поворотов.

Особое значение в развитии конструктивистского подхода к поблематике визуального имеют эмпирические исследования визуальных артефактов (Harper, 2002; Pauwels, 2000; Pink, 2001; Prosser, 1998). Часто в этих работах цель связана с реконструкцией ситуационных знаний, микроинтенций, которые способны учитывать «позиционность создателей в формировании интерпре-

таций» (Bargheer, Brett, & Silver, 2025). По сути, визуализация в конструктивистской парадигме реализует мультимодальный подход, анализирующий визуальное в единстве с вербальным и контекстуальным измерениями. Анализ визуальных материалов показывает, что именно включают и что исключают сделанные кем-то изображения, что они выделяют и делают существенным, располагая на первом плане, и какие различия они подчеркивают между запечатлёнными людьми, местами, вещами (Орех, 2018).

От репрезентации к мобилизации: материалистическая эпистемология Бруно Латура

Материалистическая эпистемология Латура входит в широкую группу исследований науки и технологий (STS – Science and Technology Studies). В логике этой группы Г. Коллинз формулирует один из базовых тезисов для современной эпистемологии и философии науки, согласно которому явное знание происходит из неявного (Collins, 2010). Отчасти обозначенная установка оформляет третью волну исследований науки, разворачивая авторов к вопросу о происхождении информации и данных (Столярова, 2018). И сегодня мы наблюдаем обращение к STS как действенному инструменту в анализе политико-экономических, эпистемических изменений (см., например, Amuchastegui, Birch & Kaltenbrunner, 2023; Tsafrir et al., 2005).

Акторно-сетевая теория (АСТ) все еще занимает особое положение в группе STS. Латур как один из ярких ее представителей выступает неким собирательным образом, «оказывается именем, указывающим то на конкретного интеллектуала, то на Парижскую школу АСТ, то на сеть исследовательских проектов, то на весь акторно-сетевой подход» (Писарев, Астахов & Гавриленко, 2017). Для темы представления городских данных интересны отсылки Латура к Г. Тарду, точнее к его концептам, – имитация, монады, микросоциология, – которые еще в XIX в. оформили понимание общества, складывающегося реляционно посредством сетевых ассоциаций (см., к примеру, Latour, 2019; Latour et al., 2012). Отношения как топографический феномен в духе Латура рассматривал С. Пранц, что резонирует с тематикой нашей статьи: если «сложить реальные бумажные прототипы, которые можно толкать и тянуть, то наблюдаешь, как действие распределяется по сети складок» (Pranz, 2023).

В методологически референтной для нас статье «Визуализация и познание» Латур встраивает визуальное в контекст материальных практик, позволяющих людям действовать на расстоянии. В противовес эссенциалистским объяснениям научных революций, именуемым им «слишком претенциозными, если не сказать агиографичными» (Латур, 2017, с. 96), Латур предлагает «дефляционную стратегию» открытий, фокусирующуюся на «техниках письма и изображения», которые «одновременно и материальны, и рутинны» и «из-за своей погруженности в практику, скромности, распространенности и близости рукам и глазам … ускользают от внимания» (с. 99).

Подход Латура фундирован его этнографическим опытом изучения биологической лаборатории: «Я был просто поражен тем, как много аспектов лабораторной практики можно упорядочить не посредством изучения мозгов ученых, ... а путем прослеживания тех трансформаций, которые преобразуют крыс и химические реактивы в записи на бумаге» (с. 100). Без этих записей ученые «заикались, сомневались, говорили бессмыслицу и демонстрировали все возможные формы политической и культурной предвзятости» (с. 101). Отсюда история науки, в частности, социальной науки, а равно и социального городского управления, может быть прочитана как история совершенствования инструментов, и в их числе – инструментов визуализации.

Латур предлагает концепт неизменяемой мобильности, достигающейся тиражированием визуализированных данных. Визуальные объекты (карта, диаграмма, фотография) должны быть одновременно подвижными и неизменными, «представимыми, прочитываемыми и сочетаемыми друг с другом» (с. 106). Латур не фокусируется на содержании объектов, он сосредоточен на их форме и материальных свойствах. Его завораживает процесс того, как сложные, громоздкие феномены превращаются в плоские, подвижные и комбинируемые записи. Он называет это каскадом записей; в лаборатории

> «инструменты были разных типов, времен и степеней сложности ... Но их конечный результат, независимо от области, всегда сводился к маленькому окошку, через которое можно было прочесть очень небольшое количество знаков из довольно скудного набора (диаграммы, пятна, ленты, колонки)» (с. 100).

Живая, сложная реальность (организмы опытных животных, химический реактив, общественное мнение) редуцируется до плоского следа изображений. Такая редукция оборачивается главным преимуществом для ученого (но также и для любого человека, пытающегося разобраться в каком-либо явлении с использованием данных): сложно оперировать подвижными явлениями реальности, но многое можно сказать об изображениях (с. 122). Изображения становятся новыми объектами, с которыми можно работать везде: комбинировать, накладывать друг на друга, встраивать в текст.

Латур систематизирует преимущества, которые дают познающим мир субъектам манипуляции с записями, перечисляя девять ключевых свойств «бумажной работы»:

1) Мобильность (карту, диаграмму можно перемещать в физическом пространстве, в том числе в пространстве текста).
2) Неизменность при перемещении (если образцы законсервированы).
3) Плоскостность (обозримость и подвластность взгляду).
4) Масштабируемость (галактики, транспортные магистрали в городе, но также и хромосомы имеют сходные размеры на бумаге).

5) Воспроизводимость и возможность распространения с малыми затратами («эффект Эйзенстайн»).
6) Перетасовываемость и рекомбинируемость.
7) Накладываемость друг на друга (увязывание геологии, экономики, демграфического состава населения на одном листе).
8) Встраиваемость в письменный текст.
9) Двухмерность (возможность работать с ними геометрически, превращая в объекты для вычислений) (Латур, 2017, с. 127–130).

Латур показывает, что сила теории неизменяемых мобильностей состоит в ее способности связывать множество разрозненных проблем на одной схеме, позволяя интерпретатору «считывать» ответы непосредственно с нее (с. 133). Потому полученная схема в практике исследования реальности оборачивается конечным продуктом сложной цепочки материальных операций, позволяющих человеку «держать мир в руках» (с. 142).

Феномен визуализации напрямую связан с процессами видения и понимания. При этом видение визуализированных данных в науке, управлении, планировании и т. д. никогда не является нейтральным, а понимание – полным. Видение уже нагружено техниками, инструментами и материальными практиками; понимание уже вплетено в сеть интерпретаций, конвенций, которые делают визуальный объект одновременно и прозрачным (мы видим вывод), и непрозрачным (но не всегда наблюдаем логику его сборки). Вероятно, одним из методико-методологических векторов в развитии познания является поиск оптимальных форм, позволяющих обратить невидимое в видимое, вместе с тем с необходимостью порождая новые слепые пятна.

Подобные теоретические парадоксы обретают актуальность и остроту, когда мы обращаемся к конкретной предметной области, в нашем случае – городским данным в исторической перспективе. С первых статистических бюро европейских столиц XIX в. визуализация выступает способом производства городской реальности. Бумажная карта плотности населения из прошлого и интерактивная тепловая карта, генерируемая в режиме реального времени сегодня, принципиально различны в режимах видения. Первая стремится стабилизировать/упорядочить городскую жизнь; вторая отображает текучую реальность; при этом обе могут претендовать на становление агентами городских изменений.

Историческая динамика здесь позволяет проследить, как материальность носителя (бумага vs. экран), техники сбора данных (перепись vs. большие данные) и способы визуального кодирования (штриховка vs. пиксели) трансформируют урбанистический тезаурус, к примеру, понятие городского факта. Городская статистика в исторической перспективе становится «лабораторией» для наблюдения за тем, как проблема видения и понимания визуализированных данных разворачивается во времени. Здесь, как в камере-обскура,

сходятся ключевые линии, – борьба за оптическую согласованность разнородных данных, конфликт между аналитической абстракцией и чувственной конкретикой городского опыта, риторическая власть графиков над воображением граждан и чиновников. Проследить эту эволюцию – значит реконструировать саму историю социального взгляда на город.

Данные о городе как способы воображения и действия в городской среде

Графическое представление является одной из основных знаковых систем, созданных человеческой мыслью для целей хранения, понимания и передачи информации. Как «язык» для глаза, графика пользуется вездесущими свойствами визуального восприятия. Как моносемическая (однозначная) система, она формирует рациональную часть мира образов.

В прорывной работе о графике Ж. Бертин объяснял: чтобы точно проанализировать графическое представление, полезно отличать его от музыкальных, вербальных и математических нотаций, которые все воспринимаются в линейной или временной последовательности. Графическое изображение также отличается от изобразительного представления, по сути полисемического (многозначного), и от анимированного изображения, подчиняющегося законам кинематографического времени. В границы графики входят области сетей, диаграмм и карт. Домен графических образов простирается от изображения атомных структур до представления галактик и выходит в сферы топографии и картографии. Особый эвристический статус графики обусловлен ее двойной функцией как механизма хранения и как инструмента исследования. Будучи инструментом исследования, графика позволяет открыть связи, регулярности, минимумы, максимумы и т. п. в массиве различных единиц наблюдения (Bertin, 2010, p. 2).

Вызванная к жизни экспансией печати и использованием свойств визуального восприятия листа бумаги, графика стала одним из основных языков, применимых к обработке информации, но современные электронные дисплеи открыли для графики ее новое состояние. Великое различие между графическим представлением вчерашнего дня, которое было связано с фигуративным изображением, и графикой завтрашнего дня – это исчезновение врожденной неизменности изображения.

Карты – тотальный взгляд на город

Относительно недавний процесс самоанализа внутри географии породил значительные размышления о том, как конструируются ее дискурсы. Постановка под вопрос прозрачности репрезентации привела к целой серии дебатов об активной роли символического опосредования знания о пространстве (Замятин, 2006). Одна из главных фокусировок этих дебатов сосредоточена

на географических визуализациях в качестве инструментов власти (Wood, 2012; Орлова, 2009).

Развитие города или градостроительство, а также городская политика – это практики, в которых визуализация играет решающую роль. Закладка города, поддержание его динамики в значительной степени состоят из организации объектов в пространстве. Обеспечивающей способностью для осуществления этой операции является зрение. Поэтому неудивительно, что для всех, кто участвует в городском управлении, строительстве и урбанистическом анализе картографическая репрезентация является наиболее эффективным вектором распространения знаний о городе. По мнению шведского географа О. Седерстрема, управление городом, базирующееся на составлении карт, обязано трактату теоретика искусства итальянского Возрождения Альберти “De Re Aedificatoria” (1485). Положения именно этого трактата заложили основу рационального картирования городского пространства на основе планиметрии: «Автор становится взаимозаменяемым, репрезентация больше не варьируется в зависимости от художественных навыков живописца ... План Альберти знаменует начало стабилизации репрезентации города ... План делает пространство гомогенным, стирая различия. Отныне сакральное и профанное, природное и культурное сосуществуют в одной репрезентации, тогда как раньше город был либо простой графической условностью, либо метонимически олицетворялся стенами и монументом. Иными словами, качество, иерархия и различие заменяются количеством, положением и мерой» (Söderström, 1996, p. 258). Карты города тотализируют пространство и открывают множественные перспективы для зрения, что, в свою очередь (если исходить из материалистической эпистемологии), способствует институционализации научного и инженерно-технического градостроительства. Карты города становятся справочными документами, сменяющими зарисовки земель и красочные репортажи об осваиваемых территориях. Укоренение геометрического воображаемого оказывается отправной точкой для политики барона Османа в Париже, для перепланировки Барселоны Ильдефонсо Серда, а в дальнейшем – для модернистских проектов социалистических городов.

Важный поворот в развитии городской картографии связан с созданием социальных карт, родоначальником которых считается Ч. Бут, филантроп, социальный исследователь и предприниматель, живший и работавший в индустриальном Лондоне конца XIX в. Открывая «невидимый город» бедных и очень бедных жителей Лондона, картируя зоны их проживания, Бут универсализирует один критерий – доход, опуская другие характеристики и качества горожан (Topalov, 1993). Так социальная карта позволяет рассуждать о городе в терминах однородных пространственно укорененных единиц, определяемых через отнесение горожан к какой-либо категории. Единообразные данные социальных карт оказываются базисом для обращения с городом как

с техническим устройством: картографический схематизм нивелирует реальность маргинальных, гибридных и кочующих явлений, субъектов, практик.

В современной цифровой среде алгоритмические картографические сервисы (Google Maps, Яндекс.Карты) выступают активными агентами перекодирования городской среды. Согласно концепции Р. Алиева, такие приложения функционируют как метасимулякры, гибридные структуры, в которых стирается граница между отображением реальности и ее конструированием (2025, с. 230). Они определяют, какие городские объекты оказываются видимыми, а какие исключаются из поля зрения пользователя, формируя тем самым алгоритмически управляемую псевдореальность маршрутов и публичных пространств. Эта избирательная видимость продолжает линию картографической власти, но переводит ее в режим реального времени, превращая карту из статичного документа в динамический интерфейс управления вниманием горожан и их перемещениями.

Диаграммы – статичная система пространства

Статистика, планирование и прогноз, с одной стороны, а также массовая печать, с другой, способствовали развитию инструментов представления данных. Квантифицированная социальная реальность утверждается в картине мира общества модерна, поскольку не только научная литература, управленческие документы, но и популярные медиатексты начинают оперировать цифрами. Лист бумаги способствует расцвету знаковой системы графики. Отныне природно-географические и социокультурные характеристики городских ландшафтов переводятся в табличную форму, а затем обращаются в плакатную графику диаграмм. Таблицы, сохраняющие информацию, грамматически устроены как высказывание: «В 1970 году среди городского населения Татарской АССР на 100 семей приходилось 25,2 семьи, состоящие из 2-х человек, и 30,3 семьи из 3-х человек». Цепляясь глазом за колебание цифр, не так сложно сделать шаг к растущим или убывающим столбцам, графикам и секторам. Таблицы можно считать «сырьем» для графического отчета в виде диаграмм.

Таблицы и диаграммы, «рассказывающие» о пространстве, представляют собой статичные структуры. Со 2-й половины XX в. в географическом дискурсе нарастает волна обсуждений проблемы ускользающей реляционности при доминировании статичных структур табличной географической информации. Канадский географ Л. Бергман размышляет об отсутствии возможности посредством таблиц/диаграмм запечатлеть вибрирующую материю реляционных пространств. Он объясняет, что табличная технология «географической матрицы» Диаграммы – статичная система пространствастала повсеместной из-за стремления к синтезу регионального и систематического аналитических подходов. В таблице столбцы – это регионы, а строки — характеристики почвы, климата, населения и т. п., и каждый элемент фиксирует «географический факт» или наблюдение данной характеристики в некотором регионе

(Bergmann, 2016, p. 5). Статичность диаграмм проявляется в сжатии пространства и времени до паттернов. Они ничего не говорят о потоках и взаимодействиях, динамических противоречиях и оспариваниях.

Это использование табличных технологий для конституирования данных оказало влияние на географическое воображение и понимание города. Таблица, а за ней и диаграмма – это инструменты для обеспечения одних отношений и ограничения других, это репрезентации, совместимые с миром онтологически самодостаточных сущностей, не обладающие способностью передавать гибридность и потоковость наших городских реальностей. Фокусирование индивидуализирует объекты, индексированные в абсолютном пространстве, исключая реляционные пространства, возникающие внутри и формирующие социоприродные процессы. Как мы могли бы конституировать данные и «датафицировать» реальность по-другому?

Цифровые двойники городов

Городские цифровые двойники привлекают к себе значительное внимание в качестве инструмента для управления городами, сталкивающимися с различными видами кризисов. «Двойники» – это трехмерные анимированные цифровые модели городов, которые отображают большие данные, генерируемые городскими сенсорами, в режиме, близком к реальному времени. Преобладающая часть академической литературы о городских цифровых двойниках состоит из технических обсуждений их проектирования или внедрения. В данной статье вместо этого предлагается иной контекст для понимания «двойников», а именно – технокультурный анализ визуальной формы городского воображаемого, реализуемой «двойниками», как образца гораздо более широкого поворота в современной визуальной культуре в сторону визуализации мира в трехмерном цифровом формате. Многие критические исследования этого визуального и объемного режима уделяют внимание тем формам телесной человеческой жизни, которые возникают в связи с изображением различных объемов. Городские цифровые двойники зримо со-производят ряд опосредованных цифровыми технологиями форм человеческой жизни, включая своего пользователя, а также человеческих и «нечеловеческих» (животные, растения, вирусы и т.д.) городских обитателей. Стоит отметить, что скепсис и настороженность все чаще проявляется в отношении управляемого цифровыми данными сетевого урбанизма, или того, что получило название «умный город», – так пишет географ Р. Китчин и предлагает сосредоточиться больше на взаимоотношениях между данными и городом (2017), что кажется нам крайне важным для развития темы городского воображаемого.

Согласно исследователю медиа Дж. Габури, компьютерная графика исходит из того, что «мир понимается как реляционная система объектов, способных к дискретным формам взаимодействия» (Gaboury, 2021, p. 12). Цифровые двойники преобразуют городскую среду в объекты, определенные

объемно, поскольку это согласуется как с программными возможностями, так и с воображаемыми концептуализациями: и то, и другое сходится в том, что геометрические объекты могут точно представлять город. Чаще всего критике социальных ученых подвергается объектная просматриваемость города, создаваемая цифровыми двойниками. Политическая и управленческая риторика, напротив, подчеркивает, что эта прозрачность обеспечивает более всесторонний обзор городских локаций, позволяя принимать более качественные решения. Мы хотим обратить внимание на возможность наблюдать процессы, а не застывшую схему. Цифровые двойники приглашают к визуальной мобильности: цифровая реальность позволяет пользователю перемещаться по городу и переключаться между разными перспективами (например, вид с птичьего полета, вид от первого/третьего лица), а также изменять масштаб. Программное обеспечение виртуальной камеры, обеспечивающее точку обзора, может панорамировать модель. Или камера может оставаться неподвижной, а пользователь цифрового двойника может вращать объект-двойник на экране, чтобы рассматривать его с разных углов. Этот пространственно мобильный взгляд также может масштабироваться, и масштабирование обеспечивает визуальное проникновение сквозь объекты, которое было бы невозможно в материальном мире (Rose, 2025, p. 157–158). «Двойники» культивируют визуальное восприятие, способное проникать сквозь поверхность объекта так, что становятся доступны внутренние помещения или инфраструктура, встроенная в стены, воздуховоды или туннели; подземная инфраструктура также становится видимой. «Двойники» дают то раскрепощение взгляду, которое неизбежно отсутствовало у статичной графики. Высокодетализированное пространство, безусловно, новый виток тотальности взгляда; это беспрецедентная попытка приблизиться к текучести городской реальности.

Заключение

Наша статья нацелена на объяснение того, каким образом представление данных о городе – будь то классические карты, диаграммы, таблицы или современные цифровые двойники – ограничиваются материальными практиками создания, передачи и комбинирования визуальных форм. Следуя традиции STS, мы показали, что техники визуализации, способы их вписывания (инскрипции) в тексты культуры и последующей циркуляции играют ключевую роль в производстве и трансляции знания о городе. Жизнь и действия в городе сопоставимы с исследованием и воображением, стремящимся облечь видимое в управляемые, транспортабельные модели. Эти модели зависят от ресурсов и статуса акторов: у обычных горожан модели воплощаются в решении повседневных задач, у урбанистов, управленцев, политиков моделирование реализуется в градостроительстве.

Центральным выводом работы является тезис о том, что действия в городе и управление им находятся в фундаментальной зависимости от репрезентаций, опосредованных географическими данными. Эта зависимость наглядно иллюстрируется эволюцией визуальных средств: от традиционных карт, которые, будучи более или менее графичными и постоянными объектами, обеспечивали возможность передачи информации без искажений на расстояния и через поколения (что было необходимо для городской, государственной и глобальной политики), до цифровых двойников. Классические карты, графики диаграмм с данными о территории, цифровые двойники городов обретают самостоятельность по отношению к своим создателям, легитимируясь через масштабные сетки, легенды и иные знаки. Этот авторитет независимого объекта обязывает жителей и управленцев принимать устанавливаемые картой, графиком или двойником связи и через это принятие буквально «воплощать в жизнь» закодированный мир.

Если классическая карта предлагает статичный «вид с птичьего полета», диаграмма схематизирует характеристики развития территории, то цифровой двойник города радикализирует эту оптику. Его пользователь сконфигурирован как «виртуальная камера», способная устранять горизонты, отменять точки схода и проникать сквозь поверхности. Повторим: любые данные не просто отражают, но активно формируют городскую реальность, предлагая управляющую логику вместо реляционных и ситуационных пространств. Наш материал демонстрирует различия визуальных подходов, где практики визуализации неизбежно выступают инструментами обращения с пространством.

Переосмысление географической информации с учетом реляционности, ситуационности открывает перспективы для расширения сферы интерпретативной эмпирической практики. В конечном счете, социальные науки сегодня – это, по Бруно Латуру, действие через визуализацию: побеждает тот исследователь (или урбанист), кто обладает навыком перевода сложной социальной реальности в транспортабельные формы, способные направить социальный поток в искомом направлении. Листая современные дашборды и тепловые карты, социальный аналитик XXI века похож на героя романа «Два капитана» советского писателя В. Каверина. Восстановим связь времен, вспомним Саню Григорьева, который понял: чтобы что-то найти, сначала нужно это нарисовать. И сегодня, как и тогда, факты работают на расстоянии только посредством «карандаша и линейки» – пусть и в их цифровой форме.

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Все авторы данной рукописи были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Сергеева О. В.: раздел статьи «Данные о городе как способы воображения и действия в городской среде», аналитика источников о способах визуализации данных (диаграммы, цифровые двойники), разделы «Диаграммы – статичная система пространства» и «Цифровые двойники городов».

Пеннер Р. В.: дескрипция философской аксиологии картографических и статистических данных (раздел «Введение»), концептуализация способов визуализации в фокусе акторно-сетевой теории (раздел «От репрезентации к мобилизации: материалистическая эпистемология Бруно Латура»), анализ литературы, раздел «Заключение».

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Amuchastegui, M., Birch, K., & Kaltenbrunner, W. (2023). The Intersections between Sociology and STS: A Big Data Approach. *Sociological Perspectives*, 66(5), 868–887. https://doi.org/10.1177/07311214231167170

Bargheer, S., Brett, G., & Silver, D. (2025). Introduction to Special Issue: Theory Visualization in the Social Sciences. *The American Sociologist*, 56(3), 389–395. https://doi.org/10.1007/s12108-025-09668-0

Bergmann, L. (2016). Toward speculative data: "Geographic information" for situated knowledges, vibrant matter, and relational spaces. *Environment and Planning D: Society and Space*, 34(6), 971–989. https://doi.org/10.1177/0263775816665118

Bertin, J. (2010). *Semiology of Graphics: Diagrams Networks Maps* (W. J. Berg, Trans.). University of Wisconsin Press.

Bourdieu, P. (2003). *Photography: A Middle-Brow Art*. Stanford University Press.

Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113821.001.0001

Deaux, K., & Philogène, G. (Eds.). (2001). *Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions* (1st published). Blackwell.

Duveen, G., & Moscovici, S. (2000). *Social Representations: Explorations in Social Psychology*. New York University Press.

Gaboury, J. (2021). *Image Objects: An Archaeology of Computer Graphics*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/11077.001.0001

Harper, D. (2002). Talking About Pictures: A Case for Photo Elicitation. *Visual Studies*, 17(1), 13–26. https://doi.org/10.1080/14725860220137345

Kushwaha, S. K. P., Hristova, H., Fol, C., Hands, T., Murtiyoso, A., Coltekin, A., Fedosov, A., Holm, S., Costa, M., Bugmann, H., Griess, V. C., & Schweier, J. (2026). Trends and Developments in the Realm of Virtual Forest Visualization. *Current Forestry Reports*, 12(1), 3. https://doi.org/10.1007/s40725-025-00265-5

Latour, B. (2019). Gabriel Tarde and the End of the Social. *Sociology of Power*, 31(2), 217–239. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-2-217-239

Latour, B., Jensen, P., Venturini, T., Grauwin, S., & Boullier, D. (2012). "The Whole Is Always Smaller Than Its Parts": A Digital Test of Gabriel Tarde's Monads. *The British Journal of Sociology*, 63(4), 590–615. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01428.x

Moscovici, S., & Duveen, G. (2008). *Psychoanalysis: Its Image and Its Public* (D. Macey, Trans.). Polity.

Pauwels, L. (2000). *Taking the visual turn in research and scholarly communication* key issues in developing a more visually literate (social) science. *Visual Sociology*, 15(1), 7–14. https://doi.org/10.1080/14725860008583812

Pink, S. (2001). *Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research*. SAGE.

Prosser, J. (1998). The Status of Image-Based Research. In *Image-Based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers* (pp. 97–112). Falmer Press.

Rose, G. (2025). Visualising Human Life in Volumetric Cities: City Digital Twins and Other Disasters. *Dialogues in Urban Research*, 3(2), 148–169. https://doi.org/10.1177/27541258241288812

Söderström, O. (1996). Paper Cities: Visual Thinking in Urban Planning. *Ecumene*, 3(3), 249–281. https://doi.org/10.1177/147447409600300301

Stocchetti, M. (2017). Digital Visuality and Social Representation. Research Notes on the Visual Construction of Meaning. *KOME*, 5(2), 38–56. https://doi.org/10.17646/KOME.2017.23

Topalov, C. (1993). The City as Terra Incognita: Charles Booth's Poverty Survey and the People of London, 1886–1891. *Planning Perspectives*, 8(4), 395–425. https://doi.org/10.1080/02665439308725782

Tsafrir, D., Tsafrir, I., Ein-Dor, L., Zuk, O., Notterman, D. A., & Domany, E. (2005). Sorting Points into Neighborhoods (SPIN): Data Analysis and Visualization by Ordering Distance Matrices. *Bioinformatics*, 21(10), 2301–2308. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti329

Wood, D. (2012). The Anthropology of Cartography. In L. Roberts (Ed.), *Mapping Cultures* (pp. 280–303). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137025050_15

Алиев, Р. Т. (2025). Алгоритмическая шизофрения: Метасимуляционная трансформация реальности в цифровую эпоху. *Логос*, 35(4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250

Барт, Р. (2016). *Camera Lucida. Комментарий к фотографии*. Ad Marginem.

Бергер, П., & Лукман, Т. (1995). *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. Медиум.

Бодрийяр, Ж. (2017). *Симулякры и симуляция*. ПОСТУМ.

Бойцова, О. Ю. (2013). *Любительские фото: Визуальная культура повседневности*. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Вирильо, П. (2004). *Машина зрения*. Наука.

Гофман, И. (2004). *Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта*. Институт социологии РАН.

Замятин, Д. Н. (2006). *Культура и пространство: Моделирование географических образов*. Знак.

Китчин, Р. (2017). Управляемый данными сетевой урбанизм. *Шаги/Steps*, 3(2), 98–116.

Латур, Б. (2017). Визуализация и познание: Изображая вещи вместе. *Логос*, 27(2), 95–151. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-2-95-151

Орех, Е. А. (2018). *Введение. Гражданская война в образах визуальной пропаганды: Словарь-справочник*. СКИФИЯ-ПРИНТ.

Орлова, Г. А. (2009). Заочное путешествие: Управление географическим воображением в сталинскую эпоху. *Новое Литературное Обозрение*, (6), 266–285.

Писарев, А. А., Астахов, С. С., & Гавриленко, С. М. (2017). Акторно-сетевая теория: Незавершенная сборка. *Логос*, 27(1), 1–34. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-1-1-34

Столярова, О. (2018). Третья волна исследований науки как философское обоснование STS. *Логос*, 28(5), 31–52. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2018-5-31-50

Фуко, М. (1994). *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. A-Cad.

Эльзессер, Т., & Хагенер, М. (2016). *Теория кино. Глаз, эмоции, тело*. Сеанс.

References

Aliev, R. (2025). Algorithmic Schizophrenia: Metasimulatory Transformation of Reality in the Digital Age. *Philosophical Literary Journal Logos*, 35(4), 229–250. https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-4-229-250 (In Russian).

Amuchastegui, M., Birch, K., & Kaltenbrunner, W. (2023). The Intersections between Sociology and STS: A Big Data Approach. *Sociological Perspectives*, 66(5), 868–887. https://doi.org/10.1177/07311214231167170

Bargheer, S., Brett, G., & Silver, D. (2025). Introduction to Special Issue: Theory Visualization in the Social Sciences. *The American Sociologist*, 56(3), 389–395. https://doi.org/10.1007/s12108-025-09668-0

Barthes, R. (2016). *Camera Lucida: Reflections on Photography*. Ad Marginem. (In Russian).

Baudrillard, J. (2017). *Simulacra and Simulation*. Postum. (In Russian).

Berger, P., & Luckmann, T. (1995). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Medium. (In Russian).

Bergmann, L. (2016). Toward speculative data: "Geographic information" for situated knowledges, vibrant matter, and relational spaces. *Environment and Planning D: Society and Space*, 34(6), 971–989. https://doi.org/10.1177/0263775816665118

Bertin, J. (2010). *Semiology of Graphics: Diagrams Networks Maps* (W. J. Berg, Trans.). University of Wisconsin Press.

Boitsova, O. Yu. (2013). *Amateur Photography: The Visual Culture of Everyday Life*. European University at St Petersburg Press. (In Russian).

Bourdieu, P. (2003). *Photography: A Middle-Brow Art*. Stanford University Press.

Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113821.001.0001

Deaux, K., & Philogène, G. (Eds.). (2001). *Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions* (1st published). Blackwell.

Duveen, G., & Moscovici, S. (2000). *Social Representations: Explorations in Social Psychology*. New York University Press.

Elsaesser, T., & Hagener, M. (2016). *Film Theory: An Introduction through the Senses*. Seans. (In Russian).

Foucault, M. (1994). *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. A-Cad. (In Russian).

Gaboury, J. (2021). *Image Objects: An Archaeology of Computer Graphics*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/11077.001.0001

Goffman, E. (2004). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. (In Russian).

Harper, D. (2002). Talking About Pictures: A Case for Photo Elicitation. *Visual Studies*, 17(1), 13–26. https://doi.org/10.1080/14725860220137345

Kitchin, R. (2017). Data-driven networked urbanism. *Steps*, 3(2), 98–116. (In Russian).

Kushwaha, S. K. P., Hristova, H., Fol, C., Hands, T., Murtiyoso, A., Coltekin, A., Fedosov, A., Holm, S., Costa, M., Bugmann, H., Griess, V. C., & Schweier, J. (2026). Trends and Developments in the Realm of Virtual Forest Visualization. *Current Forestry Reports*, 12(1), 3. https://doi.org/10.1007/s40725-025-00265-5

Latour, B. (2017). Visualization and Cognition: Drawing things Together. *Philosophical Literary Journal Logos*, 27(2), 95–151. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-2-95-151 (In Russian).

Latour, B. (2019). Gabriel Tarde and the End of the Social. *Sociology of Power*, 31(2), 217–239. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-2-217-239

Latour, B., Jensen, P., Venturini, T., Grauwin, S., & Boullier, D. (2012). "The Whole Is Always Smaller Than Its Parts": A Digital Test of Gabriel Tarde's Monads. *The British Journal of Sociology*, 63(4), 590–615. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01428.x

Moscovici, S., & Duveen, G. (2008). *Psychoanalysis: Its Image and Its Public* (D. Macey, Trans.). Polity.

Orekh, E. A. (2018). Introduction. In *The Civil War in Images of Visual Propaganda: A Reference Dictionary*. Skifiya-Print. (In Russian).

Orlova, G. A. (2009). A journey by correspondence: Managing the geographical imagination in the Stalinist era. *Novoe Literaturnoe Obozrenie*, (6), 266–285. (In Russian).

Pauwels, L. (2000). *Taking the visual turn in research and scholarly communication* key issues in developing a more visually literate (social) science. *Visual Sociology*, 15(1), 7–14. https://doi.org/10.1080/14725860008583812

Pink, S. (2001). *Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research*. SAGE.

Pisarev, A., Astakhov, S., & Gavrilenko, S. (2017). Actor-Network Theory: An Unfinished Assemblage. *Philosophical Literary Journal Logos*, 27(1), 1–34. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-1-1-34 (In Russian).

Prosser, J. (1998). The Status of Image-Based Research. In *Image-Based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers* (pp. 97–112). Falmer Press.

Rose, G. (2025). Visualising Human Life in Volumetric Cities: City Digital Twins and Other Disasters. *Dialogues in Urban Research*, 3(2), 148–169. https://doi.org/10.1177/27541258241288812

Söderström, O. (1996). Paper Cities: Visual Thinking in Urban Planning. *Ecumene*, 3(3), 249–281. https://doi.org/10.1177/147447409600300301

Stocchetti, M. (2017). Digital Visuality and Social Representation. Research Notes on the Visual Construction of Meaning. *KOME*, 5(2), 38–56. https://doi.org/10.17646/KOME.2017.23

Stoliarova, O. (2018). The Third Wave of Science Studies as a Philosophical Justification for STS. *Philosophical Literary Journal Logos*, 28(5), 31–52. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2018-5-31-50 (In Russian).

Topalov, C. (1993). The City as Terra Incognita: Charles Booth's Poverty Survey and the People of London, 1886–1891. *Planning Perspectives*, 8(4), 395–425. https://doi.org/10.1080/02665439308725782

Tsafrir, D., Tsafrir, I., Ein-Dor, L., Zuk, O., Notterman, D. A., & Domany, E. (2005). Sorting Points into Neighborhoods (SPIN): Data Analysis and Visualization by Ordering Distance Matrices. *Bioinformatics*, 21(10), 2301–2308. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti329

Virilio, P. (2004). *The Vision Machine*. Nauka. (In Russian).

Wood, D. (2012). The Anthropology of Cartography. In L. Roberts (Ed.), *Mapping Cultures* (pp. 280-303). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137025050_15

Zamyatin, D. N. (2006). *Culture and Space: Modelling Geographical Images*. Znak. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
The Other in the Discourses of Science and Culture | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.773

From Boundary Work to Work on the Boundaries. On the Foundations of Public Communication of Science

Lada V. Shipovalova

European University at St. Petersburg. Saint Petersburg, Russia.
Email: lshipovalova[at]eu.spb.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-1989-1152

Received: 29 March 2026 | Revised: 15 April 2026 | Accepted: 23 April 2026

Abstract

This study addresses the issue of the identity of scientific activity, shaped by two types of communicative work: boundary work to establish boundaries and work crossing boundaries. The latter is proposed to be called 'work on the boundaries'. The study aims to substantiate the relevance of the concept work on the boundaries, interpreted as the production of complex knowledge and its collective subject, carried out at the intersection of the boundaries of various types of knowledge, including in practices of public communication of science. In pursuing this goal, the author examines boundary work, its ambiguity, and its connection to work on the boundaries, reveals the contexts for the actualization of attention to work on the boundaries, and introduces minimal foundations for its successful implementation. The study focuses on work on the boundaries carried out within the framework of public communication of science, but it also assumes the significance of this work for communication within science as well. This focus allows us to highlight the issue of translation between different types of knowledge and the asymmetry between the communicative agents representing them. As a result, the author formulates three conditions for successful work on the boundaries within public communication of science: the principle of the primacy of the relation, the principle of epistemic symmetry of the knowledge of communication agents, and the principle of objectification or construction of boundary objects. Finally, the author emphasizes the significance of conceptualizing work on the boundaries for the scientists implementing various communication practices.

Keywords

Public Communication of Science; Boundary Work; Work on the Boundaries; Interdisciplinarity; Communicative Agents; Media Science; Social Epistemology; Scientific Knowledge; Boundary Objects; Symmetry

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Lada V. Shipovalova

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Другой в дискурсах науки и культуры | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.773

От пограничной работы к работе на границах. К вопросу об условиях публичной научной коммуникации

Шиповалова Лада Владимировна

Европейский университет в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Россия.
Email: lshipovalova[at]eu.spb.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-1989-1152

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 15 апреля 2026 | Принята: 23 апреля 2026

Аннотация

В исследовании поднимается проблема идентичности научной деятельности, формирующейся посредством двух видов коммуникативной работы – пограничной работы по установлению границ и работы по пересечению границ. Вторую предлагается называть «работой на границах». В исследовании ставится цель первоначального обоснования релевантности понятия работа на границах, истолкованной как производство комплексного знания и его коллективного субъекта, осуществляемое на пересечении границ различных видов знания, в том числе в практиках публичной научной коммуникации. Реализуя эту цель, автор рассматривает пограничную работу, ее неоднозначность и связь с работой на границах, раскрывает современные контексты актуализации внимания к работе на границах, а также вводит минимальные условия успешности ее реализации. Исследование фокусируется на работе на границах, осуществляемой в рамках публичной научной коммуникации, однако предполагается значение этой работы и для коммуникации внутри науки. Такой фокус позволяет заострить проблему перевода между различными видами знания и асимметрии между коммуникативными агентами, их представляющими. В результате формулируются три условия успешности работы на границах в рамках публичной научной коммуникации – принцип первоначальности отношения, принцип эпистемической симметрии (не)знания агентов коммуникации и принцип объективации, или конструирования пограничных объектов. В итоге делается вывод о значении концептуализации работы на границах для ученых, реализующих различные коммуникативные практики.

Ключевые слова

публичная научная коммуникация; пограничная работа; работа на границах; междисциплинарность; коммуникативные агенты; медианаука; социальная эпистемология; научное знание; пограничные объекты; симметрия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Шиповалова Лада Владимировна

Введение

Наука как познавательная деятельность имеет собственную идентичность и границы, позволяющие утвердить автономию исследований, сохранить их от вторжения извне. Именно автономия науки, ее общественное значение как высшей формы знания стоит на кону и задает актуальность эпистемологических дискуссий вокруг проблемы демаркации (Бажанов, 2024; Тухватулина, 2023), а также исследований самой пограничной работы ученых, устанавливающей и сохраняющей эти границы (Gieryn, 1983). Такие дискуссии, а также сама работа над границами науки важны для тех, кто научным знанием владеет и создает его, а также для тех, кто им пользуется, его контролирует, им управляет. Однако в современности мы сталкиваемся с различием, а порой и с противоречием позиций относительно того, должны ли быть и как должны трактоваться границы научного знания (Черникова, Николина, 2022). Пограничная работа как коммуникация ученых, имеющая целью установление границ и размежевание с теми видами знания, которые не должны признаваться надежными и называться научными, все чаще дополняется работой по пересечению границ.

Работа, связанная с *пересечением границ*, может реализовываться как внутри науки, между научными дисциплинами или между теорией и практикой (Бажанов, Шольц, 2015; Касавин, 2010), так и вовне, между учеными и теми субъектами, которые непосредственно не заняты наукой, не владеют профессиональными навыками и знанием, но заинтересованы в научных результатах (Bucchi, Trench, 2014). Разделение на внутренние и внешние границы для науки и, соответственно, на коммуникацию, их пересекающую, не абсолютно и ситуационно. Непонимание и эпистемические разрывы, которые складываются между разными учеными в процессе профессиональной дисциплинарной и междисциплинарной коммуникации, порой не менее радикальны, чем разрывы между учеными и непрофессионалами, скажем, слушающими популярную лекцию по математике или принимающими свое решение о том, доверять или нет специалистам, предлагающим способ лечения болезни (Сорокина, 2025). При этом настоятельность взаимопонимания бывает не менее существенной для внешней коммуникации, чем для внутренней. Более того, и работа по *установлению границ* порой относится к полаганию различия не только между научным и вненаучным знанием, но и между научными дисциплинами (Friman, 2010). Целью такой работы может быть, в том числе, утверждение научности одной дисциплины и сомнение в адекватности такой претензии со стороны другой.

Оба вида работы имеют непосредственное отношение ко внутренней и ко внешней научной коммуникации, которая оказываются средством и целью в случае установления границ (формирование автономного сообщества профессионалов, независимого от вторжения извне, осуществляется посред-

ством поиска союзников), а также содержанием в случае пересечения границ науки, например, во взаимодействии ученых с непрофессионалами[1]. Потому мы можем называть и ту и другую работу коммуникативной. Представляемое читателю исследование предлагает некоторые концептуальные уточнения относительно вида коммуникативной работы, связанной с пересечением научных границ. Во-первых, предлагается называть ее *работой на границах* (work on the boundaries) и отличать ее от *пограничной работы по установлению границ* (boundary work). Мы предлагаем использовать общий термин как для внутренней, так и для внешней научной коммуникации, поскольку это позволит схватить общие проблемы перевода различных видов знания[2]. При этом наше подчеркнутое внимание именно к внешней, или, как ее принято называть, к публичной научной коммуникации (далее – ПНК) позволяет заострить проблему перевода, поскольку именно в этом случае предполагается принципиальная асимметрия эпистемических позиций профессионалов и непрофессионалов. Во-вторых, фокусируясь на ПНК, мы предлагаем рассматривать работу на границах как способ реализации коммуникации, предполагающий определенную цель. Традиционно ПНК охватывает научную популяризацию, экспертную работу, метанаучные дискуссии (Peters, 2014, p. 70). Часто к ней относят и гражданскую науку (Irwin, 1995). Однако нам будет интересен только тот срез ПНК, где реализуется производство комплексного знания и формируется его коллективный субъект. При этом речь будет идти о знании, в котором один из участвующих элементов не считается научным, а сообщество формируется не только из профессиональных ученых.

Существует еще один аргумент, позволяющий фокусировать внимание на работе на границах как способе реализации ПНК, и предполагать, что выводы могут иметь значение для всякой научной коммуникации. Истолкование публичности как открытости позволяет, в частности, Ю. Хабермасу говорить о внутренней и внешней публичности науки (Хабермас, 2007, с. 160), а для нас – трактовать ПНК расширительно, понимая науку в целом как открытую коммуникативную систему. Для некоторых философов науки, частности, для К. Поппера, внутренняя научная открытость, споры и дискуссии между учеными имеет большее значение, чем открытость внешняя, то есть включение ученых в решение вненаучных проблем. Можно упомянуть также позицию У. Линча (2020), развивающего идеи И. Лакатоса и П. Фейерабенда, для которого открытость позволяет удерживать в современной науке потенци-

1 Описывая внешнюю или публичную научную коммуникацию, мы говорим о взаимодействии конкретных ученых и тех, кто не является профессионалами в той же области научного знания. Для краткости мы будем использовать характеристику «непрофессионалы» для второй группы коммуникативных агентов. Хотя понятно, что ее представители могут быть при этом профессионалами в другом виде деятельности и даже в другой области науки.

2 Ю. Хабермас пишет о том, что именно во внешней коммуникации формируется язык перевода, который может быть задействован и для взаимопонимания внутри науки. «Внешняя для науки общественность оказывается при глубоком разделении научного труда самым коротким путем внутреннего общения отчужденных друг от друга ученых-специалистов» (Хабермас, 2007, с. 162).

альную связь с невостребованными идеями, с так называемым «особым научным мнением».

Предлагая понятие работы на границах, мы ставим задачу сформулировать ряд минимальных условий этой работы, раскрыв их на некоторых примерах. В первом разделе мы определим неоднозначность пограничной работы, а также выделим контексты актуализации работы на границах. Во втором – укажем на понятия, которые раскрывают различные аспекты работы на границах, и опишем три принципа в качестве минимальных условий ее реализации. Описывая пограничную работу и работу на границах, мы будем подчеркивать специфику агентов коммуникации и их интересов. Концептуально и методологически наше исследование развивает представление о медианауке как социальном агенте и о связи науки и медиасреды (Тихонова, Шиповалова, 2025), а также вписывается в направление социальной эпистемологии в той ее версии, которая представлена исследованиями С. Фуллера, И. Т. Касавина и их последователей в отечественной философии науки (Касавин, 2006). При этом для нас имеет значение внимание социальной эпистемологии к снятию резкого разграничения внутренней и внешней научной социальности, а также понимание агентов знания, в том числе ученых, как коммуникативных. Содержательно и стилистически в представленном исследовании есть элементы манифеста (Дыдров, Пеннер, 2024, с. 34), поскольку оно защищает пока слабую альтернативу существующему научно-исследовательскому мейнстриму, подчеркивая значение производства знания в контексте ПНК.

Предложение и первоначальное обоснование релевантности понятия *работы на границах* позволит увидеть не столько ее противопоставление, сколько дополнительность по отношению к *работе по установлению границ*. Кроме того, наше исследование позволит акцентировать внимание на конкретной цели такой работы – производстве комплексного знания и сообщества как его коллективного субъекта, цели, реализуемой в том числе в практиках публичной научной коммуникации.

Пограничная работа и ее неоднозначность

Формирование идентичности научных дисциплин – установление границ – сопровождает процесс институализации науки. Описывая его, историк науки Л. Дастон подчеркивает неоднозначность установления границ в науке, присутствующую в первых академических организациях – английском Королевском обществе, французской и берлинской Академиях наук. Неоднозначностью был отмечен уже сам факт формирования Академий, собирающих различных ученых под одним именем, в предполагаемом единстве, разрывающихся «между двумя несовместимыми идеалами: установкой на оригинальность дисциплинарного исследования, с одной стороны, и принципом единства наук, с другой» (Дастон, 2015, с. 120). Работа по установлению границ,

как бы она не реализовывалась, сопровождалась возможностью ученых, стремящихся к единству знания, нивелировать значимость этих границ, сомневаться в их релевантности для научного исследования. Кроме того, сами границы Дастон трактует по-разному, различая специализацию и профессионализацию научных дисциплин.

Специализация подразумевает сосредоточение научной работы на одной или нескольких областях, в противоположность широкому исследовательскому охвату многих. Профессионализация же характеризует возможность сделать карьеру в конкретной научной сфере, как в смысле зарабатывания средств на жизнь, так и в смысле обретения коллективной идентичности с другими практикующими в этой области учеными. Специализация может быть интерпретирована в эпистемическом смысле, относящемся к разграничениям видов научного исследования или к установлению внутренних для науки границ. Профессионализация же характеризует социальную идентификацию и позволяет ученому или натурфилософу – как бы он себя не называл в Новое время, – занимаясь наукой, отделять собственную профессиональную деятельность от иных. В своем исследовании Дастон показывает, что «к концу XVIII в. парижская Королевская академия наук была и специализирована, и профессионализирована, лондонское Королевское общество не было ни специализировано, ни профессионализировано, а берлинская Академия наук была профессионализирована, но не специализирована» (там же, 107–108). Дастон описывает споры и сомнения ученых, защищающих единство или дифференцированность научного знания, где первое – предмет заботы ученых берлинской Академии, изменяющейся к XIX в., а второе – понятное и пестуемое во французской. В обоих случаях предмет заботы агентов коммуникативной работы – сила и действенность научного знания.

К такой неоднозначности в понимании научных границ можно добавить, что профессионализация научных дисциплин, на которую обращают внимание социологи, складывается к XIX веку и зависит от формирования специализированного научного знания, а также от сопутствующего признания этого знания со стороны непрофессионалов (Storer, Parsons, 1968). Установление научных границ обеспечивается не только внутренней работой самих ученых, но и их признанием «с иной стороны». При этом само «признание» можно рассматривать как жест пересечения границы.

К XX веку в работу по установлению границ включаются философы науки, пытаясь обнаружить универсальный критерий научности и демаркации. Мы не будем воспроизводить известные всем споры К. Поппера с логическими эмпириками, а также Т. Куна с К. Поппером, обсуждающими критерии верифицируемости, фальсифицируемости и парадигмальности. Интенция философов в этих спорах – предложение универсального критерия разграничения и завершение дискуссий. О проблематичности такой интенции свидетельствует то, что становится возможным не только указание на вариативность и ситуаци-

онность использования различных критериев (Kuhn, 1977; Gordin, 2021), но и сомнение в сохраняющейся актуальности вопроса о границах и даже обвинение философии науки в том, что она не справилась с решением проблемы демаркации (Laudan, 1983).

Критика философских попыток установления универсального критерия демаркации звучит и от социологов, исследователей науки. В частности, Т. Джирин (1983; 1995), предлагая подходить к демаркации конструктивистским образом, вводит понятие пограничной работы ученых (boundary work)[1], которая реализуется различным образом в каждом случае, когда необходимо размежевание с конкретным врагом или формирование признания у конкретного союзника. В случае такой работы речь также идет не только о внешних, но и внутренних границах науки. Аргументы агентов коммуникативной работы над границами и над критериями демаркации связаны с утверждением и защитой авторитета ученых. Любопытно, что в случае пограничной работы, оказывающейся в фокусе внимания социологов, также обнаруживаются неоднозначные ситуации. Например, Джирин пишет о пограничной работе в Англии Викторианской эпохи, когда граница между наукой и религией — возвышающая первую над второй — выстраивалась на основании критерия опытного характера научного знания и его полезности. При этом одновременно, но противоположным образом происходило размежевание науки и механики на основании наличия в первой чистой, абстрактной теории, которая отсутствовала во второй (Gieryn, 1983, p.787). Ученые оказывались неуловимыми и двусмысленными в своей пограничной работе, ценой успешности которой было утверждение и сохранение их авторитета.

Таким образом, три варианта работы по установлению границ – пограничная работа внутри науки, реализуемая самими учеными или при их участии, работа по обнаружению и установлению критериев демаркации, реализуемая философами науки при участии и в интересах ученых, а также пограничная работа по формированию и защите критериев научности, реализуемая учеными и их союзниками, – обнаруживают неоднозначность, а также сохранение возможности пересечения границ.

Пограничная работа и работа на границах, а также интересы их коммуникативных агентов попадают во внимание исследователей науки уже давно, однако актуальность фокуса на второй работе связана с дополнительными современными контекстами. Прежде всего, одновременность процессов углубления научной специализации, с одной стороны, и признания отсутствия единства научного знания, с другой (The Disunity of Science, 1996) приводит к тому, что необходимое междисциплинарное сотрудничество мыслится как

1 Т. Джирин является автором понятия «пограничная работа». Мы используем это словосочетание как в смысле, который придает ему автор, подчеркивая работу ученых над еще не установленными границами, так и в широком смысле установления или обнаружения границ науки, отделяющих ее от иных видов знания. Именно во втором широком смысле это понятие присутствует в заглавии нашей работы.

не имеющее гарантий успешности и потому проблематичное, требующее особого внимания. При этом общественные проблемы, в решение которых должно включаться научное знание – развитие искусственного интеллекта, экологические и техногенные катастрофы, пандемии и т. п., – приобретают выраженный характер «неприрученных», то есть требующих для своей формулировки, обсуждения и решения включения специалистов из различных областей знаний, а также развернутых общественных дискуссий. Такая ситуация в конце XX в. была названа «пост-нормальной», требующей науки, работающей в условиях разъединенности между исследовательскими областями, недостаточной определенности фактов, отсутствия конструктивного диалога с публикой и многообразия ценностных установок всех заинтересованных лиц, наукой, призванной решать посредством коммуникации на пересечении границ проблемы, характер которых настоятелен (Funtowicz & Ravetz, 1993). Коммуникативная работа на границах связана с пост-нормальной наукой, поскольку именно такая наука может быть элементом производства комплексного знания с участием непрофессионалов.

Далее, работа на границах актуальна в контексте критики мифа науки или рефлексивной модернизации (Beck, Giddens & Lash, 1994), требование которых оказывается релевантным только после того, как наука становится не только очевидной движущей силой общественного развития, но и тем, чьи результаты действуют неоднозначно, провоцируя техногенные катастрофы, усиливая эпистемические неравенство (М. Фриккер). Одна из практических возможностей рефлексивной модернизации, предполагающей расколдовывание науки, рационализирующей все, кроме самой себя, состоит в признании значимости для ученых познавательного взаимодействия с непрофессионалами, то есть такого взаимодействия, которое не только и не столько реализует просветительские функции распространения знания, сколько служит производству нового знания. В контексте рефлексивной модернизации можно истолковать и современную трансформацию моделей публичной научной коммуникации от традиционной модели дефицита, строящейся на основании нехватки научных знаний у публики, до модели вовлечения, предполагающей в том числе включение публики в практики производства научного знания (Irwin, 2014). Напротив, поддержке мифа науки служит становление технонауки (Кошовец, Фролов, 2020) как такой практики научного производства, применения и распределения знания, при которой вся научная деятельность, в том числе в области академической фундаментальной науки подчиняется требованию инновационности или связи научных исследований с опытно-конструкторскими работами. В контексте становления технонауки коммуникативная составляющая научного знания оказывается в слабой позиции, а стремление представителей Франкфуртской школы освободить интеракцию, обеспечив тем самым разрыв науки и технологий с идеологией, выглядит достаточно утопичным, хотя и настоятельным. Потому дополнительно актуально

стремление посредством внимания к коммуникативной работе на границах разглядеть ростки спасительного в тотальности научного знания-власти.

Новые цифровые технологии, а также новые медиа ставят научную коммуникативную работу, с одной стороны, перед новыми возможностями использования их в научных исследованиях и, с другой, перед вызовом открытости, прозрачности и вариативности каналов публичной репрезентации научной информации. Так, исследователи отмечают кризис посредников, обусловленный участием в научной коммуникации, в том числе в качестве производителей информации, различных агентов безотносительно к их уровню образования и профессиональному статусу (Schäfer, 2017; Brossard & Scheufele, 2013). В совокупности с контекстами, описанными выше, такая открытость и прозрачность влияет на доверие между публикой и научными субъектами (Science Communication and Trust, 2025), на признание научной деятельности «извне», которое было проинтерпретировано нами как условие профессиональной идентификации и жест пересечения границ. В этих контекстах обращение к работе на границах одновременно и мотивировано соответствующими проблемами, и может быть включено в их решение.

Элементы и условия работы на границах

Итак, актуализация внимания к работе на границах объяснима в современных контекстах. Уже можно указать на ряд понятий, характеризующих элементы этой работы, в том числе ее коммуникативных агентов. Представленное ниже перечисление не будет полным, но оно будет характеризовать основные элементы – способность формирования языка перевода, место и время пересечения границ, определенность субъектов, а также объектов, обусловливающих пересечение.

Во-первых, пожалуй, самое признанное понятие, характеризующее форму и результат того, что мы предлагаем называть работой на границах – зоны обмена. Понятие П. Галисона определяет ограниченные время и пространство, в которых пересекается деятельность ученых, говорящих на разных языках, создающих в результате коммуникации пиджины как языки локального взаимодействия или даже креольские языки новых дисциплин (Galison, 1999). Понятие зоны обмена применяется в основном для междисциплинарного взаимодействия, однако может быть востребовано и для описания практик ПНК (Сорокина, 2025, с. 30). Во-вторых, понятие интеракциональной экспертизы (Collins, Evans & Weinel, 2016) описывает ситуацию, в которой социологи научного знания, способные не просто на включенное наблюдение, но и на научение языку ученых в области естественных наук, вступают с ними во взаимовыгодное отношение. Интеракциональная экспертиза также скорее описывает междисциплинарные ситуации, но может характеризовать и коммуникативных агентов ПНК. В-третьих, понятие пограничного объекта (Star & Griesemer, 1989) обозначает сущности, служащие границей между соци-

альными мирами, границей разделяющей и, возможно, объединяющей эти миры благодаря взаимодействию их представителей. К таким сущностям, оказывающимся поводом для взаимодействия, в частности, авторы концепта относят музеи, в которых пересекаются миры создателей экспозиций и кураторов, ученых исследователей, посетителей- дилетантов, «агентов» прошлого и настоящего. В-четвертых, понятие пришельцев (Розов, 1996, с. 225–226) определяет маргинальных субъектов, владеющих разными знаниями и техническими навыками, способных передвигаться между границами дисциплин или между непрофессиональной и профессиональной сферами, организовывать взаимодействие, создавать новое знание на пересечении уже имеющегося. Перечисленные понятия описывают интересы и возможности коммуникативных агентов работы на границах. Эти понятия связаны с наличием внешнего и внутреннего мотива для взаимодействия (зоны обмена), с актуализацией способности задать вопрос на языке иной дисциплины, заинтересовавший профессионала (интеракциональная экспертиза), с обнаружением объекта, который «принадлежит» не только собственному, но и иному социальному миру (пограничный объект), с синтезом нового знания из имеющихся различных (ученые-пришельцы).

Признавая значение перечисленных выше понятий, имеющих скорее дескриптивный характер, описывающих с разных сторон практики работы на границах, мы предлагаем обратиться к понятиям нормативным. Это не означает их представление как механизмов контроля и исключения. Скорее они могут действовать как условия работы на границах, задающие успешность соответствующих практик, условия, которые могут приниматься в расчет коммуникативными агентами, рассчитывающими на этот успех. Мы не утверждаем, что ряд условий, рассмотренных ниже, исчерпывает все возможные. Скорее его следует воспринимать как минимальный набор.

Первое условие задается *принципом первичности отношения* или медиации. Речь идет о том, что отношение предопределяет идентичность агентов коммуникации (в терминах акторно-сетевой теории – характер сети определяет акторов). Объекты и субъекты взаимодействия должны считаться недоопределенными до или вне коммуникативного действия. Этот принцип кажется очевидным для научного исследовательского взаимодействия относительно объектов, получающих определенность в рамках конкретного научного подхода, метода, парадигмальной установки, например, в контексте практики «интраакции» в понимании К. Барад[1]. Именно неполнота в определении научных объектов вызывает необходимость проверки и воспроизводства, прежде чем результаты их исследования поступают в сферу прикладной науки, в область экспертной деятельности. Однако такой очевидности нет относительно коммуникации, которая происходит на внешних границах науки,

1 «Интраакции – непроизвольные, недетерминистские каузальные задействования, через которые материя-в-процессе-становления многократно складывается в свою непрерывную дифференциальную материализацию <…> Неопределенность никогда не разрешается раз и навсегда» (Барад, 2018, с. 101).

в рамках ПНК. Может ли включаться в отношение по определению научного объекта непрофессионал? Когда становится экспертом тот, кто высказывает экспертное мнение? До экспертизы как коммуникативного отношения с непрофессионалами исследователь является экспертом только в возможности, подтвержденной отношениями внутри научного сообщества. Актуальность статуса эксперта определяется отношением в контексте практик ПНК. Негарантированное в своей успешности, такое отношение обусловливает как статус конкретных агентов коммуникации, так и определенность их объекта.

Следующий принцип обращает нас к условиям актуализации отношения, или медиации. Очевидно, что движущим мотивом работы на границах служит внешнее требование. П. Галисон описывает государственный заказ на совершенствование военного оборудования, вызвавший к жизни формирование зоны обмена между физиками- теоретиками, экспериментаторами и инженерами (Galison, 1999, p. 149–150). Мы предлагаем дополнить этот внешний мотив внутренним условием, которое, имплицитно, присутствует и у Галисона. Исследователи входят в ситуацию взаимодействия со своими собственными вопросами и проблемами и, решая общую задачу, могут опосредованно получить на них ответы. Эта, хотя и не гарантированная, возможность задает интерес участников коммуникации. Когда мы говорим о ПНК, первоначально создается впечатление, что интерес к ней есть только у непрофессионалов. Лишь в случае обсуждения метанаучных проблем, связанных, например, с научной политикой, или, отчасти, в случае гражданской науки можно говорить об интересе ученых как потенциальных агентов коммуникации. В первом случае их интерес связан с легитимизацией научных исследований, а во втором с необходимостью действий дополнительных непрофессиональных участников для приобретения знания. В обсуждениях моделей ПНК – не только дефицита, но также диалога и вовлечения, – в основном учитывается интерес публики. Отталкиваясь от такого положения дел, провоцирующего асимметрию заинтересованности, мы формулируем второе условие успешности работы на границах. Это условие – *принцип эпистемической симметрии (не)знания* агентов коммуникации. Работа на границах может быть конструктивной только в том случае, если модель дефицита работает симметрично, если недостаток знания, который может быть компенсирован за счет иного агента коммуникации, значим для всех сторон взаимодействия. Потенциальная фальсифицируемость научного знания, ориентирующая его на необходимость проверки и допускающая возможность опровержения, объясняет, почему принцип эпистемической симметрии (не)знания может иметь отношение к позиции ученых, а не только к позиции непрофессионалов. Например, ученые, как правило, не владеют опытным знанием, переживанием того, что является их объектом исследования. Как правило, такая экспертиза опыта

является преимуществом непрофессионалов[1]. Осознание учеными такой ограниченности может обусловливать успех работы на границах.

Третий принцип может служить условием преодоления однозначной эпистемической иерархии в работе на границах, условием действия принципа эпистемической симметрии (не)знания. Назовем его *принцип объективации, или конструирования пограничных объектов*. О чем здесь идет речь? Познавательная иерархия в научной коммуникации может характеризовать не только отношение субъектов познания (специалистов и непрофессионалов). Часто она определяет отношение субъекта и объекта познания как коммуникативных агентов. Необходимость и возможность преодоления такой иерархии присутствует в рефлексии относительно гуманитарных и социальных наук, к чему отсылают, например, настаивание на диалоге как методе гуманитарных наук в отличие от монолога относительно безгласной вещи в естествознании (М. Бахтин) или подчеркивание двойной герменевтики как взаимного влияния познающего и познаваемых агентов в социологии (Э. Гидденс). Однако провозглашаемое в качестве идеала, такое положение дел не всегда становится реальностью. Как можно реализовать трансформацию этой неизбежной иерархии, «вшитой» в различение двух сторон познания? Можно ли выстроить работу на границах в такой ситуации?

Один из способов состоит в том, чтобы трансформировать объект исследования или практической задачи в субъекта, обнаружив при этом общий, хотя и негомогенный объект интереса как этого субъекта, так и специалиста, и уже относительно этого объекта выстраивать работу на границах. Важно, что этот объект должен мыслиться пограничным, то есть одновременно связывающим и разделяющим позиции и миры знаний специалиста и непрофессионала.

Приведем пример такого рода объективации. Специалисты-медики в своем стремлении помочь больному задействуют свои профессиональные знания и навыки. Объектом применения этих знаний является больной, находящийся в пассивном положении относительно активности знающего специалиста. Однако если объективировать болезнь, сделать ее общим пограничный объектом заботы как больного, так и профессионала, то иерархия видов знания станет не такой существенной, и будет возможна работа на границах. Такой ход объективации может показаться странным тем, кто привык к обратному действию, к критике объективизма, к значению обнаружения в объекте скрытых в нем интересов, знаний, ценностей субъекта. Подчеркнем, что значимым в процессе объективации оказывается характер пограничности, обусловливающий невозможность присвоения объекта (права полного знания о нем) одним из социальных миров (например, миром специалистов- медиков).

1 Например, в случае антропологических исследований могут возникать ситуации, когда граница, разделяющая опыт и возможность его научной формализации, проходит внутри исследователя (Mascarenhas-Keyes, 1987). Однако с таким положением связаны дополнительные проблемы в работе на границах – недоверие информантов к переживаемому опыту исследователя, недоверие коллег к «объективности» позиции такого ученого и т. п.

Такое присвоение не произойдет, если будет соблюдаться принцип эпистемической симметрии (не)знания агентов коммуникации. В результате те, кто считался только объектами познания, будут рассматриваться в качестве субъектов определенного знания, а производство знания о болезни будет рассматриваться как «со-производство».

Рассматривая подобный случай со-производства медицинского знания о заболеваниях – медиками как учеными и субъектами заболевания, представляющими сообщества пациентов, – М. Каллон и В. Рабихарисоа (2003) говорят о пациентах как об «истинных исследователях», способных к кооперации с учеными, однако работающих «в дикой среде», в отличие от «лабораторной среды» ученых. Речь идет о производстве знания о малоизученных, редких или новых заболеваниях (в данном случае о мышечной дистрофии). Работа на границах не реализуется, если присутствует асимметрия эпистемического (не)знания, то есть, если либо пациенты со своим знанием исключаются для медиков, либо исключаются медики, когда знание субъектов болезни остается для них самих единственно значимым, когда они не хотят по тем или иным причинам открывать его врачам, вступать с ними в коллаборацию. В случае, если дефицит знания или недоопределенность болезни как пограничного объекта очевидна для всех участников, они могут стать союзниками. Тогда и специалисты, и их пациенты признают друг друга и осознают необходимость совместной работы на границах. Пациенты, предоставляя фото и видеозаписи о своем заболевании и динамике симптомов в процессе жизнедеятельности, а также описание ощущений с позиции первого лица, репрезентируют тот опыт, который не может быть реализован в лаборатории, где предполагается взгляд на болезнь «из ниоткуда». Врачи учатся смотреть на болезнь с позиции «пациента на кровати», а пациенты учатся переводить индивидуальный опыт на язык биологических данных. Врачи учатся индивидуализировать объект своего исследования, пациенты – связывать свои симптомы с нечеловеческими животными сущностями, гены которых оказываются для врача моделью исследования заболевания. В таком отношении реализуется публичность или открытость знания, поскольку ученые выходят за рамки собственного сообщества, взаимодействуя с непрофессионалами. Так совершается работа на границах и формируется новый коллектив, которым во взаимном обогащении знаниями создается понимание болезни.

Еще один пример возможной работы на границах относится к допущению значения аргументов тех, кто может считаться конкурентами ученых. В этом случае речь идет об объекте, которые оказывается недоопределенным не только в своих характеристиках, но и в самом своем существовании. Этот объект – изменение климата и влияющие на это изменение факторы. Исключенными при этом оказываются так называемые климат-скептики. После публикации Н. Орескис (2004) по поводу консенсуса ученых относительно изменений климата, а также после известной истории со взломом

почты климатологов в 2009 году, названной «климатгейт», можно было наблюдать следующее. Во-первых, развернутую критику в адрес ученых-климатологов, – за их политическую ангажированность, закрытость, недостаток научной аргументации, неточность данных и моделей, преувеличение опасности[1]. Во-вторых, аргументы за то, что ученые не должны содержательно реагировать на критикующих их аутсайдеров, но должны продолжать исследования по-прежнему (John, 2018). В-третьих, можно наблюдать работу на границах. В последнем случае речь идет об анализе и ответах на аргументы климат-скептиков, что имеет место как в научном пространстве, так и в ПНК, где организуются проекты гражданской науки по тестированию моделей климатических изменений или где на научно-популярных сайтах о климате происходит разбор аргументов скептиков, причем в первую очередь их сомнений в обоснованности выводов ученых. Такая коммуникативная работа на границах по поддержанию собственного авторитета становится возможной, поскольку изменения климата конституируется как недоопределенный пограничных объект, не принадлежащий исключительно ученым- климатологам, поскольку климатологи признают собственный дефицит знаний об этом объекте. Более того, в отношение по определению объекта включаются и непрофессионалы – население, неявные знания которого об изменениях климата оказываются частью общей работы (Meisch et al, 2022). Безусловно, проблема изменений климата еще далека от решения, и неизвестно, будет ли она когда-то к нему близка. Но очевидно, что выполнение условий работы на границах будет способствовать движению в этом направлении.

Заключение

Предлагаемое в статье понятие *работы на границах* обозначает практики пересечения внутренних дисциплинарных научных границ, а также внешних, связанных с взаимодействием ученых и непрофессионалов. Соответствующий этому понятию феномен имеет место с начала формирования идентичности науки, сопутствуя работе по установлению границ – *пограничной работе*, – совершаемой в целях защиты автономии и авторитета научной деятельности. В отличие от иных понятий, схватывающих практики пересечения научных границ, концепт работа на границах имеет нормативный, а не дескриптивный характер. Он задает условия, которые следует иметь в виду агентам научной коммуникации, если они рассчитывают на успешность своей деятельности. При раскрытии понятия работы на границах акцент был сделан на нем как на способе реализации публичной научной коммуникации, таком, в котором происходит формирование нового комплексного знания, а также его коллективного субъекта. Такой подход позволил заострить внимание при рассмотрении работы на границах на проблеме перевода между различными видами знания, одно из которых является научным, а также на соответствующей этой

1 Обзор соответствующих аргументов и ответы на них см. Cologna et al, 2024

проблеме иерархии между коммуникативными агентами. Мы сформулировали три минимальных условия успешности работы на границах как способа реализации публичной научной коммуникации, среди которых принцип первичности отношения, принцип эпистемической симметрии (не)знания агентов коммуникации, а также принцип объективации, или конструирования пограничных объектов. В публичной научной коммуникации, включающей популяризацию, экспертную деятельность, метанаучные дискуссии и гражданскую науку, осуществляется не только создание нового знания, но и его распространение или легитимизация. Однако именно в работе на границах публичная научная коммуникация сближается с взаимодействием внутри науки, между различными дисциплинами. Потому именно сформулированные условия работы на границах могут иметь значение для ученых в любой коммуникативной практике, а сама работа может демонстрировать значение включения исследователей в публичную научную коммуникацию.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста статьи — Шиповалова Л. В.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии

Конфликт интересов

Конфликтов нет

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках гранта № 25-28-02502 «Концептуальные основания публичной научной коммуникации: эпистемологический и ценностно-нормативный аспекты» (https://rscf.ru/project/25-28-02502/).

This research was financially supported by the Russian Science Foundation under grant no. 25-28-02502, “Conceptual Foundations of Public Science Communication: Epistemological and Value-Normative Aspects” (https://rscf.ru/project/25-28-02502/).

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов:

Инструменты искусственного интеллекта не использованы; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford University Press.

Brossard, D., & Scheufele, D. A. (2013). Science, New Media, and the Public. *Science*, 339(6115), 40–41. https://doi.org/10.1126/science.1232329

Bucchi, M., & Trench, B. (2014). Science Communication Research: Themes and Challenges. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 1–15). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203483794

Callon, M., & Rabeharisoa, V. (2003). Research “in the Wild” and the Shaping of New Social Identities. *Technology in Society*, 25(2), 193–204. https://doi.org/10.1016/S0160-791X(03)00021-6

Collins, H., Evans, R., & Weinel, M. (2016). Interactional Expertise. In U. Felt, R. Fouché, C. A. Miller, & L. Smith-Doerr (Eds.), *Handbook on Science and Technology Studies* (pp. 765–792). MIT Press.

Cologna, V., Kotcher, J., Mede, N. G., Besley, J., Maibach, E. W., & Oreskes, N. (2024). Trust in climate science and climate scientists: A narrative review. *PLOS Climate*, 3(5), e0000400. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000400

Fage-Butler, A., Ledderer, L., & Nielsen, K. H. (Eds.). (2025). *Science Communication and Trust*. Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1289-5

Friman, M. (2010). Understanding Boundary Work through Discourse Theory. *Science & Technology Studies*, 23(2), 5–19. https://doi.org/10.23987/sts.55250

Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the Post-Normal Age. *Futures*, 25(7), 739–755. https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L

Galison, P. (1999). Trading Zone: Coordinating Action and Belief. In M. Biagioli (Ed.), *The Science Studies Reader* (pp. 137–160). Routledge.

Galison, P., & Stump, D. J. (Eds.). (1996). *The Disunity of Science: Boundaries, Context and Power*. Stanford University Press.

Gieryn, T. F. (1983). Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. *American Sociological Review*, 48(6), 781. https://doi.org/10.2307/2095325

Gieryn, Th. (1995). Boundaries of Science. In Sh. Jasanoff, G. Markle, J. Petersen, & T. Pinch (Eds.), *Handbook of Science and Technology Studies* (pp. 393–443). Sage. https://doi.org/10.4135/9781412990127.n18

Gordin, M. D. (2021). *On the Fringe: Where Science Meets Pseudo-science*. Oxford University Press.

Irwin, A. (1995). *Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development*. Routledge.

Irwin, A. (2014). Risk, Science and Public Communication: Third-order Thinking about Scientific Culture. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 160–172). Routledge.

John, S. (2018). Epistemic trust and the ethics of science communication: Against transparency, openness, sincerity and honesty. *Social Epistemology*, 32(2), 75–87. https://doi.org/10.1080/02691728.2017.1410864

Laudan, L. (1983). The Demise of the Demarcation Problem. In *Beyond Positivism and Relativism: Theory, Method and Evidence* (pp. 210–222). Westview Press.

Lynch, W. T. (2020). *Minority Report: Dissent and Diversity in Science*. Rowman & Littlefield Publishing Group. https://doi.org/10.5040/9798881811143

Mascarenhas-Keyes, S. (1987). The Native Anthropologist: Constraints and Strategies in Research. In A. Jackson (Ed.), *Anthropology at Home* (pp. 180–195). Tavistock Publications.

Meisch, S. P., Bremer, S., Young, M. T., & Funtowicz, S. O. (2022). Extended Peer Communities: Appraising the contributions of tacit knowledges in climate change decision-making. *Futures*, 135, 102868. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102868

Oreskes, N. (2004). The Scientific Consensus on Climate Change. *Science*, 306(5702), 1686–1686. https://doi.org/10.1126/science.1103618

Peters, H. P. (2014). Scientists as Public Experts: Expectations and Responsibilities. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 70–82). Routledge.

Schäfer, M. S. (2017). How Changing Media Structures Are Affecting Science News Coverage. In K. H. Jamieson, D. Kahan, & D. A. Scheufele (Eds.), *Oxford Handbook on the Science of Science Communication* (pp. 51–60). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190497620.013.5

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387–420. https://doi.org/10.1177/030631289019003001

Storer, N., & Parsons, T. (1968). The Disciplines as a Differentiating. In *The Foundations of Access to Knowledge* (pp. 101–121). Syracuse University Press.

Бажанов, В. А. (2024). Как возможны псевдонауки? Еще раз о вечнозеленой философской проблеме. *Эпистемология и философия науки*, 61(2), 6–22. https://doi.org/10.5840/eps202461218

Бажанов, В. А., & Шольц, Р. В. (2015). *Трансдисциплинарность в философии и науке: Подходы, проблемы, перспективы*. Навигатор.

Барад, К. (2018). Агентный реализм. В М. Крамар & К. Саркисов (Ред.), *Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология* (сс. 42–121). V-A-C Press.

Дастон, Л. (2015). Дисциплинирование дисциплин: Академии и единство знания. В А. Н. Дмитриев & И. М. Савельева (Ред.), *Науки о человеке: История дисциплин* (сс. 105–123). Издательский дом Высшей школы экономики.

Дыдров, А. А., & Пеннер, Р. В. (2024). Манифест цифровой антропологии. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, (2), 34–51. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.466

Касавин, И. Т. (2006). Социальная эпистемология: Понятие и проблемы. *Эпистемология и философия науки*, 7(1), 5–15. https://doi.org/10.5840/eps20067175

Касавин, И. Т. (2010). Междисциплинарное исследование: К понятию и типологии. *Вопросы философии*, (4), 61–73.

Кошовец, О. Б., & Фролов, И. Э. (2020). Прекрасный новый мир: О трансформации науки в технонауку. *Эпистемология и философия науки*, 57(1), 20–31. https://doi.org/10.5840/eps20205712

Розов, М. А. (1996). Традиции и новации в развитии науки. Научные революции. В В. И. Купцов (Ред.), *Философия и методология науки* (сс. 202–250). Аспект Пресс.

Сорокина, М. А. (2025). Коммуникационные разрывы в публичной научной коммуникации: Стратегии преодоления или включения. *Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина*, 3, 21–35. https://doi.org/10.35231/18186653_2025_3_21

Тихонова, С. В., & Шиповалова, Л. В. (2025). Медианаука как актант новой социальной онтологии. *Философия. Журнал Высшей Школы Экономики*, 9(3), 177–199. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2025-3-177-199

Тухватулина, Л. А. (2023). Наука как объект веры и недоверия: Феномен дениализма. *Эпистемология и философия науки*, 60(1), 6–20. https://doi.org/10.5840/eps20236011

Хабермас, Ю. (2007). Онаученная политика и общественное мнение. В Ю. Хабермас, *Техника и наука как «идеология»* (сс. 136–166). Праксис.

Черникова, И. В., & Николина, Н. В. (2022). Границы науки и формирование идентичности научного знания. *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, (69), 44–56.

References

Barad, K. (2018). Agential realism. In M. Kramar & K. Sarkisov (Eds.), *Experiments in Nonhuman Hospitality: An Anthology* (pp. 42–121). V-A-C Press. (In Russian).

Bazhanov, V. A. (2024). How are Pseudosciences Possible?: Once Again about the Evergreen Philosophical Problem. *Epistemology & Philosophy of Science*, 61(2), 6–22. https://doi.org/10.5840/eps202461218 (In Russian).

Bazhanov, V. A., & Scholz, R. V. (2015). *Transdisciplinarity in Philosophy and Science: Approaches, Problems, Prospects*. Navigator. (In Russian).

Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford University Press.

Brossard, D., & Scheufele, D. A. (2013). Science, New Media, and the Public. *Science*, 339(6115), 40–41. https://doi.org/10.1126/science.1232329

Bucchi, M., & Trench, B. (2014). Science Communication Research: Themes and Challenges. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 1–15). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203483794

Callon, M., & Rabeharisoa, V. (2003). Research "in the Wild" and the Shaping of New Social Identities. *Technology in Society*, 25(2), 193–204. https://doi.org/10.1016/S0160-791X(03)00021-6

Chernikova, I. V., & Nikolina, N. V. (2022). The boundaries of science and the formation of the identity of scientific knowledge. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, (69), 44–56. (In Russian).

Collins, H., Evans, R., & Weinel, M. (2016). Interactional Expertise. In U. Felt, R. Fouché, C. A. Miller, & L. Smith-Doerr (Eds.), *Handbook on Science and Technology Studies* (pp. 765–792). MIT Press.

Cologna, V., Kotcher, J., Mede, N. G., Besley, J., Maibach, E. W., & Oreskes, N. (2024). Trust in climate science and climate scientists: A narrative review. *PLOS Climate*, 3(5), e0000400. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000400

Daston, L. (2015). Disciplining the disciplines: Academies and the unity of knowledge. In A. N. Dmitriev & I. M. Savelieva (Eds.), *The Human Sciences: A History of Disciplines* (pp. 105–123). HSE Publishing House. (In Russian).

Dydrov, A. A., & Penner, R. V. (2024). Digital Anthropology Manifesto. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 6(2), 17–51. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.466 (In Russian).

Fage-Butler, A., Ledderer, L., & Nielsen, K. H. (Eds.). (2025). *Science Communication and Trust*. Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1289-5

Friman, M. (2010). Understanding Boundary Work through Discourse Theory. *Science & Technology Studies*, 23(2), 5–19. https://doi.org/10.23987/sts.55250

Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the Post-Normal Age. *Futures*, 25(7), 739–755. https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L

Galison, P. (1999). Trading Zone: Coordinating Action and Belief. In M. Biagioli (Ed.), *The Science Studies Reader* (pp. 137–160). Routledge.

Galison, P., & Stump, D. J. (Eds.). (1996). *The Disunity of Science: Boundaries, Context and Power*. Stanford University Press.

Gieryn, T. F. (1983). Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. *American Sociological Review*, 48(6), 781. https://doi.org/10.2307/2095325

Gieryn, Th. (1995). Boundaries of Science. In Sh. Jasanoff, G. Markle, J. Petersen, & T. Pinch (Eds.), *Handbook of Science and Technology Studies* (pp. 393–443). Sage. https://doi.org/10.4135/9781412990127.n18

Gordin, M. D. (2021). *On the Fringe: Where Science Meets Pseudo-science*. Oxford University Press.

Habermas, J. (2007). Scientised politics and public opinion. In J. Habermas, *Technology and Science as "Ideology"* (pp. 136–166). Praxis. (In Russian).

Irwin, A. (1995). *Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development*. Routledge.

Irwin, A. (2014). Risk, Science and Public Communication: Third-order Thinking about Scientific Culture. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 160–172). Routledge.

John, S. (2018). Epistemic trust and the ethics of science communication: Against transparency, openness, sincerity and honesty. *Social Epistemology*, 32(2), 75–87. https://doi.org/10.1080/02691728.2017.1410864

Kasavin, I. T. (2006). Social epistemology: Concept and problems. *Epistemology & Philosophy of Science*, 7(1), 5–15. https://doi.org/10.5840/eps20067175 (In Russian).

Kasavin, I. T. (2010). Interdisciplinary research: Towards a concept and typology. *Voprosy Filosofii*, (4), 61–73. (In Russian).

Koshovets, O. B., & Frolov, I. E. (2020). Brave New World: On Science Transformation Into Technoscience. *Epistemology & Philosophy of Science*, 57(1), 20–31. https://doi.org/10.5840/eps20205712 (In Russian).

Laudan, L. (1983). The Demise of the Demarcation Problem. In *Beyond Positivism and Relativism: Theory, Method and Evidence* (pp. 210–222). Westview Press.

Lynch, W. T. (2020). *Minority Report: Dissent and Diversity in Science*. Rowman & Littlefield Publishing Group. https://doi.org/10.5040/9798881811143

Mascarenhas-Keyes, S. (1987). The Native Anthropologist: Constraints and Strategies in Research. In A. Jackson (Ed.), *Anthropology at Home* (pp. 180–195). Tavistock Publications.

Meisch, S. P., Bremer, S., Young, M. T., & Funtowicz, S. O. (2022). Extended Peer Communities: Appraising the contributions of tacit knowledges in climate change decision-making. *Futures*, 135, 102868. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102868

Oreskes, N. (2004). The Scientific Consensus on Climate Change. *Science*, 306(5702), 1686–1686. https://doi.org/10.1126/science.1103618

Peters, H. P. (2014). Scientists as Public Experts: Expectations and Responsibilities. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (pp. 70–82). Routledge.

Rozov, M. A. (1996). Traditions and Innovations in the Development of Science: Scientific Revolutions. In V. I. Kuptsov (Ed.), *Philosophy and Methodology of Science* (pp. 202–250). Aspekt Press. (In Russian).

Schäfer, M. S. (2017). How Changing Media Structures Are Affecting Science News Coverage. In K. H. Jamieson, D. Kahan, & D. A. Scheufele (Eds.), *Oxford Handbook on the Science of Science Communication* (pp. 51–60). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190497620.013.5

Sorokina, M. A. (2025). Communication Gaps in Public Scientific Communication: Overcoming or Inclusive Strategies. *Pushkin Leningrad State University Journal*, 3, 21–35. https://doi.org/10.35231/18186653_2025_3_21 (In Russian).

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387–420. https://doi.org/10.1177/030631289019003001

Storer, N., & Parsons, T. (1968). The Disciplines as a Differentiating. In *The Foundations of Access to Knowledge* (pp. 101–121). Syracuse University Press.

Tikhonova, S. V., & Shipovalova, L. V. (2025). Mediascience as an Actor of a New Social Ontology. *Philosophy Journal of the Higher School of Economics*, 9(3), 177–199. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2025-3-177-199 (In Russian).

Tukhvatulina, L. A. & Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. (2023). Science as an Object of Faith and Distrust: The Phenomenon of Denialism. *Epistemology & Philosophy of Science*, 60(1), 6–20. https://doi.org/10.5840/eps20236011 (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Другой в дискурсах науки и культуры | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.774

Conversations with a Country Road: Topological Narratives in Russian Music of the 20th and 21st centuries

Artur A. Dydrov

South Ural State University. Chelyabinsk, Russia.
Email: dydrovaa[at]susu.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-3288-8724

Received: 29 March 2026 | Revised: 13 April 2026 | Accepted: 21 April 2026

Abstract

Narratives integrated into semiotics and the body of musical text have traditionally served as a means of conveying meaning and messages to a specific or anonymous audience. In scientific literature and journalism, there is an established opinion that Soviet music raised generations on corporate "correct" ideas and values and was periodically subjected to the negative influence of the West, which formed well-known binary oppositions such as "friend/foe". With the collapse of the USSR, the situation in all spheres of society life changed, and musical narratives changed along with it. The proportion of scientific research on cultural trends and tendencies of the 90s is relatively high, but this cannot be said about Russian music of the second and, especially, the third decade of the 21st century. In addition to producing abstract conceptual sketches, it is necessary to study the details of narratives of contemporary music and identify their patterns depending on the selected aspect. The purpose of the study is to define and conceptualize topological patterns in musical narratives of Russian culture of the 10s-20s. of the 21st century, which is driven by the hypothesis of integrating spatial images into the texts and axiologizing topological concepts. As a result, the identified topological patterns are not only held within the framework of the traditional binary opposition of utopia/dystopia, but also probe to go beyond its boundaries, balancing on the border or trying to absorb the classical contradiction. The article is aimed at specialists in the social and humanitarian sciences, as well as all those who study musical culture or are fond of music.

Keywords

Topology; Utopia; Narrative; "Retrowave"; "Sovietwave"; Hauntology; Nostalgia; Space

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Artur A. Dydrov

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
The Other in the Discourses of Science and Culture | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.774

Разговоры с «просёлочной дорогой»: топологические нарративы в российской музыке XX–XXI вв.

Дыдров Артур Александрович

Южно-Уральский государственный университет. Челябинск, Россия.
Email: dydrovaa[at]susu.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-3288-8724

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 13 апреля 2026 | Принята: 21 апреля 2026

Аннотация

Нарративы, интегрированные в семиотику и корпус музыкального текста, традиционно служили средством передачи смысла и послания в адрес конкретной или анонимной аудитории. В научной литературе и журналистике устоялось мнение, что советская музыка воспитывала поколения на корпоративных «правильных» идеях и ценностях и периодически подвергалась негативному влиянию Запада, что формировало известные бинарные оппозиции типа «свой/чужой». С распадом СССР ситуация во всех сферах жизни социума изменилась, а вместе с ней поменялись и музыкальные нарративы. Удельный вес научных исследований о культурных трендах и тенденциях 90-х сравнительно высок, однако этого нельзя сказать о российской музыке второго и, тем более, третьего десятилетия XXI века. Помимо производства абстрактных концептуальных набросков, необходимо изучить детали нарративов современной музыки и выявить их паттерны в зависимости от выбранного аспекта. Целью исследования является концептуализация топологических паттернов в музыкальных нарративах российской культуры 10-х-20-х гг. XXI века, что обусловлено гипотезой об интеграции образов места в тексты и аксиологизации топологических концептов. В результате выявленные топологические паттерны не только удерживаются в рамках традиционной бинарной оппозиции утопии/дистопии, но и пытаются выйти за ее границы, балансируя на границе или пытаясь поглотить классическую контрадикцию. Статья ориентирована на специалистов в социально-гуманитарных науках, а также всех тех, кто изучает музыкальную культуру или увлекается музыкой.

Ключевые слова

топология; утопия; нарратив; «ретровейв»; «совьетвейв»; хонтология; ностальгия; космос

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Дыдров Артур Александрович

Введение

Нарратив популярной в СССР композиции ВИА «Самоцветы» говорил о приоритете рабочих задач и монументальных строек над личными желаниями и потребностями: «сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня». В этой связи формировались особые топологические маркеры, предписывающие аксиологически правильное отношение к месту жительства. Советский Союз – это не формальное объединение административно-территориальных субъектов, а «страна трудовая», подлинная родина и адрес проживания каждого советского человека. По артериям Союза перемещаются рабочие кадры – инженеры, техники, активисты, строители, реализующие колоссальные проекты по переустройству быта и сопротивляющиеся капризам природы. Все глубоко «личное» – любовь, симпатия, нежность, персональные практики (развлечения, хобби и т. д.) оттесняются в культурных нарративах на второй план. Персонажи популярных советских песен идентифицируют себя через принадлежность к труду и, следовательно, общему делу: «ищите на стройках меня» (ВИА «Самоцветы», «Мой адрес – Советский Союз»), «выпало нам строить путь железный, а короче – БАМ» (ВИА «Пламя», «Строим БАМ»), «холодную землю согреть нам придется» (к/ф «Голубка», «Твой поезд») и др.

Даже лирический персонаж Николая Рыбникова в двухминутном «Марше монтажников», соединив тему стройки с темой страданий от одиночества и неопределенности на личном «фронте», в качестве титульной идентификации указал на принадлежность к коллективным ценностям и самоотверженность в труде. Личные потребности героя выражаются в скромном запросе «пройтись со мной слегка туда-сюда». Романтик и при этом трудоголик представляет первое свидание «на высоте». Этим маркером, очевидно, выражена семантическая двойственность: рандеву пройдет на высоком уровне, без каких-либо казусов и препон, но его местом будет высотное здание – часть гигантской стройки, где будущее создается коллективом неутомимых тружеников (включая, разумеется, и нашего героя). Личное осуществляется в полном соответствии с моральным кодексом рабочего великих строек и строителя коммунизма и, следовательно, не нуждается в укрытии от посторонних глаз.

Советские музыкальные нарративы в целом соответствовали и партийным предписаниям, и сложившемуся культурному бэкграунду. В частности, нетрудно заметить корреляцию с ранней литературной утопией. Раннесоветские литературные эксперименты, например, «Потомки Солнца» А. П. Платонова (1922 г.) или «Плутония» В. А. Обручева (1924 г.) помещали героев то в доисторические миры, то в космические дали. Так или иначе, персонажи рождались в эпоху «перестройки земного шара» (Платонов). Человек «вгрызался» машинами в недра Земли и менял ее образ в соответствии с коллективными планами. Идеологема строительства социализма

в отдельно взятой стране, очевидно, существенно повлияла на культурные нарративы. 10 февраля 1926 г. Сталин адресовал тов. Покоеву широко известные рассуждения о том, что победоносная революция на Западе может задержаться и не подоспеть на помощь советскому пролетариату. Дипломатически Сталин не отказывался от помощи заграничных сил, признавая возможность строительства социализма без помощи Запада. Однако значительное «но» заключалось в отсутствии гарантий спокойствия и мира при сохранении угрозы от иностранного капитала.

Акценты были перенесены с космоса и земного шара на отдельно взятую страну, где, как оказалось, появился внушительный перечень проблем, требующих немедленного решения. Страна требовала великой реновации в соответствии с грандиозными планами. В обновлении идеологически участвовали все слои населения. Каждый человек не просто трудился и ни в коем случае не выполнял «бредовую» работу (Гребер) – он был участником общего культуртрегерства, предполагающего онтологию общего дела. Советский Союз идеологически функционировал как исторически прогрессивное братство народов, монументальное целое, своего рода «метатопос», вмещающий разнообразие объединенных общей заботой этносов и народностей. Разумеется, претенциозность идеологии СССР как нельзя лучше передавалась в гимнических шедеврах: «мы наш, мы новый мир построим», «для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей» («Интернационал», пер. Аркадия Коца, 1937 г.); «дружбы народов надежный оплот», «единый, могучий Советский Союз» (ред. С. В. Михалкова, 1977 г.). Некоторые метаморфозы были заметны уже в частных вариациях гимна. Для сравнения еще раз воспроизведем топологические маркеры исторически раннего «Интернационала»: «мир насилья», «новый мир», «всемирная великая армия труда». В полной версии А. Я. Коца использовались также «все блага мира», «мир народу». Варианты гимна, рассматриваемые специальной комиссией Д. Т. Шепилова, включали в себя идеологемы «братства и дружбы народов страна», «страна трудовая», «свет и надежда земли» (М. В. Исаковский); «Отчизна родная», «родину мы озарили», «шахты, леса и моря» (М. Ф. Рыльский), «советская наша страна», «свободная Отчизна», «путь проложили» (С. В. Михалков). Известны и варианты Твардовского – Свиридова, написанные в начале 60-х. Они, в свою очередь, содержат «отчизна-мать, страна родная», «вдаль и вширь без края твоя раскинулась земля». Стихи для первого публичного исполнения включали маркеры «бескрайни дали», «Российская земля».

Сопоставляя известные тексты, нетрудно заметить, что «мир» фактически перестал фигурировать в советских гимнических нарративах. Его сменили «отчизна», «родина», «страна» и, что характерно, «шахты». Более того, публичная вариация Твардовского содержит «Российская земля» вместо «Советская». В рабочих тетрадях Твардовского (1961 г.) неоднократно сделаны записи, включающие «Советская земля» и «земля родная», однако по неиз-

вестным причинам поэт и переводчик остановился на обозначенном варианте. Гимнические нарративы позволяют видеть значительные топологические трансформации в музыкальных текстах. От «мира» произошел постепенный, но решительный переход к «родине» и «стране», «Союзу» и даже «шахтам» (на этом, разумеется, трансформации не завершились). Очевидно, что нарративы, расставаясь с «миром», выражали монументализм – менее абстрактный, отображающий коллективные цели. Советская культура в значительной мере базировалась на тотализирующей аксиологии (это обстоятельство прямо сказывалось на топологии в нарративах).

Методология

В рамках дескрипции методологии и специальных подходов к предмету следует особо оговорить одно важное обстоятельство: мы различаем как минимум два направления работы: исследование музыки как нарратива – в частности, F. Maus (1997) и C. Abbate (1989) – и исследование повествования (текста) музыкального произведения. Первое направление имеет как сторонников, так и критиков. В частности, L. Kramer открыто говорил о несостоятельности музыкальной нарратологии. При этом критик использует герменевтический подход к исследованию элементов «повествования» в музыке (1991). Аналитика музыкального «текста» (мы закавычиваем концепт в виду дискуссий вокруг проблемы собственно музыкальной нарратологии) вдохновлена философской диалектической пресуппозицией о единстве содержания и формы: форма в некотором смысле также является содержанием (Pederson, 1996, pp. 179–180).

Мы полагаем, что выявление повествовательных структур как процедура допустима в границах интерпретативной практики, однако требует понимания культурных контекстов, учета сторонних интерпретаций (авторских комментариев, критики, общественного отклика), подхода к тексту как единству вербальных и невербальных конструкций. В фокус внимания преимущественно попадает второй тип нарратива. Данный тип, как правило, исследуется специалистами-гуманитариями, так как предполагает семантический анализ, определение семантических кластеров, сравнение, сопоставление текстов, а также социально-гуманитарную концептуализацию.

Во втором случае используется кластер методов, аналогичный исследованию поэзии. Текст понимается как вторичный семиозис, совокупность лексем, реализующих коммуникативную, экспрессивную, эстетическую и другие функции. Обычно внимание фокусируется на коммуникативной функции текста (способы конструирования и формат сообщения, содержание месседжа, канал трансляции). Ключевой аспект аналитики связан с топологическими маркерами, показывающими тенденции смены интерьеров (картины мира, государственной идеологии, публичных и частных нарративов и т. д.). Музыкальный план также выступает в качестве предмета аналитики, но полу-

чает вторые роли. Приоритет второго направления исследования обусловлен не только отсутствием необходимых профессиональных компетенций, но, главным образом, предметом статьи – топологическими трансформациями в музыкальных текстах. Изучение предмета предполагает оперирование историческими материалами, анализ источников (поэтические тексты, записки, интернет-микроформаты), а также некоторые философские обобщения. Последние связаны, прежде всего, с аксиологическим подходом. В самом общем виде данный подход работает на тезис об изменениях топологической маркировки в корреляции с индивидуальными и социальными ценностными трансформациями.

От бесконечности к кризису великих топологий

Исторически, если проводить параллель с философским концептуализмом, многолетняя популярность «Интернационала» совпала с активностью космизма (Федорова, Муравьева, Ярославского, Циолковского и др.). Для него категории времени (у Муравьева – «овладение временем»), мира (у А. Б. Ярославского мир – «болезненный ребенок»), человечества были частью специфического тезауруса, а также своего рода «кодом» идентификации. Шлейф космической философии и идеологической популяризации космоса четко виден в популярных советских песнях типа «Марша авиаторов» («преодолеть пространство и простор», «все выше, и выше, и выше»), «К дальним планетам» («Солнце, Луна и Венера путь освещают ему»), «Звездам навстречу» («звездам навстречу открыто окошко»), «И на Марсе будут яблони цвести» («перед нами небывалые пути»). Однако уже в последнем советском хите космонавты фигурируют в одной строке с мечтателями, что подчеркивает идеалистический и романтический характер замысла по освоению космоса. Советская песня о космосе, разумеется, не исчерпывается перечисленными примерами. Из позднесоветской музыки, запечатленной на пластинках «Мелодии», можно вспомнить, в первую очередь, “Zodiaks” (латыш.). Для советского слушателя «инструментальная рок-группа» (именно так «Зодиак» позиционировали на виниле “Disco Alliance”, 1980 г.) ассоциировалась, прежде всего, с космическими полетами, «музыкой Вселенной», легендарным миром Полудня. При этом, по оценке Ника Завриева, рок-группа «Зодиак» реализовала несколько стратегий: группа записывала хиты, звучащие в 80-х на каждой дискотеке, и была при этом «возвышенной музыкой космоса» (2024, с. 320).

В тот же период вышел саундтрек Александра Зацепина к мультфильму «Тайна Третьей планеты» (1981 г.). Целевой аудиторией Булычева были как дети, так и взрослые. Первых можно было увлечь полетами, приключениями и стычками с космопиратами, а вторых – «тихой» критикой реалий, сопоставляемых с возможным будущим, которое, столь же вероятно, не наступит. Фантастика предлагала советскому человеку идентифицировать себя в соотно-

шении с другими мирами (Banerjee, 2018). По мнению А. Шубиной, мультипликационная вариация, в отличие от новеллы Кира Булычева, внушала советскому гражданину куда меньше оптимизма. Ребенок остался единственной силой, разрешающей конфликты «взрослого» мира, так как последний, очевидно, решить собственные противоречия не способен. Один из фундаментальных конфликтов такого мира – контроверза между видимостью и бытием с постоянной путаницей модальностей существования (Shubina, 2022, p. 155). Саундтрек Зацепина в этой связи звучит совсем не оптимистично, а скорее ностальгически, как мечта о несбыточном мире Полудня и утраченной космической утопии. И музыка «Зодиака», и саундтрек к «Тайне Третьей планеты» являются бесспорными шедеврами электронной музыки, сопоставимыми с эмбиентом Брайана Ино или “Tangerine Dream”. Эти мелодии трудно назвать «ретротопическими» хотя бы по причине продолжения запуска космических ракет. Однако сами космические полеты существенно девальвировались как в масскульте, так и в рамках государственной идеологии. В частности, антропокультурологическое исследование Е. А. Федосова детально фиксирует популяризацию космической тематики на всех уровнях пропаганды, от официальных заявлений политиков до незначительных предметов быта (2023). Космический «бум», стимулируемый пропагандой, происходил в 50-х и 60-х гг. прошлого века. Разумеется, в подавляющем числе случаев космическая тема в музыке коррелировала с месседжем других каналов трансляции (телепрограммы, плакатное искусство и т. д.). Исключением стали иронические пассажи бардов, находившихся в неоднозначных отношениях с идеологией и властью. Хрестоматийным примером является намеренно абсурдное сочетание полета «новенького корабя» (просторечное) над Москвой и рыночных препирательств Марьи Петровны с продавщицей рыбы. Космическая тема в бардовском пассаже Окуджавы становится фоном, монументальной декорацией, установленной позади буднично-торговой сцены. Существовал и другой прецедент, когда ода одной «великой топологии» служила поводом для критики другой: «Земного мира канитель – иллюзия, мираж / Зачем тебе интриг портфель и глупостей кураж?» (Юрий Ким). В песне Кима космос предстает не загадочным, таинственным или пугающим, а «местечком», куда свободолюбивые и думающие советские граждане мечтают умчаться на межзвездном корабле подальше от повседневной глупости и «канители».

В 70-х и 80-х внимание к космосу существенно угасло. На фоне этого угасания тема, как уже было сказано, перекочевала в формат электронной музыки. Ни «подпольный» рок, ни эстрада фактически не пели о космосе (за некоторым исключением). На авансцену вышли «город», «улица», «район» и масса других локаций. В «Группе крови» высокая звезда звала в путь, а улицы ждали отпечатков ног. В общеизвестной «Звезде» также присутствует композитная топология – растрескавшаяся земля, город, подобный лоскутному

одеялу, и вечное Солнце. Аксиологическая иерархия коррелирует с символизмом нарратива, демаркацией подлинно вечного от всего того, что на вечность тщетно притязает. Упомянутые композиции ни в коем случае не обслуживают тенденцию, скорее наоборот, – их космический символизм не попадает в мейнстрим. Куда более типичной топологией в 80-е становятся «квартира как джунгли» («Чайф»), «улица Ленина» («Ноль»), «старый отель» (Агузарова и «Браво») или заграничные «экзотические» места – Сан-Франциско, Багдад, Бомбей, Карибы, Филиппины, Монте-Карло (и это все на альбоме одного дуэта) и т. д. Позднее «районы – кварталы, жилые массивы» воспроизводятся во всех жанрах и направлениях российской музыки, от эстрады до андеграундного рэпа. Значит ли это, что великие топологии исчерпали себя? Мы полагаем, что они переродились в новой, «призрачной» модальности.

Заигрывание с призраками. Хонтологическая топология

В сборнике «Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки», изданном Институтом музыкальных инициатив, в значительном числе публикаций используется концепт хонтологии и его производные. Традиционно в качестве первоисточника идеи называют Ж. Деррида и книгу «Призраки Маркса». Импульс к конструированию концепта дала знаменитая пропозиция о «бродящем» (или «бродячем»?) «призраке коммунизма» (2006). Философская новация сравнительно быстро прижилась в социально-гуманитарных науках и породила массу исследований, оперировавших хонтологией – «воображаемой наукой о призраках» (Дьяков, 2022, с. 78). Наши воспоминания, согласно констатации О. Дренды, это мир, полный призраков и остаточных изображений (2018, с. 8). Еще платоновская метафорика восковой доски (Платон, 2007, с. 300) прямо указывала на специфическую, интенциональную генетику мнения (Соболева) и фактическую корреляцию между восприятием и мнительностью. Различия дощечек по мягкости и твердости, чистоте и загрязненности существенно не меняли дела: человек не застрахован от того, чтобы мнить и, следовательно, идти по пути заблуждений.

Во введении в «Польскую хонтологию» Дренда на примере показывает, как может работать память. Почтовая открытка с играющими на ярко-зеленой лужайке мальчиком и ежиком, несомненно, вызовет умиление подавляющего большинства зрителей. Мелкий шрифт гласил, что открытка родом из ГДР 1989 года. Страна умирающей утопии с кризисной экономикой и дефицитом потребительских товаров порождает идиллические сюжеты (данная открытка вряд ли была исключением), что может вызвать аксиологический диссонанс у любого, переживавшего «те» времена, и даже не родившегося в ГДР и советский период (Дренда, 2018, с. 9). Если у первой категории подобные слепки прошлого способны, например, вызвать смутное чувство ностальгии или, напротив, стимулировать критическое отношение к пропаганде, то у второй

категории есть все шансы попасть под обаяние «кадрированного» прошлого. Никто, разумеется, не отрицает того, что открытка содержала референтное изображение (сегодня такой уверенности уже могло и не быть). Дело в том, что с ростом числа «артефактов» и качества трансляции идиллических (равно и демонических) «кадров» прошлое может получить обобщающую оценку, а современность, согласно правилам утопии, станет новым «железным» веком.

В рамках новой волны русского рока космические нарративы «Мумий Тролля» были скорее исключением, нежели правилом. Речь идет, прежде всего, об «Инопланетном госте» («ты зашел бы сам в мир иной, друг дорогой?») и позднем «Космическом десантнике» («летаю по крышам, трогаю воздух, вхожу в стратосферу»). В композиции осуществляется рецессия к миру Полудня: романтический герой ненадолго оживает, чтобы назначить свидание с любимой у «межгалактических огней», так как это «проще», чем встречаться у метро или в соловьиной роще. В последний раз воскрешение героя происходит уже в ироническом ключе: некогда он был романтиком, но пришельцы забрали любимую – отныне персонаж стал кем-то вроде Дарта Вейдера, одержимого местью абстрактному врагу и экспансией галактик. Космос становится топосом романтики и мести, полярных и «слишком человеческих» отношений, бескрайней сценой драмы.

Реверсия к «советским» топосам в российской (и СНГ) музыке – это отдельная тема, содержащая массу примеров. Многие из них давно обобщены музыковедами в т. н. «ретровейв» и его частное направление «совьетвейв». Преимущественно воскрешением страны советов на российской сцене занимаются коллективы постпанка («Сова», «Перемотка», «Свидание», «ТеплоЭлектроЦентраль» и др.). Стоит оговориться, что «воскрешают» эти коллективы не конкретные советские исторические темы, а «вайб» ВИА с мягким и мелодичным инструменталом и особой, «доброй» поэзией. Каноническим примером лирики «новых добрых» можно считать трек «Совы» «Гроза»: «Отмеряю шагами этажи / Я сегодня живу и не тужу / Говоришь: “Минутку подожди” / Хорошо, не страшно, я подожду». На авансцену выходит лирический, милый и застенчивый рок-персонаж, поющий на балладный манер, без экстремальных вокальных приемов типа харша или гроулинга. Он в принципе не способен на месть, подлость, клевету или любого рода экзальтацию. По оценке Кристины Черновой, совьетвейв можно позиционировать как стратегии реанимации культурной памяти (2020, с. 91). Примеры игры на памяти поколений были в поп-музыке, – в частности, в клипе Тимы Белорусских «Витаминка». Сам исполнитель не обладал «советской» памятью, однако клипмейкеры воссоздали «советский» вайб комнаты с настенным ковром, старым телевизором и ретроконсолью. Чистая школьная влюбленность, без тени пошлости или кокетства, также работает на «советскую» атмосферу. Нечто похожее в визуальном плане попыталась сделать «Агата Кристи» в клипе «Секрет», за одним важным исключением – школа стала местом локальной

любовной драмы с жестокостью и детским садизмом. Хонтологическое «советское» в российской музыке XXI в. – это отнюдь не только школы или комнаты. Утопия «совьетвейв» распространяется на все топологии, от малых до великих.

Обращение к «ретро» может быть продиктовано различными обстоятельствами – спонтанной модой на музыкально-визуальные тренды, запросами целевых аудиторий, исполнительскими вкусами и предпочтениями и т. д. Одна из причин эксплуатации ремейков и семплирования (это справедливо во многом и для киноиндустрии) заключается в специфике культурной политики капитализма, извлекающего прибыль из устойчиво популярных форматов и идей (Хохлова & Хохлов, 2020, с. 52). На наш взгляд, ссылка на запросы капитализма отвечает на многие вопросы, но далеко не на все. В частности, с ее помощью еще хоть как-то можно объяснить мелодичный ретровейв “Kim & Buran” – инструментально-электронного коллектива, фактически специализирующегося на «космической» музыке. Их альбомы “Orbita”, “Tramplin” и «Мама» изданы в форматах лонгплеев, CD и кассет на одном популярном российском лейбле, имеющем выходы на международные рынки и зарубежных звезд. Труднее, апеллируя к капитализму, объяснить «поведение» коллектива «Артек Электроника». Группа ежегодно выпускает релизы и сотрудничает с так называемыми «инди»-исполнителями и группами. Тем более ссылка на капитализм не поможет в объяснении музыкальной политики «Уран-08», имеющих на стриминге «Яндекс» число прослушиваний в диапазоне от 6 до 30 в месяц. В целом, можно согласиться с Иваном Белецким в том, что «ретровейв» и «советская» волна, в частности, пытались воскресить «утопический советский импульс», угасший примерно с 80-х гг. прошлого века (2020, с. 47). Однако категоризация этой мысли привела бы к тому выводу, что все упомянутые и многие другие исполнители (Moskva-Kassiopeya, «ЛУЧ», «Протон-4», «Наукоград», некоторые композиции “Driada” и др.) работают на одну и ту же идею из прошлого. «Последний день в СССР» «Артек Электроника» открывался известной речью М. С. Горбачева о прекращении деятельности на посту руководителя Советского Союза и перемежался с обрывочными высказываниями первого и последнего президента СССР. Композиция эксплуатирует тему ностальгии у тех, кто помнит социальную политику Советского Союза и, тем более, склонен идеализировать ее. Однако значительное число композиций трудно назвать политическими: «И я, и ты вечность проведем с тобой», «Сны юного космонавта», «Звездный архитектор», «Догнать горизонт», «Новый дивный мир», «Утро. Любовь на кухне» предполагают широкий спектр топологий – от воображаемых и великих до малых, близких и родных. Звезды, горизонт, «вечные» солнце и море Крыма, «разная» Казань и, наконец, кухня создают топологический континуум. Композиции приглашают слушателя переступить границы собственного жилища и бытовых проблем, на мгновение ослабить кандалы

капитализма и рабочей рутины. При этом музыка «Артека» и других «ретровейв»-коллективов далека от революционных призывов и пропаганды. На это утверждение «работает» буквально все, от особенностей мягкого вокала без резких подъемов и экстремальных практик, до мелодизма семплов, голосов советских дикторов и синтезаторных партий. По-видимому, редким «экземпляром» нарративного «ретровейва» является «Новый дивный мир» «Артек Электроника». Название, хоть и отсылает к культовой антиутопии, намеренно меняет порядок слов – речь пойдет вовсе не о резервациях, инкубаториях и стимуляции психики, а о надежде на лучшее: «Капли на твоем лице / От дождя грибного / Мы построим новый мир / Без вражды и ссоры» / Путеводная звезда / Изредка сверкает / И ведут огни туда / В небе исчезая». Космический вайб старых синтезаторов и инструментала «В кольцах Сатурна» или «Ночной старт» («ЛУЧ») не случайно назван «ретрофутуризмом»: «совьетвейв» вдохновляется прошлым, указывая на иную аксиологию – мира, гармонии, простых человеческих отношений, дружбы и любви, ценность мгновения. Отвлеченное знание об этих ценностях и экзистенциальное самопроектирование в соответствии с ними, разумеется, являются глубоко различными вещами.

В нарративах «Артек», «ЛУЧ», “Kim & Buran” и «ретровейва» как такового заключается коренное отличие от других «новых дивных миров», будь то нейросетевые рэп-эксперименты “Norimyxxxo”, сатирическая поэзия “Louna” («мы мясные властелины лучшей из планет», «непрерывный и прекрасный ядерный рассвет») или классика от «Технологии» («программируя свой персональный рай, сделай так, чтоб всего было через край»). В случае с упомянутыми «дивными мирами», нарративы обличают и критикуют политические решения, потребительство, технологии, жажду прибыли и т. д. «Совьетвейв», в отличие от пафоса критиков, становится на позицию носителя надежды. Ее объектом, по известной оценке Э. Фромма, выступает «более полная жизнь», «жизненность», а не вещь (2022, с. 13). Однако технологическая природа «волны» существенно затрудняет обозначенную интенцию надежды и превращает ретро-эксперименты в локальные утопии.

Выводы

В контексте технокластера социальных сетей, а де-факто, по Г. Ловинку, платформ (2024) и стриминговых сервисов, алгоритмизации запросов и рекомендаций в совокупности с монетизацией и капитализацией интеллектуальной собственности продвижение музыки стало приоритетной задачей многих агентов индустрии – от самих музыкантов до лейблов и продюсеров. Стриминг технически существенно облегчает задачу презентации музыки и вместе с тем размещает ее в пространстве «похожих» исполнителей, обобщаемых алгоритмами. Композиция оказывается в «архиве» и потенциально становится ресурсом частных пользовательских «волн», четко не демаркиру-

ющих музыку. Последнее обстоятельство обусловлено самой онтологией волны – она не состоит из дискретных и статичных элементов, транспонируя энергию без переноса вещества. Не случайно, например, следующий трек на «Яндексе» «съедает» концовку предыдущего. В эти секунды треки причудливо смешиваются, порождая эффекты композиций без начала и конца. Схожий эффект воспроизвели уже упомянутые «Уран-08» в треке «Урановая пластинка 2», где на последних секундах ремикса «Звезды по имени Солнце» начинается «кашель» Винса Ланчини (Vince Lancini). Волновая онтология треков разрушает привычное позиционирование музыки, изоморфное визуальному искусству, – «композицию». У последней есть автор с его биографической легендой и генерацией идей, строение, этапы реализации, форма воплощения, претензия на уникальность и репрезентацию смысла. По иронии судьбы, поэтическая «музыка волн» (Виктор Цой) приобрела технологический смысл.

“Kim & Buran”, «ЛУЧ», “Moskva-Kassiopeya”, «Артек Электроника», «Протон-4», «Уран-08» и некоторые другие проекты продолжают идею советских монументальных топологий. Однако сегодня эти топологии безуспешно конкурируют с локальными и подвергаются волновому рассеянию. В логике постмодерна, который, по оценке С. Джеффриса, не сменился «мета», «пост-пост» или какими бы то ни было еще «модернами», рассеяние обусловлено имманенцией капитализма: «подрывное» и «маргинальное» переходит на сторону критикуемого и «официозного» только потому, что начинает играть по правилам рынка (2021, с. 12). Некая «глубокая» идея легко тиражируется и оказывается на поверхности. Последняя, по Джеффрису, в принципе предпочтительнее «глубины» – она превратилась в метафору, и о ней говорят с долей условности или иронии. Постмодернистский рынок побуждает высокое искусство и низкую культуру «осквернять друг друга в крепких объятиях» (2021, с. 138). Сказанное Джеффрисом распространяется и на топологические нарративы: музыкальный космос с солидным бюджетом (например, «Звезды» от “Uma2rman”) перемешан на платформах и стримингах с «Москвой», «Питером», «районами», «блоками» и другими локациями. «Совьетвейв», играющий на ностальгии, продуцирует хонтологическую «память» об эпохе, но фактически ничего об этом времени не знает. Собственно, эта «советская волна» сама встроена в логику рынка и стримингов.

В этой же постмодернистской логике уравнивание в контексте капитализма не означает тождества в плане репрезентаций – здесь работает механика различий и уникальности. В данном контексте уместно вспомнить известную постмодернистскую формулу «плюрализм = монизм» (Делез & Гваттари, 2010, с. 37). На стыке функционирования механизмов капиталистического мейнстрима и производства уникальности образуется продукт, обладающий уже «знакомыми» чертами и при этом отличающийся от ряда иных продуктов. Получается, что мы имеем дело как минимум с двумя форматами размножения. М. Буркхардт говорил об избыточности оригинала в ситуации

бесконтрольного размножения цифровых копий (2021, с. 170). Мы же имеем дело и с размножением способом незначительных рекомбинаций. «Совьетвейв» уникален, легко отличим от других волн и при этом является множеством, не лишенным гомогенизации. В эпоху господства «либидинальной» экономики (Фишер, 2024, с. 54) космос – это конкурирующая и «плоская» топология, лишенная былого иерархического статуса и вписанная в контекст таких же «плоских» онтологий. Ее место, в свою очередь, находится в стриминговых списках. Неслучайно список, или перечень, является репрезентантом новых онтологий (Богост, 2019). В фокусе пристального внимания капитализма теперь находятся данные – специфическое сырье, потеснившее традиционные ресурсы. Именно данные «учат» алгоритмы «правильной» работе (Хумарян, 2019, с. 171) и создают «волны» на основе множества исходных параметров. Именно поэтому алгоритмическая «волна» кажется очень знакомой. По сути, в искусстве было два этапа вейвмейкинга – исторически ранним процессом волнообразования стала концептуализация музыкальных феноменов с акцентировкой на сходствах стилистики, мелодики, инструментала и формата репрезентации. Актуальный и второй способ вейвмейкинга предлагают платформы, разрушая традиционную онтологию композиции.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста статьи — Дыдров А. А.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Abbate, C. (1989). What the Sorcerer Said. *19th-Century Music*, *12*(3), 221–230. https://doi.org/10.2307/746503

Kramer, L. (1991). *Music As Cultural Practice, 1800–1900*. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520354555

Maus, F. E. (1997). Narrative, Drama, and Emotion in Instrumental Music. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, *55*(3), 293–303. https://doi.org/10.2307/431799

Pederson, S. (1996). The Methods of Musical Narratology. *Semiotica-La Haye Then Berlin*, *110*, 179–196.

Shubina, A. (2022). Alisa Seleznëva, a Girl Alone in Outer Space: Rethinking Gender, Family and State in Late-Soviet Children's Science Fiction and Animation. *Studies in Russian and Soviet Cinema*, *16*(2), 141–158. https://doi.org/10.1080/17503132.2022.2052684

Белецкий, И. (2020). Будущее в прошедшем: Три сюжета об утопии и ностальгии в постсоветской музыке. В *Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки* (сс. 20–47). ИМИ.

Богост, Й. (2019). *Чужая феноменология, или Каково быть вещью?* Hyle Press.

Буркхардт, М. (2021). *Краткая история цифровизации*. Ад Маргинем Пресс.

Гребер, Д. (2020). *Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда*. Ад Маргинем Пресс.

Делез, Ж., & Гваттари, Ф. (2010). *Тысяча плато: Капитализм и шизофрения*. У-Фактория; Астрель.

Деррида, Ж. (2006). *Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал*. Logos-altera; Ecce homo.

Джеффрис, С. (2021). *Всё, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами*. Ад Маргинем Пресс.

Дренда, О. (2018). *Польская хонтология. Вещи и люди в годы переходного периода*. Ад Маргинем Пресс.

Дьяков, А. В. (2022). Призраки Деррида: Между дискурсом памяти и историей философии. *Вестник Северного (Арктического) Федерального Университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки*, *22*(5), 78–85. https://doi.org/10.37482/2687-1505-V208

Завриев, Н. (2024). *Планетроника. Популярная история электронной музыки*. Бомбора.

Ловинк, Г. (2024). *В плену у платформы. Как нам вернуть себе интернет*. Ад Маргинем Пресс.

Платон. (2007). Теэтет. В *Сочинения в 4 томах* (Т. 2, сс. 229–327). Издательство Санкт-Петербургского университета; Издательство Олега Абышко.

Рейнольдс, С. (2015). *Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого*. Белое Яблоко.

Соболева, М. Е. (2016). «Знание» и «мнение»: Платон против Геттиера. *Вопросы философии*, (2), 158–167.

Федосов, Е. А. (2023). Идеологема «космос» в образах советской визуальной пропаганды 1957-1965 гг. *Новейшая история России*, 13(1), 200–218. https://doi.org/10.21638/spbu24.2023.112

Фишер, М. (2024a). *Посткапиталистическое желание. Последние лекции*. Ад Маргинем Пресс.

Фишер, М. (2024b). *К-punk. Избранное*. Ад Маргинем Пресс.

Фромм, Э. (2022). *Революция надежды*. АСТ.

Хохлова, Д., & Хохлов, Н. (2020). «Советский Союз не развалился»: Ретромания, постирония и ностальгия в российской популярной музыке. В *Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки* (сс. 48–79). ИМИ.

Хумарян, Д. (2019). «Капитализм платформ» Ника Срничека: Кризис—Реакция—Бум—Кризис—И снова реакция. *Экономическая социология*, 20(3), 164–179. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2019-3-164-179

Чернова, К. (2020). Советская волна: Ностальгия и практики конструирования утопии. В *Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки* (сс. 80–101). ИМИ.

References

Abbate, C. (1989). What the Sorcerer Said. *19th-Century Music*, 12(3), 221–230. https://doi.org/10.2307/746503

Beletsky, I. (2020). The future in the past: Three plots on utopia and nostalgia in post-Soviet music. In *New Criticism: Contexts and Meanings of Russian Pop Music* (pp. 20–47). Institute of Musical Initiatives. (In Russian).

Bogost, I. (2019). *Alien Phenomenology, or What It's Like to Be a Thing*. Hyle Press. (In Russian).

Burckhardt, M. (2021). *A Brief History of Digitalization*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Chernova, K. (2020). Soviet wave: Nostalgia and practices of constructing utopia. In *New Criticism: Contexts and Meanings of Russian Pop Music* (pp. 80–101). Institute of Musical Initiatives. (In Russian).

D'yakov, A. V. (2022). Ghosts of Derrida: Between the Discourse of Memory and the History of Philosophy. *Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series Humanitarian and Social Sciences*, 22(5), 78–85. https://doi.org/10.37482/2687-1505-V208 (In Russian).

Deleuze, G., & Guattari, F. (2010). *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. U-Faktoriya; Astrel. (In Russian).

Derrida, J. (2006). *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International*. Logos-altera; Ecce Homo. (In Russian).

Drenda, O. (2018). *Duchologia polska: Things and People in the Years of Transition*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Fedosov, E. A. (2023). The "Space" Ideologeme in the Soviet Visual Propaganda of 1957–1965. *Modern History of Russia*, 13(1), 200–218. https://doi.org/10.21638/spbu24.2023.112 (In Russian).

Fisher, M. (2024a). *Postcapitalist Desire: The Final Lectures*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Fisher, M. (2024b). *K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Fromm, E. (2022). *The Revolution of Hope*. AST. (In Russian).

Graeber, D. (2020). *Bullshit Jobs: A Theory*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Jeffries, S. (2021). *Everything, All the Time, Everywhere: How We Became Postmodern*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Khokhlova, D., & Khokhlov, N. (2020). "The Soviet Union did not collapse": Retromania, post-irony, and nostalgia in Russian popular music. In *New Criticism: Contexts and Meanings of Russian Pop Music* (pp. 48–79). Institute of Musical Initiatives. (In Russian).

Khumaryan, D. (2019). Nick Srnicek's Platform Capitalism: Crisis — Response — Boom — Crisis — and Response Again. What Do We Know About the Digital Economy? Book Review: Srnicek N. (2019) Kapitalizm Platform [Platform Capitalism] (Russian Transl. by Maria Dobryakova), Moscow: HSE Publishing House (in Russian). 128 pp. *Journal of Economic Sociology*, 20(3), 164-179. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2019-3-164-179 (In Russian).

Kramer, L. (1991). *Music As Cultural Practice, 1800–1900*. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520354555

Lovink, G. (2024). *Stuck on the Platform: Reclaiming the Internet*. Ad Marginem Press. (In Russian).

Maus, F. E. (1997). Narrative, Drama, and Emotion in Instrumental Music. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 55(3), 293–303. https://doi.org/10.2307/431799

Pederson, S. (1996). The Methods of Musical Narratology. *Semiotica-La Haye Then Berlin*, 110, 179–196.

Plato. (2007). Theaetetus. In *Works in 4 vols.* (Vol. 2, pp. 229–327). St Petersburg University Press; Oleg Abyshko Publishing House. (In Russian).

Reynolds, S. (2015). *Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past*. Beloe Yabloko. (In Russian).

Shubina, A. (2022). Alisa Seleznëva, a Girl Alone in Outer Space: Rethinking Gender, Family and State in Late-Soviet Children's Science Fiction and Animation. *Studies in Russian and Soviet Cinema*, 16(2), 141–158. https://doi.org/10.1080/17503132.2022.2052684

Soboleva, M. E. (2016). "Knowledge" and "Opinion": Plato against Gettier. *Voprosy Filosofii*, (2), 158–167. (In Russian).

Zavriev, N. (2024). *Planetronics: A Popular History of Electronic Music*. Bombora. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Исследования кинематографа и массовой культуры | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.752

Is a Metamodern Horror Film Possible?

Denis D. Chumakov

National Research University Higher School of Economics (HSE University). Moscow, Russia.
Email: dchumakov[at]hse.ru ORCID https://orcid.org/0009-0006-9069-692X

Received: 29 March 2026 | Revised: 15 April 2026 | Accepted: 23 April 2026

Abstract

This article examines the applicability of metamodernism as a theoretical framework for the analysis of contemporary horror cinema. It remains unclear whether metamodernism possesses sufficient analytical rigor for interpreting horror films or whether it represents a set of fragmented and weakly formalized intuitions. Particular attention is paid to the question of whether metamodernism can replace postmodernism as the dominant model for describing cultural sensibility in cinema and account for the development of the genre in the twenty-first century. The aim of the study is to critically assess the potential of metamodernism in relation to horror cinema and to identify the limitations of its application to empirical material. The findings demonstrate that, in contrast to postmodernism which is characterized by a stable set of formal and narrative features and a well-developed analytical framework, metamodernism does not constitute a coherent theoretical system. Its application to specific films appears fragmented and largely dependent on the researcher's subjective interpretation, making it difficult to establish consistent criteria for identifying metamodern horror. The study concludes that, at this stage, metamodernism cannot be regarded as a fully developed alternative to postmodern analytical models, although it remains valuable as an indicator of shifts in contemporary cultural sensibility. The article is intended for scholars of film studies, cultural theory, and contemporary horror.

Keywords

Horror Studies; Horror Film; Postmodernism; Postpostmodernism; Metamodernism; Structure of Feeling; Oscillation; Superposition; Torture Porn; Slasher Film

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Denis D. Chumakov

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Cinema and Popular Culture Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.752

Возможен ли метамодернистский хоррор-фильм?

Чумаков Денис Дмитриевич

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Москва, Россия. Email: dchumakov[at]hse.ru ORCID https://orcid.org/0009-0006-9069-692X

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 15 апреля 2026 | Принята: 23 апреля 2026

Аннотация

В статье рассматривается проблема применимости метамодернизма как теоретической оптики для анализа современного хоррор-кинематографа. Остается неясным, обладает ли она достаточной аналитической строгостью для интерпретации фильмов ужасов или же представляет собой совокупность разрозненных и слабо формализованных интуиций. Особое внимание уделяется вопросу о том, может ли метамодернизм заменить постмодернизм как доминирующую модель описания культурной чувствительности в кино и отражать специфику развития жанра в XXI веке. Цель исследования — критически оценить потенциал метамодернизма применительно к хоррор-фильмам и выявить ограничения его использования на эмпирическом материале. В результате показано, что, в отличие от постмодернизма, обладающего устойчивым набором формальных и нарративных характеристик и разработанным аналитическим аппаратом, метамодернизм не формирует целостной теоретической системы. Его применение к конкретным фильмам оказывается фрагментарным и во многом зависит от субъективной интерпретации исследователя, что затрудняет выделение устойчивых критериев метамодернистского хоррора. Сделан вывод о том, что метамодернизм на данном этапе не может рассматриваться как полноценная альтернатива постмодернистской модели анализа, однако представляет интерес как индикатор изменений культурной чувствительности. Статья адресована исследователям кино, культурной теории и современного хоррора.

Ключевые слова

исследования хоррора; хоррор-фильм; постмодернизм; постпостмодернизм; метамодернизм; структура чувства; осцилляция; суперпозиция; пыточное порно; слэшер-фильм

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Чумаков Денис Дмитриевич

Введение

В 2024 году в издательстве Эдинбургского университета вышла книга «Метамодернистский слэшер-фильм». Ее автор, Стив Джонс, специалист по исследованиям хоррора (“horror studies”), известен в первую очередь своими работами о «пыточном порно» (“torture porn”) — одном из субжанров фильмов ужасов, сформировавшихся в XXI веке[1]. В «Метамодернистском слэшер-фильме» Джонс продолжает попытки концептуализировать современные явления в хорроре, но берется за куда более неоднозначную тему, чем еще один хоррор-субжанр.

Следует отметить, что с формальной точки зрения книга обладает значительными достоинствами. Александр Павлов пишет, что

> «в то время как многие следуют конвенциональным методологиям (психоанализ, гендерный анализ, постгуманизм и т. д.), а также известному эмпирическому материалу ..., Джонс очень хорошо осваивает именно эмпирический материал и вместо того, чтобы в очередной раз обсудить психоанализ и гендер, пытается применить инновационную теоретическую оптику анализа» (Павлов, 2024, с. 8).

Действительно, как и в своей предыдущей книге («Пыточное порно: Популярный хоррор после “Пилы”») Джонс чрезвычайно бережно обращается с эмпирикой — фильмами. Монография выделяется широким набором киноматериала, где анализу подвергается не только известное кино с широким прокатом по типу «Счастливого дня смерти» (Happy Death Day, 2017, режиссер Кристофер Лэндон), ремейка «Хэллоуина» (Halloween, 2018, режиссер Дэвид Гордон Грин), «Топора» (Hatchet, 2006, режиссер Адам Грин), но и нишевое кино — «Резня чуваков на братской вечеринке» (Dude Bro Party Massacre III, 2015, режиссеры Томм Якобсен, Майкл Руссле, Джон Сэлмон)), «Я сюда не помирать приехал» (I Didn’t Come Here to Die, 2010, режиссер Брэдли Скотт Салливан), «Тюрьма обреченных» (KillerKiller, режиссер Пэт Хиггинс, 2007) и т. д. Более того, в книге даже упоминается современный российский фильм ужасов — «Путевой обходчик» (режиссер Игорь Шавлак, 2007) — тоже не очевидный и не мейнстримный.

Однако наиболее спорным аспектом этой книги остается оптика — метамодернизм. Как заявляет сам автор: «Это первая монография, в которой кино рассматривается последовательно с использованием метамодернизма, и первая научная работа, в которой хоррор-фильмы анализируются через призму метамодерна» (Jones, 2024, p. 3). По той причине, что даже комплексная и развернутая аргументация Джонса о существовании (или даже доминировании) метамодернистского хоррора сегодня по меньшей мере вызывает сомнения, а часто и вовсе оказывается теоретически уязвимой, в этой статье

1 «Пыточное порно» — субжанр фильмов ужасов, для которого характерен фокус на персонажей, тело которых подвергается длительным, зрелищным и изощренным формам пытки.

будут проанализированы основные сложности рассмотрения того или иного фильма через линзу метамодернизма. При этом отметим, что, избегая формата рецензии, мы все равно будем вынуждены многократно обращаться именно к книге Стива Джонса, поскольку на сегодняшний день она остается главным и наиболее систематизированным примером применения метамодернистской теории к эмпирическому материалу.

Хотя основной исследовательский вопрос данной статьи уже вынесен в ее название («Возможен ли метамодернистский хоррор?»), хотелось бы пояснить, что под ним скрывается более фундаментальное сомнение: справедлив ли тезис о том, что постмодернизм больше не соответствует господствующей культурной чувствительности, а наиболее уместная альтернатива — метамодернизм? Иными словами, можем ли мы говорить о том, что метамодернизм принципе операционализируем в применении к фильмам ужасов или понятие слишком расплывчато, чтобы быть аналитически полезным?

Для ответа на поставленные вопросы сначала мы изложим концепцию метамодернизма, объявленную культурной парадигмой так, как его представляют теоретики концепции. Затем мы продемонстрируем применение постмодернизма к эмпирическому материалу для того, чтобы показать то, как оказывается конвенционально возможным отражение масштабной культурной парадигмы в анализе кинохоррора. Кроме того, поскольку теоретики метамодернизма утверждают, что именно он приходит на смену постмодернизму, нам необходимо достаточно точно и подробно реконструировать логику функционирования постмодернистского фильма (если таковой существует), чтобы было возможным проследить динамику кинопроцесса. Наконец, мы рассмотрим то, каким образом метамодернизм применяется к конкретным фильмам, а также то, какие методологические проблемы сопутствуют этому подходу.

Заранее разграничим несколько уровней анализа, которые в данной статье будут последовательно соотноситься, но не отождествляться. Первый уровень — критика метамодернизма как общей культурной теории и ее аналитических возможностей. Второй — критика реализации этой теории применительно к хоррор-кинематографу, представленной прежде всего в работе Стива Джонса. Поскольку Джонс — единственный автор, который посвятил отдельную монографию применению метамодернистской концепции к хоррору, именно его работа составляет основной эмпирический фокус настоящего исследования. Третий уровень — рассмотрение потенциала метамодернизма как устойчивой аналитической категории применительно к фильмам ужасов. Эти уровни взаимосвязаны, однако ни критика Джонса не тождественна критике метамодернизма в целом, ни недостатки теории не предрешают автоматически несостоятельность ее эмпирических применений в дальнейшем. Выводы о применимости метамодернизма к хоррор-кинематографу в более широком смысле следует считать предвари-

тельными: они намечают проблематику, требующую дальнейшей разработки на расширенном корпусе теоретических источников и кинематографического материала.

Теоретические основания метамодернизма

«На сегодняшний день из всех упомянутых концепций метамодернизм является наиболее успешным вариантом постпостмодернизма» — пишет Александр Павлов (2023, с. 396). Действительно, хотя метамодернизм и не монополизировал дискурс постпостмодернизма, о нем приходится слышать намного чаще, чем об альтернативных проектах: перформатизме, гипермодернизме, автомодернизме, диджимодернизме, альтермодернизме, реновализме и многих других. Истоки становления понятия в его современном виде можно найти в статье философа Робина ван ден Аккера и теоретика медиа Тимотеуса Вермюлена «Заметки о метамодернизме» 2010 года (Vermeulen & van den Akker, 2010). Эссе выступает в качестве попытки зафиксировать изменения культурной чувствительности после истощения едкой иронии постмодернизма, тотального релятивизма и доминирования пастиша — того, что Фредерик Джеймисон описывает как «бесцельную пародию», то есть имитацию уникального, лишенную сатирического импульса (2019, с. 110). Вместо этого теоретики предлагают обратить внимание на «структуру чувства»[1] (“structure of feeling”). Хотя ван ден Аккер и Вермюлен достаточно вольно обращаются с термином Реймонда Уильямса, истолковывая его так, как удобно для их концепции (Павлов, 2023, с. 405), проявим благожелательность к тексту и рассмотрим логику авторов.

Ключевой методологической категорией метамодернизма является осцилляция, то есть маятниковое колебание между модернистскими и постмодернистскими стратегиями. В данном случае речь идет о непрерывном движении между полюсами. Вероятно, самыми значимыми здесь оказываются колебания между модернистским энтузиазмом (или искренностью) и постмодернистской иронией (или цинизмом), но можно привести практически бесконечное количество подобных оппозиций: наивность и осведомленность, единство и множественность, эмпатия и апатия, целостность и фрагментация и многие другие. По определению такое движение мыслится постоянным, поскольку полюса не синтезируются, а всегда находятся в состоянии напряженного сосуществования.

Иными словами, на данных примерах становится более понятно, что ван ден Аккер и Вермюлен в большей степени сконцентрированы на чувствительности, чем на формировании строгой онтологии или эстетики. Метамодернистский тип чувствительности способен смещаться к одному,

1 В разных работах Реймонд Уильямс мог менять определение термина. В «Долгой революции» Уильямс пишет: «Структура чувства — это культура определенного времени: особый живой результат взаимодействия всех элементов общей организации» (Williams, 2019, p. 48).

когда другого становится слишком много, и наоборот. В этом смысле «мета», которое вынесено в название парадигмы — это скорее не «после» или «над», а «между» или «сквозь» — между разными культурными логиками.

Среди остального теоретического аппарата, который используют метамодернисты, можно также выделить «прагматический идеализм» (“pragmatic idealism”) и «информированную наивность» (“informed naivety”). Эти концепты скорее выполняют иллюстративную функцию. Они направлены на то, чтобы продемонстрировать логику осцилляции. Первая показывает, что идеализм не отвергается, а становится прагматическим и более осознанным, рефлексивным: надежда и вера уравновешиваются пониманием ограничений и рисков. Абсолютные цели трансформируются в мотивацию действий так, «как если бы» (“as if”) эти цели были достижимы (Vermeulen & van den Akker, 2010, p. 2). В продолжение этой логики позднее Люк Тернер написал, что «существование обогащается, если мы приступаем к выполнению своей задачи так, как если бы (“as if”) пределы могли быть превышены, ибо такие действия раскрывают мир» (Turner, 2011). Вторая категория означает возвращение к модернистским «великим нарративам», но с полным пониманием их ограничений и принципиальной недостижимости их реализации.

Авторы последующих работ (Эллисон Гиббонс, Николин Тиммер и др.) продолжили разработку интуиций Вермюлена и ван ден Аккера через попытки выявления повторяющихся, но не строго кодифицированных характеристик метамодернистской чувствительности: аффективной искренности вместо цинизма, новой этики эмпатии и «радикальной беззащитности», постиронии и неоромантизма. Так корпус метамодернистских текстов расширялся, но сохранял свою разрозненность и фрагментарность, что в нашем случае особенно проявится в оценке аналитического потенциала оптики.

Постмодернистский хоррор-фильм

Вермюлен и ван ден Аккер утверждают, что «постмодерн — это всего лишь броская фраза для обозначения множества противоречивых тенденций, «модное словечко» для множества непоследовательных чувств» (2010, p. 4). Известный исследователь хоррора Эндрю Тюдор вводит свой термин для описания постмодернистского хоррора второй половины XX века — «параноидальный хоррор» (paranoid horror) (Tudor, 2002, p. 115). Но, по его мнению, термин не так важен, потому что автор согласен с основными представлениями о хорроре, которые выдвигают основоположники концепции постмодернистских фильмов ужасов.

О постмодернизме в хорроре пишут очень много и с разных сторон. Например, Линда К. Чериэлло и Грег Дембер утверждают, что для постмодернистских фильмов ужасов «характерно отсутствие “голливудских концовок”», вместо этого «они предпочитают истории, которые оставляют вопросы без ответа» (Ceriello & Dember, 2019, p. 45). Эндрю Сайдер пишет, что «исполь-

зование саморефлексии и интертекстуальности в постмодернистских фильмах ужасов явно обнажает и демистифицирует риторическую природу репрезентаций неизвестного, побуждая зрителей воспринимать монстра/неизвестное как вымышленную конструкцию, которая может существовать только в языке» (Syder, 2002, p. 85).

Для хоррора и жанрового фильма в целом основные постмодернистские проявления заключены в метатекстуальности и жанровой гибридизации. Однако и это исследователи оценивают по-разному. Так, Тодд Ф. Титхен утверждает, что метатекстуальность создает опосредованную репрезентацию, а «поток визуальной информации дестабилизируется» (Tietchen, 1998, p. 103).

Поскольку мы говорим о метамодернизме — концепции, которая пытается объяснить чувствительность начала XXI века, — для иллюстрации жанровой гибридизации мы можем обратиться к «пыточному порно», субжанру, который некоторые авторы называют самым успешным явлением в хорроре 2000-х годов (Reyes, 2012, p. 244). Например, в «Хостеле» (“Hostel”, 2005, режиссер Элай Рот) каждая треть радикально отличается по жанру: фильм начинается как молодежная секс-комедия по типу «Евротура» (EuroTrip, 2004, режиссер Джефф Шаффер, Алек Берг, Дэвид Мэнделл), затем становится хоррором, а заканчивается как шпионский экшен-триллер, близкий к «Идентификации Борна» (The Bourne Identity, 2002, режиссер Даг Лайман). Завязка «Хостела 3» (Hostel: Part III, 2011, режиссер Скотт Шпигель) ничем не отличается от завязки комедии «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, 2009, режиссер Тодд Филлипс). «Любимые» (The Loved Ones, 2009, режиссер Шон Бирн) — gore-хоррор, наполненный визуальными гэгами и нарративными элементами из молодежных комедий о выпускном, а «Изгнанные дьяволом» (The Devil’s Rejects, 2005 режиссер Роб Зомби) — это и хоррор, и криминальная драма, и семейная комедия, и роуд-муви, которое то отсылает к дешевым эксплуатационным фильмам 1970-х, то к «Бонни и Клайду» (Bonnie and Clyde, 1967, режиссер Артур Пенн). В то же время фильмы франшизы «Пила» примерно в равной степени отсылают к триллерам, полицейским процедуралам и хоррорам.

В свою очередь, метатекстуальный аспект постмодернистского хоррора подробно описывает Сотирис Петридис, характеризуя такие фильмы ужасов как самореферентные. По его определению их самореферентность «направлена на то, чтобы выдвинуть на передний план повествования процесс производства фильмов, вопрос об их творческом статусе, их интертекстуальном влиянии или их восприятии аудитории» (Petridis, 2019, p. 106–107). Другое определение метатекстуально ориентированного хоррор-фильма говорит о том, что это фильм, «уникальность которого проистекает из того факта, что несмотря на то, что он составлен из фрагментов предыдущих текстов, они переосмыслены для создания набора пересмотренных эстетических и повествовательных характеристик жанра» (Pheasant-Kelly, 2015, p. 149). Иными

словами, постмодернистским хоррором можно считать фильм ужасов, в рамках мира которого фильмы ужасов существуют и являются факторами, влияющими на действия персонажей фильма.

Эдвин Пэйдж, помимо уже упомянутых пунктов, выводит еще несколько особенностей постмодернистского кинематографа.

Первый признак — это «стирание моральных границ» (Page, 2005, p. 19). В постмодернистском фильме традиционная и понятная бинарная оппозиция хорошего и плохого теряет свою устойчивость. В этом случае Изабель Пинедо добавляет, что постмодернистский хоррор характеризуется «размытием границ добра и зла» (1997, p. 14).

Второй — «склонность к фрагментарному повествованию» (Page, 2005, p. 20). Та же Пинедо описывает этот процесс как «отказ от завершенности повествования в соответствии с нестабильной, параноидальной вселенной» (1997, p. 14). То есть нарратив начинает допускать лакуны и неопределенности.

Третий — «отсутствие различия между так называемым “высоким” и “низким” искусством» (Page, 2005: 20). Об этом также пишет и М. Кит Букер, упоминая, что именно эта особенность постмодернизма открыла возможность популярной культуры приобрести новое значение в мире (2007, p. XVI).

Совокупность всех этих особенностей формирует устойчивый, подробный и конкретный профиль постмодернистского хоррора. Постмодернистская модель анализа оказывается продуктивной и полезной для исследования. Классическим примером постмодернистского хоррора является фильм «Крик» (Scream, 1996, режиссер Уэс Крейвен). В «Крике» все жанровые конвенции становятся предметом обсуждения внутри повествования: персонажи знают правила выживания в слэшере, осознают свою включенность в хоррор- нарратив и действуют с учетом этих знаний. Как добавляют Линда К. Чериэлло и Грег Дембер «постмодернистский фильм ужасов сочетает в себе дань уважения и скрытую насмешку над традиционными для жанра клише, на которые раз за разом попадаются герои» (2019, p. 45). «Крик» также привносит ироническую дистанцию и умело сочетает жанры: хоррор и комедию. Поэтому Стивен Уэст отмечает, что «Крик» стал тем фильмом, который «ввел термин “постмодернистский” в киножурналы» (2019, p. 27). Автор подразумевает, что именно «Крик» легитимизировал обсуждение постмодернизма в контексте кинематографа.

Мы можем заметить, что постмодернистский хоррор представляет четкую систему со своим обширным корпусом фильмов; тем интереснее попытаться определить, что может представлять собой метамодернистский хоррор-фильм.

Метамодернизм и кинематограф

Еще в своей программной статье Вермюлен и ван ден Аккер признают, что их размышления о метамодернизме представляют скорее «серию взаимо-

связных наблюдений, а не единое направление мысли» (2010, p. 2). Попыткой компенсировать эту проблему, предложив содержательный компонент вместо разрозненных тезисов, стала книга «Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма». Речь идет о сборнике под редакцией самих Вермюлена и ван ден Аккера, где они написали введение. Впрочем, в нем авторы скорее еще раз напоминают о том, что «постмодернистская лексика все больше демонстрирует неспособность справиться с изменившейся социальной ситуацией» (ван ден Аккер и Вермюлен, 2020, с. 36), чем добавляют какие-то новые содержательные тезисы.

Таким образом, метамодернизм с самого начала описывается не как строго оформленная теория, а как особая «структура чувства», характеризующая современную культуру. Концепция скорее описывает культурные сдвиги метафорическим языком, чем предлагает четкие дефиниции и тезисы. Александр Павлов также отмечает в качестве одной из основных проблем то, что «авторы выбирают тактику уклонения от определения содержательного компонента» (Павлов, 2023, с. 399). Избегание конкретики, вероятно, помогло популяризации метамодернизма, но сделало его уязвимым.

Изначально заложенная пустота содержательной программы оказывается заметна при попытках применения метамодернистской оптики к эмпирическому материалу. Практически каждое обращение любых последователей теории к тем или иным культурным артефактам вынуждает их использовать новые опосредующие термины. Для того, чтобы приписать к парадигме автора «Бесконечной шутки», писателя Дэвида Фостера Уоллеса, используют «новую искренность» (New Sincerity) (Gutiérrez Echeverría, 2024: 219–220), а для кинематографа Уэса Андерсона и Мишеля Гондри кинокритик Джеймс Макдауэлл вводит термин “quirky”[1] (Макдауэлл, 2020: 69). При этом сам Макдауэлл признает, что само по себе такое «чувствование» в кино не является чем-то принципиально новым. Сегодня даже основные “quirky”-авторы уже начинают выдыхаться. Последний игровой полнометражный фильм Спайка Джонса («Она» (Her, 2013) вышел больше 10 лет назад; Уэс Андерсон продолжает активно снимать кино, но последние два его фильма не стали кассово успешными («Город Астероидов» (Asteroid City), 2023; «Финикийская схема» (The Phoenician Scheme), 2025). Остается не очень понятно, в чем тогда заключается связка “quirky” как описательной конструкции с метамодернизмом, если, во-первых, такое кино существовало и до, а во-вторых, такое кино не доминирует сегодня и не является востребованным.

Кинематограф как искусство вполне продуктивно может сочетаться с манифестами. Обычно они очень конкретны и понятно реализуемы, то есть в них есть хотя бы что-то похожее на шаги, которым можно следовать. В конце

1 “Quirky” — один из типов чувствительности в кинематографе, продиктованных присущей метамодерну «структурой чувства» (Макдауэлл, 2020, с. 73). Например, относительно фильмов упомянутых Уэса Андерсона и Мишеля Гондри он означает ориентацию на «воспроизведение детского простодушия в мире взрослых циников» (Павлов, 2023, с. 398).

концов, когда есть какие-то руководства к действию, с ними даже возможно случайное совпадение. Так, известен манифест, написанный специально для кинематографа за последние десятилетия — манифест движения «Догма 95» за авторством датских режиссеров Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга. В этом случае практически понятен и реализуем абсолютно каждый пункт. Среди них есть следующие:

- «Съемки должны происходить на натуре…
- Фильм не должен содержать мнимого действия (убийства, стрельба и тому подобное не могут быть частью фильма)
- Сюжеты, где действие происходит в другой стране или другую эпоху, запрещены (действие должно происходить здесь и сейчас)
- Жанровое кино запрещено» (Цыркун, 2020).

И если текст Вермюлена и ван ден Аккера можно назвать манифестом лишь условно, то в 2011 году Люк Тернер написал настоящий манифест метамодернизма (Turner, 2011). Ясно, что он не делает это специально для кинематографа или для какого-либо другого вида искусства, но сам формат текста предполагает хотя бы какую-то позитивную программу. Однако восемь пунктов Тернера все также не дают дополнительной практической ясности. Содержание этого манифеста в полной мере отражает его завершающая фраза: «Мы должны идти вперед и осциллировать!» (Ibid). Иными словами, в нем мы вновь можем прочитать риторически насыщенные, но содержательно слабо операционализируемые тезисы, а также вспомнить, что осцилляция это важно («1. Мы признаем осцилляцию естественным порядком вещей в мире», «3. Отныне движение будет осуществляться посредством колебаний (oscillation) между позициями» (Ibid)).

И именно тут оказывается полезна и интересна книга Стива Джонса. Никто не пытался настолько системно использовать метамодернизм как методологию на таком объеме эмпирического материала. Разбор постмодернистского фильма в предыдущем разделе был необходим именно для того, чтобы показать, что мы приблизительно понимаем, что это такое, какие у подобного фильма особенности, тогда как подобную попытку с применением метамодернизма проделал только лишь Стив Джонс.

Метамодернистский хоррор-фильм?

Монография Джонса состоит из 9 глав, сгруппированных в три тематических блока. Первые три главы посвящены фундаментальным вопросам соотношения метамодернизма, знания и реальности; главы с четвертой по шестую предлагают анализ способов переосмысления устоявшихся жанровых конвенций в метамодернистском стиле; заключительные три главы сфокуси-

рованы на трансформации временного измерения слэшера и его отношения к собственной истории и наследию.

Аргументация Джонса направлена на то, чтобы поставить под вопрос представление о нынешнем этапе развития субжанра как об «эре ремейков» (Jones, 2024, p. 6). Похожий тезис выдвигал не только Джонс. Например, недавняя книга Лоры Ми, «Реанимированные. Современные ремейки американского хоррора» (Mee, 2022), тоже выступает в качестве апологии современного периода развития хоррора. Как пишет Александр Павлов, Ми «выдает ремейкам большой кредит доверия, полагая, что они занимают важнейшее место в жанре» (2023, с. 232).

Вернемся к Джонсу; на протяжении всей книги он противопоставляет циничный (постмодернистский) слэшер прошлого искреннему (метамодернистскому) слэшеру XXI столетия. Отметим, что через год после монографии о метамодернистском хорроре, в 2025 году, Джонс выпустил книгу «Постмодернистский слэшер-фильм», в которой продолжил разрабатывать концепцию постмодернистского хоррора (Jones, 2025).

Оговоримся, что внимание к слэшеру в данной работе обусловлено не только тем, что этот субжанр является центральным объектом в наиболее разработанной версии метамодернистского хоррора — версии Стива Джонса. Важно, что слэшер — показательный аналитический случай. Он обладает наиболее устойчивым и подробно описанным набором жанровых конвенций и поэтому оказывается особенно чувствительным к теоретическим вмешательствам. Если метамодернизм не способен предложить работающую аналитическую рамку применительно к субжанру с настолько хорошо известной жанровой структурой, это свидетельствует о более глубокой проблематичности парадигмы.

Согласно Джонсу, ключевым культурным сдвигом начала столетия оказывается отказ от ироничного, обращенного на самого себя фаталистического цинизма постмодернистского слэшера в пользу искренности. При этом предполагается, что метамодернистский фильм не отказывается от иронии, но использует ее инструментально — как средство передачи искренних, аффективно значимых сообщений. В этом смысле Джонс строго следует за Вермюленом и ван ден Аккером. Главным оказывается движение от фатализма постмодернизма к оптимизму перед лицом кризиса, акценту на переживаемом опыте. Именно аффективная и эмоциональная переориентация, а не формальные или нарративные инновации становятся для автора маркером метамодернистского сдвига.

Перед тем как рассмотреть аргументацию Джонса, заметим, что были и другие авторы, которые писали о метамодернистском хорроре. Например, Линда К. Чериэлло и Грег Дембер рассматривают «Хижину в лесу» (Cabin in the Woods, 2011, режиссер Дрю Годдард) в качестве примера метамодернистского фильма ужасов. Авторы утверждают, что фильм Годдарда отлича-

ется «свойственным метамодернизму переплетением или сочетанием различных эпистемологических представлений о реальности» (Ceriello & Dember, 2019, p. 46) и не поддается постмодернистской трактовке.

Теперь рассмотрим подробнее аргументацию Джонса на примере кейс-стади. Самые подробные разборы мы можем наблюдать в главе об эпистемологии на материале фильмов «Грибы» (Shrooms, 2007, режиссер Пэдди Брэтнек) и «Треугольник» (Triangle, 2009, режиссер Кристофер Смит). Признаем, что это на самом деле внимательный анализ двух не самых популярных фильмов ужасов.

Джонс утверждает, что постмодернистские слэшеры, как правило, используют эпистемологическое выравнивание для сокрытия информации от зрителя, а метамодернистские фильмы обращаются к тому же приему, но для создания сопричастности опыту главных героев, а также акцентирования их экзистенциальной уязвимости в условиях нестабильности. В обоих случаях мы можем говорить об ограничениях знания, но, по мнению автора, в одном наблюдается манипуляция зрительскими ожиданиями, а в другом — эмпатическое сближение с персонажами. Здесь и далее Джонс иллюстрирует практически каждый свой значимый тезис через развернутый разбор одного фильма. Даже опуская тот факт, что доказательная база нововведений, как минимум, вызывает сомнения, мы видим доказательство того, что субъективная точка зрения является единственным источником знания именно и только на примере «Грибов». Мы также видим, что субъективность является основой жизненного опыта исключительно на примере «Треугольника».

Так появляются четыре значимые проблемы. Во-первых, предполагается, что метамодернизм должен быть каким-то объединяющим материал принципом, а не набором случайных разрозненных характеристик. При этом каждый фильм, который разбирает Джонс, соответствует лишь одному конкретному тезису метамодернизма и не подходит для всех остальных. Метамодернизм в этом случае оказывается набором разрозненных интуиций, а не концепцией.

Во-вторых, концентрация лишь на одном примере в каждом случае наводит на мысль, что другого фильма, на который бы также хорошо ложилась метамодернистская аргументация, просто не найти. Особенно странно это выглядит, если обратиться к работам автора *не* о метамодернизме — в них Джонс всегда использует крайне большой объем эмпирики.

В-третьих, Джонс то и дело противопоставляет фильмы из своей выборки ограниченному канону постмодернистского кино, как будто забывая все, что было сделано в слэшере кроме этого. Многие из примеров, которые приводит Джонс, выглядят отличными лишь от очень ограниченной выборки строго постмодернистского слэшера, чего не скажешь при их сравнении с каноном субжанра.

В-четвертых, Джонс по своему усмотрению трактует абсолютно одинаковые киноприемы как «плохие» (постмодернистские) и «хорошие» (метамодернистские). На материале «Треугольника» и «Грибов» мы видим это на примере эпистемологии и ограничения знания зрителя о личности убийцы. Ограниченность знания в метамодернистском фильме делает полученные знания особенно ценными, потому что «они глубоко личностны и переплетены с нашим фундаментально эмоциональным эмпирическим состоянием» (Jones, 2024, p. 42). Со своей стороны, по мнению автора, ограниченность знания в постмодернистском хорроре всего лишь сводится к «игре в детектива», в которой нужно разгадать кто является убийцей (Ibid, p. 44). Джонс использует этот прием систематически. Так, он утверждает, что постмодернистский хоррор постоянно напоминает зрителю о «фиктивности конструкции», тогда как метамодернистский помогает зрителю «игриво принять абсурдность конструкции», которая выступает главным «источником удовольствия» от фильма (Ibid, p. 30). Подобные дихотомии оказываются теоретически уязвимыми, поскольку опираются на слабо формализуемые категории и зависят от субъективности восприятия исследователя.

Проблематичность подхода проявляется во многом. Как особо склонные к метамодернизму Джонс выделяет слэшеры о временной петле. Делает он это на примере фильмов «Счастливого дня смерти» и «Треугольник». Признаем, что до XXI временная петля не была частой темой хоррор-франшиз, но если подобное нарративное решение — особенность метамодернистского хоррора, то она должна быть особенностью и метамодернистского фильма как такового. Однако сам по себе прием временной петли не нов. Мы могли его наблюдать в множестве других фильмов ранее: «День сурка» (Groundhog Day, 1993, режиссер Харольд Рэмис), «12 обезьян» (Twelve Monkeys, 1995, режиссер Терри Гиллиам), «Беги Лола, беги» (Lola rennt, 1998, режиссер Том Тыквер) и др. Относительно недавний подобный фильм, «Последние девушки» (The Final Girls, 2015, режиссер Тодд Штраус-Шульсон), использует прием временной петли, но при этом полностью построен на постмодернистских основаниях: фрагментарности, интертекстуальности, размывании привычной жанровой формулы.

При этом чем дальше, тем аргументация становится методологически менее состоятельной. Если вторая глава в общих чертах давала понять, почему эпистемологическая ограниченность может стать отличительным признаком метамодернистского фильма, то в восьмой главе метамодернистский концептуальный аппарат выглядит избыточным. Складывается впечатление, что Джонс стремился добавить научной фундированности метамодернистской концепции вполне основательными, но совершенно самодостаточными размышлениями о формах франшизации: ремейках, сиквелах, перезапусках, риквелах. Основной аргумент Джонса здесь строится на последней из форм. Риквел — продолжение, которое одновременно является перезапуском

(ремейк+сиквел) (Loock, 2020, p. 174) — автор рассматривает в качестве метамодернистской формы. По его мнению, в отличие от остальных вариантов развития франшиз, именно риквел способствует метамодернистскому раскрепощению, а не ограничениям (Jones, 2024, p. 189). Следовательно, риквел выступает своеобразной формой «продуктивной преемственности», где серия выборочно сохраняет и удаляет знакомые грани своей истории. Этот аргумент вновь очень сомнителен. Практически каждая большая франшиза, которая растянулась на десятилетия, так или иначе если не видоизменяла канон по ходу своего развития, то явно опускала какие-то его части ради нарративного удобства. Не ясно и то, по какой причине Джонс выделяет именно «Хэллоуин» (Halloween, 2018) режиссера Дэвида Гордона Грина как исключительный пример.

Оригинальный «Хэллоуин» был снят Джоном Карпентером в 1978 году, и с того момента во франшизе вышло всего 13 полнометражных фильмов. За 20 лет до перезапуска Гордона Грина вышел фильм «Хэллоуин: 20 лет спустя» (Halloween H20: 20 Years Later, 1998, режиссер Стив Майнер). Его история точно так же игнорирует сюжеты большинства фильмов франшизы, кроме оригинала, и точно также она сфокусирована на ребенке главной героини в исполнении Джейми Ли Кертис. Конкретно здесь мы пишем именно о «Хэллоуине», поскольку это сделал сам Джонс, но ясно, что такую же картину мы можем наблюдать как в других слэшер-франшизах, так и в других хоррор-франшизах, которые вовсе не относятся к субжанру. Более того, Джонс противопоставляет «Хэллоуин» «Крику» как циничному и фаталистскому фильму. Однако, как отмечает Валери Ви: «“Крик” не просто продолжает постмодернистский цикл слэшеров 1980-х годов, но и не просто воспроизводит уже знакомую нам постмодернистскую тенденцию к стиранию границ между реальностью и кино», а «Хэллоуин», напротив, полон саморефлексии и отсылок (2005, p. 47). По мнению автора, франшиза «Хэллоуин» в большей степени направлена на ироничные намеки, тогда как фильмы серии «Крик» не ограничены случайными аллюзиями, которые замкнуты на уровне подтекста, а, напротив, функционируют как текст (Ibid). Эндрю Сайдер добавляет, что «Крик» «не столько знаменует разрыв с прошлыми проявлениями жанра, сколько подчеркивает взаимосвязь между ними, которая существовала всегда. Такие черты, как саморефлексивность и интертекстуальность, лишь переосмысливают диалектику известного и неизвестного и перестраивают отношения между восприятием мира и знаниями о нем» (Syder, 2002, p. 84).

Наконец, основная теоретическая новация Стива Джонса состоит в том, что он заменяет осцилляцию Вермюлена и ван ден Аккера на суперпозицию. В этом случае напряжение между полюсами исходит не из постоянного маятникового движения, а из одновременного существования множества одинаково правдоподобных возможностей. При этом важно, что они сосуществуют одновременно, даже если кажутся взаимоисключающими (Jones, 2024, p. 252).

Это интересное теоретическое решение и нововведение, о нем можно рассуждать и дискутировать, но мы упоминаем его здесь по той причине, что и оно никак не упрощает применение теории к эмпирике.

Упрощенно, суперпозиция, по Джонсу, сводится к тому, что особая метамодернистская чувствительность выражается через «выявление, казалось бы несочетаемых эмоций, влекущих за собой получение удовольствия от негативных эмоциональных состояний» (Ibid, p. 34). Не стоит говорить, что это базовая функция хоррор-фильма в принципе. Суперпозиция не проливает свет на то, что может делать фильм метамодернистским в совокупности, и остается на том же уровне разрозненных фактов. Такая проблема преследует всю метамодернистскую концепцию слэшера в каждом аргументе и примере, и очевидно, пока она не будет разрешена, сама идея существования метамодернистского фильма ужасов будет продолжать вызывать большие сомнения.

Выводы

Мы не можем спорить с тем, что и хоррор в целом, и слэшер как субжанр меняются в XXI веке. Они менялись в каждом десятилетии своего существования и попросту не могли не меняться в процессе своего развития. То, что постмодернизм больше не способен выступать основополагающим то ли описательным принципом, то ли методом современного хоррора, вызывает больше вопросов. Даже в 1990-е годы «Крик» был эталонным примером постмодернистского хоррора с очень большим отрывом, тогда как остальные оставались далеко позади и не отличались таким же уровнем самореферентности. Но то, что именно метамодернизм может отражать радикальные сдвиги в чувствительности XXI века, не подкреплено достаточными аргументами.

То, что основные теоретики метамодернизма выдают за метамодернистский фильм, на данный момент выглядит либо разрозненным набором суждений и очень разных характеристик, либо теми же постмодернистскими настройками, но с плохо артикулируемой «новой чувствительностью». Ни тот, ни другой вариант не получается собрать в единую структуру без чрезмерного уровня абстракции, при котором суждения перестают иметь содержание. Тогда непонятно, как мы можем говорить о существовании метамодернистского хоррора как типологически обособленного направления, если еще ни у кого не получилось выстроить позитивную и содержательную программу самого метамодернизма.

Тем не менее, отметим, что большое достоинство метамодернистской концепции состоит в том, что уже появились настоящие попытки ее приложения к большим пластам культуры, чего на данный момент не скажешь о большинстве альтернатив метамодернизма. В этой связи показательно, что интерес к метамодернизму как аналитической оптике не ослабевает, а значит, можно ожидать продолжения дискуссии. Например, в 2026 году выходит монография «Метамодернистская готика: исследование идентич-

ности в XXI веке» (Smith, 2026). Автор книги применяет метамодернистскую оптику к литературной готике. Подобные работы свидетельствуют о том, что попытки операционализировать метамодернизм на конкретном жанровом материале продолжаются — и их результаты позволят в будущем точнее оценить, способна ли эта парадигма обрести аналитическую строгость и позитивную программу.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста статьи — Чумаков Д. Д.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

ИИ не использовался в подготовке статьи

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Автор данной работы выражает благодарность своему научному руководителю Павлову Александру Владимировичу за комментарии и особый вклад в исследование.

Список литературы

Booker, M. K. (2007). *Postmodern Hollywood: What's New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange* (1st ed.). Praeger. https://doi.org/10.5040/9798400699528

Ceriello, L. C., & Dember, G. (2019). The Right to a Narrative: Metamodernism, Paranormal Horror, and Agency in The Cabin in the Woods. In D. Caterine & J. W. Morehead (Eds.), *The Paranormal and Popular Culture: A Postmodern Religious Landscape* (pp. 42–54). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315184661-4

Gutiérrez Echeverría, S. (2024). New Sincerity and the Literary Self-Portrait: A Case Study Across Modernism, Postmodernism and Beyond. *Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory*, 10(2), 206–221. https://doi.org/10.24193/mjcst.2024.18.10

Jones, S. (2013). *Torture Porn: Popular Horror After Saw*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137317124

Jones, S. (2024). *The Metamodern Slasher Film* (1st ed.). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781399520959.001.0001

Jones, S. (2025). *The Postmodern Slasher Film*. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781399537117

Loock, K. (2020). Reboot, Requel, Legacyquel: Jurassic World and the Nostalgia Franchise. In D. Herbert & C. Verevis (Eds.), *Film Reboots* (pp. 173–188). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474451369.003.0012

Mee, L. (2022). *Reanimated: The Contemporary American Horror Remake*. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781474440660

Page, E. (2005). *Quintessential Tarantino*. Marion Boyars Publishers.

Petridis, S. (2019). *Anatomy of the Slasher Film: A Theoretical Analysis*. McFarland & Co.

Pheasant-Kelly, F. (2015). Reframing Parody and Intertextuality in Scream: Formal and Theoretical Approaches to the 'Postmodern' Slasher. In W. Clayton (Ed.), *Style and Form in the Hollywood Slasher Film* (pp. 149–160). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137496478_11

Pinedo, I. C. (1997). *Recreational Terror: Women and the Pleasures of Horror Film Viewing*. SUNY Press.

Reyes, X. A. (2012). Beyond Psychoanalysis: Post-Millennial Horror Film and Affect Theory. *Horror Studies*, 3(2), 243–261. https://doi.org/10.1386/host.3.2.243_1

Smith, C. E. (2026). *Metamodern Gothic. Exploring Identity in the Twenty-First Century*. University of Wales Press.

Syder, A. (2002). Knowing the Rules: Postmodernism and the Horror Film. *Spectator*, 22(2), 78–88.

Tietchen, T. F. (1998). Samplers and Copycats: The Cultural Implications of the Postmodern Slasher in Contemporary American Film. *Journal of Popular Film and Television*, 26(3), 98–107. https://doi.org/10.1080/01956059809602780

Tudor, A. (2002). From Paranoia to Postmodernism? The Horror Movie in Late Modern Society. In S. Neale (Ed.), *Genre and Contemporary Hollywood* (pp. 105–116). British Film Institute. https://doi.org/10.5040/9781838711047.ch-008

Turner, L. (2011). *The Metamodernist Manifesto*. Metamodernist // Manifesto. http://www.metamodernism.org

Van den Akker, R., & Vermeulen, T. (2010). Notes on Metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*, 2(1). https://doi.org/10.3402/jac.v2i0.5677

Wee, V. (2005). The Scream Trilogy, "Hyperpostmodernism," and the Late-Nineties Teen Slasher Film. *Journal of Film and Video*, 57(3), 41–61.

West, S. (2019). *Scream* (1st ed.). Liverpool University Press. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781911325277.001.0001

Williams, R. (2019). *The Long Revolution*. Columbia University Press.

Ван ден Аккер, Р., & Вермюлен, Т. (2020). Периодизируя 2000-е или Появление метамодернизма. В Р. ван ден Аккер, Э. Гиббонс, & Т. Вермюлен (Ред.), *Метамодернизм: Историчность, аффект и глубина после постмодернизма* (сс. 34–60). РИПОЛ классик.

Джеймисон, Ф. (2019). *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*. Издательство Института Гайдара.

«*Догма 95*». *Манифест*. (б. д.). Искусство кино. Извлечено https://kinoart.ru/texts/dogma-95-manifest

МакДауэлл, Д. (2020). Метамодерн, "quirky" и кинокритика. В Р. ван ден Аккер, Э. Гиббонс, & Т. Вермюлен (Ред.), *Метамодернизм: Историчность, аффект и глубина после постмодернизма* (сс. 67–87). РИПОЛ классик.

Павлов, А. В. (2023a). Апология современных ремейков американского хоррора. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 5(1), 226–237. https://doi.org/10.46539/gmd.v5i1.376

Павлов, А. В. (2023b). *Постпостмодернизм: Как социальная и культурная теория объясняют наше время*. Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

Павлов, А. В. (2024). *Исследования хоррора: Обновления жанра в XXI веке*. АСТ.

References

"Dogme 95": The manifesto. (n.d.). *Iskusstvo Kino*. Retrieved from https://kinoart.ru/texts/dogma-95-manifest (In Russian).

Booker, M. K. (2007). *Postmodern Hollywood: What's New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange* (1st ed.). Praeger. https://doi.org/10.5040/9798400699528

Ceriello, L. C., & Dember, G. (2019). The Right to a Narrative: Metamodernism, Paranormal Horror, and Agency in The Cabin in the Woods. In D. Caterine & J. W. Morehead (Eds.), *The Paranormal and Popular Culture: A Postmodern Religious Landscape* (pp. 42–54). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315184661-4

Gutiérrez Echeverría, S. (2024). New Sincerity and the Literary Self-Portrait: A Case Study Across Modernism, Postmodernism and Beyond. *Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory*, 10(2), 206–221. https://doi.org/10.24193/mjcst.2024.18.10

Jameson, F. (2019). *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Gaidar Institute Publishing House. (In Russian).

Jones, S. (2013). *Torture Porn: Popular Horror After Saw*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137317124

Jones, S. (2024). *The Metamodern Slasher Film* (1st ed.). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781399520959.001.0001

Jones, S. (2025). *The Postmodern Slasher Film*. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781399537117

Loock, K. (2020). Reboot, Requel, Legacyquel: Jurassic World and the Nostalgia Franchise. In D. Herbert & C. Verevis (Eds.), *Film Reboots* (pp. 173–188). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474451369.003.0012

MacDowell, J. (2020). Metamodernism, "quirky," and film criticism. In R. van den Akker, A. Gibbons, & T. Vermeulen (Eds.), *Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism* (pp. 67–87). RIPOL Klassik. (In Russian).

Mee, L. (2022). *Reanimated: The Contemporary American Horror Remake*. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781474440660

Page, E. (2005). *Quintessential Tarantino*. Marion Boyars Publishers.

Pavlov, A. V. (2023). An Apology of Contemporary American Horror Remakes. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 5(1), 226–237. https://doi.org/10.46539/gmd.v5i1.376 (In Russian).

Pavlov, A. V. (2023b). *Post-postmodernism: How Social and Cultural Theory Explains Our Time*. Delo Publishing House, RANEPA. (In Russian).

Pavlov, A. V. (2024). *Horror Studies: Genre Renewals in the Twenty-First Century*. AST. (In Russian).

Petridis, S. (2019). *Anatomy of the Slasher Film: A Theoretical Analysis*. McFarland & Co.

Pheasant-Kelly, F. (2015). Reframing Parody and Intertextuality in Scream: Formal and Theoretical Approaches to the 'Postmodern' Slasher. In W. Clayton (Ed.), *Style and Form in the Hollywood Slasher Film* (pp. 149–160). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137496478_11

Pinedo, I. C. (1997). *Recreational Terror: Women and the Pleasures of Horror Film Viewing*. SUNY Press.

Reyes, X. A. (2012). Beyond Psychoanalysis: Post-Millennial Horror Film and Affect Theory. *Horror Studies*, 3(2), 243–261. https://doi.org/10.1386/host.3.2.243_1

Smith, C. E. (2026). *Metamodern Gothic. Exploring Identity in the Twenty-First Century*. University of Wales Press.

Syder, A. (2002). Knowing the Rules: Postmodernism and the Horror Film. *Spectator*, 22(2), 78–88.

Tietchen, T. F. (1998). Samplers and Copycats: The Cultural Implications of the Postmodern Slasher in Contemporary American Film. *Journal of Popular Film and Television*, 26(3), 98–107. https://doi.org/10.1080/01956059809602780

Tudor, A. (2002). From Paranoia to Postmodernism? The Horror Movie in Late Modern Society. In S. Neale (Ed.), *Genre and Contemporary Hollywood* (pp. 105–116). British Film Institute. https://doi.org/10.5040/9781838711047.ch-008

Turner, L. (2011). *The Metamodernist Manifesto*. Metamodernist // Manifesto. http://www.metamodernism.org

Van den Akker, R., & Vermeulen, T. (2010). Notes on Metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*, 2(1). https://doi.org/10.3402/jac.v2i0.5677

Van den Akker, R., & Vermeulen, T. (2020). Periodising the 2000s, or the emergence of metamodernism. In R. van den Akker, A. Gibbons, & T. Vermeulen (Eds.), *Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism* (pp. 34–60). RIPOL Klassik. (In Russian).

Wee, V. (2005). The Scream Trilogy, "Hyperpostmodernism," and the Late-Nineties Teen Slasher Film. *Journal of Film and Video*, 57(3), 41–61.

West, S. (2019). *Scream* (1st ed.). Liverpool University Press. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781911325277.001.0001

Williams, R. (2019). *The Long Revolution*. Columbia University Press.

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Cinema and Popular Culture Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.751

The Carnivalization of the Superhero Film: The Antihero as a Figure of Cultural Transgression in the Context of Mikhail Bakhtin's Theory

Anastasia V. Kucherova

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia.
Email: kucherova-v-a[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0009-0004-5965-3142

Received: 29 March 2026 | Revised: 10 April 2026 | Accepted: 17 April 2026

Abstract

This article explores the transformation of superhero cinema in the first quarter of the twenty-first century and the rise of the antihero as a central figure in contemporary popular culture. Increasingly, superhero films depart from the classical model of the morally flawless savior, foregrounding protagonists who operate within zones of ethical ambiguity. This shift invites a reconsideration of the genre as a cultural mechanism that reflects both a crisis of the heroic narrative and broader changes in the collective imagination. Despite the popularity of antiheroic figures, the phenomenon remains undertheorized, particularly with regard to the systemic nature of carnivalesque strategies in the genre.

The study aims to identify the mechanisms of carnivalization in contemporary superhero cinema through close analysis of "Deadpool" (2016), "Joker" (2019), and "Birds of Prey" (2020), drawing on Mikhail Bakhtin's theory of carnival. The analysis shows that the antiheroes in these films enact key elements of the carnivalesque worldview: grotesque corporeality, profanation, eccentricity, and the inversion of hierarchies, – thereby destabilizing dominant narratives of heroism, masculinity, and social order.

This enables the genre to renew itself through the symbolic subversion of its own foundations; at the same time, however, carnivality proves to be inherently ambivalent, combining critical potential with full embeddedness in the logic of commercial production. The study further shows that the carnivalization of the genre constitutes a systemic cultural logic that cannot be reduced to any single studio or franchise. The article concludes that the antihero operates as a cultural symptom of a condition in which neither full acceptance nor radical rejection of the existing order is possible – a figure that holds popular culture in a productive state of ironic relativity and dialogism. The article is addressed to researchers in the fields of cultural studies, philosophy of culture, film studies, and media studies.

Keywords

Carnival; Carnivalization; Bakhtin; Antihero; Superhero Film; Popular Culture; Grotesque Body; Cultural Transgression; Inversion of Hierarchies; Laughter Culture

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Anastasia V. Kucherova

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Исследования кинематографа и массовой культуры | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.751

Карнавализация супергеройского фильма: антигерой как фигура культурной трансгрессии в контексте теории М. М. Бахтина

Кучерова Анастасия Валерьевна

Институт философии РАН. Москва, Россия.
Email: kucherova-v-a[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0009-0004-5965-3142

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 10 апреля 2026 | Принята: 17 апреля 2026

Аннотация

В исследовании рассматривается проблема трансформации супергеройского кинематографа в первой четверти XXI века и возрастающей популярности антигероя как центральной фигуры массовой культуры. Современный супергеройский фильм все чаще отказывается от классической модели нравственно совершенного героя, обращаясь к персонажам, действующим в пространстве этической неопределенности. Это требует переосмысления жанра как культурного механизма, отражающего кризис героического нарратива и изменение коллективного воображения. Массовая востребованность антигероических образов свидетельствует о глубинных сдвигах в культурном сознании современного общества, однако теоретическое осмысление этого феномена остается недостаточным. В частности, слабо изученным является вопрос о системном характере карнавальных стратегий в супергеройском жанре. Цель исследования — выявить механизмы карнавализации в современном супергеройском кинематографе на материале фильмов «Дэдпул» (2016), «Джокер» (2019) и «Хищные птицы» (2020), определив специфику антигероя как фигуры культурной трансгрессии посредством обращения к теории карнавала М. М. Бахтина. В результате анализа установлено, что антигерои указанных фильмов последовательно реализуют ключевые категории бахтинского карнавального мироощущения (гротескную телесность, профанацию, эксцентричность, инверсию иерархий), функционируя как фигуры культурной трансгрессии, дестабилизирующие господствующие нарративы о героизме, маскулинности и социальном порядке. Это позволяет жанру обновляться через символическое подрывание собственных оснований, однако при этом карнавальность носит амбивалентный характер, т. к. соединяет критический потенциал с включенностью в логику коммерческого производства. Показано, что карнавализация жанра является системной культурной логикой, не сводимой к отдельной студии или франшизе. Сделан вывод о том, что антигерой выступает как культурный симптом состояния, при котором невозможны ни полное принятие, ни радикальное отрицание существующего порядка; он удерживает массовую культуру в продуктивном режиме иронической относительности и диалогичности. Статья адресована исследователям в области культурологии, философии культуры, киноведения и медиаисследований.

Ключевые слова

карнавал; карнавализация; Бахтин; антигерой; супергеройский фильм; массовая культура; гротескное тело; культурная трансгрессия; инверсия иерархий; смеховая культура

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Кучерова Анастасия Валерьевна

Введение

За время своего существования комиксы и их экранные адаптации прошли путь от периферийного культурного феномена до ключевого медиума, посредством которого современное общество артикулирует свои культурные, социальные и политические установки. Исследования супергеройского кинематографа активно присутствуют в академической среде и встречаются в работах по культурологии, медиа- и киноисследованиям, политической теории и этике. Анализ жанра демонстрирует, что супергеройское кино функционирует как пространство осмысления вопросов власти, идеологии и политической культуры (Costello & Worcester, 2014), гендерных исследований (Cocca, 2016; Gray & Kaklamanidou, 2011), изучения процессов глобализации (Gray & Kaklamanidou, 2011), репрезентации гражданских ценностей (демократии, гуманизма, правосудия) (Hammonds K., 2021). Исследуется также связь супергероев с конкретными социально-политическими проблемами: миграционной политикой, наследием фашизма, экологическим кризисом (Wilson & Piatti-Farnell, 2023) и т. п. Исследования демонстрируют, как супергеройские истории соотносятся с политической и культурной средой их создания (DiPaolo, 2011), функционируют в качестве инструмента артикуляции вопросов безопасности и контроля (A. A. Adams, F. BenYoussef, B. Schneier, K. Murata, 2020), а также — как пространство реализации моральных добродетелей: мужества, смирения, жертвенности и ответственности (Yogerst, 2017).

Количество ежегодно выпускаемых супергеройских фильмов выросло от 1–4 в начале 2000-х до 5–12 в 2010-х — начале 2020-х, в общей сумме достигнув 191 фильма от ведущих студий к 2025 году (Nash Information Services, n. d.). Дж. А. Браун в монографии «Современный супергерой в кино и на телевидении» (2017) пишет, что «в XXI веке в Голливуде доминируют супергеройские франшизы <…> супергерои являются нынешней основой экономической стабильности, которая помогает поддерживать многомиллиардные империи» (Brown, 2017, p. 16). Уже к середине 2010-х годов двадцать супергеройских фильмов вошли в сотню самых кассовых картин всех времен, а с 2002 года хотя бы один супергеройский фильм неизменно присутствовал в топ-10 наиболее успешных релизов года. В 2014 году шесть из двенадцати самых кассовых фильмов принадлежали к супергеройскому жанру (Ibid.). Согласно исследованиям, подъем жанра пришелся на 2000-2019 годы, когда после событий 9/11 у аудитории возросла потребность в героических нарративах; кульминацией этого процесса стали «Мстители: Финал», вышедшие в 2019 году и собравшие в глобальном прокате рекордные 2,79 млрд. долларов (Wang & Cao, 2025, p. 139).

Параллельно с коммерческим триумфом произошла трансформация образности персонажей. Все чаще главная роль отводится фигурам, которые невозможно назвать традиционными героями: Дэдпул, Джокер, Харли Квинн, Каратель, персонажи «Отряда самоубийц» (2016, 2021) и «Пацанов» (2019 —

наст. вр.), — таков далеко не исчерпывающий перечень антигероев, демонстрирующих несвойственные жанру черты, среди которых аморальность, деструктивное поведение; такой персонаж может быть внутренне противоречив и склонен к неповиновению официальным властным институтам (Greenwood et al., 2020; Perreault, 2023; Wang, 2023). Антигерой рассматривается как промежуточная фигура между классическим героем и злодеем, не соответствуя всецело ни героическому идеалу добродетели, ни архетипу абсолютного зла: его отличает смертная природа, индивидуализированный моральный кодекс, скептицизм, готовность применять насилие как допустимое средство достижения цели. Важно, что при этом аморальность и деструктивность оказываются не отклонением, а структурной частью его нарративной функции (Freire Sánchez & Vidal-Mestre, 2022). Если традиционный супергерой был носителем твердых моральных убеждений и служил нравственным ориентиром, демонстрируя, что личный выбор способен изменить несправедливую реальность, то антигерой действует в пространстве этической неопределенности, где границы между добром и злом, порядком и хаосом оказываются размыты. Популярность подобного типа персонажей демонстрирует востребованность у зрителей не столько традиционных утешительных нарративов о торжестве справедливости, сколько желание проживания хаоса, насилия и разрушения в безопасном эстетическом пространстве. Антигерой — это фигура, обитающая на руинах героического нарратива, и его массовая востребованность требует осмысления.

Теоретической базой настоящего исследования является теория карнавала, разработанная М. М. Бахтиным (Бахтин, 1963; Бахтин, 1990), получившая чрезвычайно широкое распространение в современный гуманитаристике: она активно применяется в литературоведении, культурологии, киноанализе, гендерных и медиа-исследованиях, — вследствие чего привести даже фрагментарный перечень трудов, подтверждающих ее востребованность, не представляется возможным. Можно предположить, что продуктивность обращения к теории карнавала М. М. Бахтина обусловлена ее способностью схватывать культурные процессы, которые существуют в режиме одновременного утверждения и отрицания господствующего порядка. Карнавал у Бахтина — не просто конкретный исторический феномен — средневековый народный праздник — но аналитическая категория, необходимая для понимания особого типа культурного сознания, основанного на временном переворачивании официальных иерархий, амбивалентном смехе и гротескной телесности. В бахтинском карнавале представлена альтернативная онтология, где разворачивается «жизнь, выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере “жизнь наизнанку”, “мир наоборот”» (Бахтин, 1963, с. 184): святое становится предметом пародии, авторитеты низлагаются, телесность выходит за границы норм, при этом смех выполняет функцию релятивизации, лишая социальные структуры их претензии на окончательность и стабильность. Добавим, что Бахтин

выделял четыре категории карнавального мироощущения: фамильярный контакт между людьми, эксцентричность, карнавальные мезальянсы, профанацию (карнавальные кощунства), — которые создают аналитическую оптику для понимания культурных феноменов, основанных на логике инверсии и трансгрессии (1963, с. 184).

При том, что применении бахтинской теории к анализу кино встречается часто, рассмотрение сквозь ее призму супергеройских фильмов относительно редко. Между тем бахтинская оптика применительно к последним обнаруживает особую продуктивность: жанр зафиксировал целый комплекс эстетических приемов — от пародийной иронии до визуального гиперэксцесса, — которые очевидно резонируют с бахтинской концепцией карнавала и гротеска. Кроме того, супергеройское кино как форма массового зрелища воспроизводит ту же амбивалентность, которая приписывается карнавалу: оно одновременно критикует и воспроизводит властные структуры, подрывает и укрепляет господствующие нарративы. Антигерои в данном случае могут быть рассмотрены как фигуры карнавального типа, в которых соединяются вышеуказанные карнавальные категории.

Выбор «Дэдпула» (2016), «Джокера» (2019) и «Хищных птиц: Потрясающая история Харли Квинн» (2020) в качестве основного корпуса исследования обусловлен несколькими взаимодополняющими причинами. Во-первых, все три фильма стали в свое время коммерчески успешными и спровоцировали широкий общественный резонанс, что свидетельствует об их способности артикулировать актуальные культурные запросы. Во-вторых, каждый из них воплощает различные аспекты бахтинской карнавальности, что будет показано ниже, в связи с чем последнюю можно рассматривать не как единичный прием, но как системную культурную логику современного массового кинематографа; также все три персонажа обладают «гротескным телом». Наконец, принадлежность к разным франшизам (20th Century Fox/Marvel для «Дэдпула», Warner Bros./DC для «Джокера» и «Хищных птиц») демонстрирует, что карнавализация супергеройского кинематографа не является феноменом, характерным лишь для одной студии или картины.

Дэдпул

«Дэдпул» (2016) режиссера Тима Миллера, собравший в прокате $783 млн при бюджете в $58 млн, неожиданно стал хитом: исследователи неоднократно высказывали мысль о том, что «популярность Дэдпула объясняется тем, что < … > он представляет собой исключение из сложившихся норм супергеройского жанра. Его образ заслуживает особого критического внимания, поскольку он резко контрастирует с большинством персонажей мейнстримного супергеройского пантеона» (Day, 2015, p. 41).

Фильм рассказывает историю наемника Уэйда Уилсона (в исполнении Р. Рейнольдса), который, заболев раком, соглашается подвергнуть себя серии

экспериментов на фабрике мутантов, в ходе пыток изуродовавших его внешность, но наделивших его способностью к регенерации. Став Дэдпулом, персонаж стремится отомстить обезобразившим его мучителям, из-за которых, как считает герой, он не может быть с любимой женщиной.

Фильм, получивший рейтинг R (запрещен до 17 лет), являет собой образцовой пример кинематографической реализации ключевых карнавальных стратегий. Одно из наиболее очевидных проявлений карнавальности в фильме — активное использование персонажем низовой лексики. Количественный анализ выявил в «Дэдпуле» 95 случаев дисфемизмов — бранных, непристойных и оскорбительных выражений, среди которых преобладают вульгаризмы, основной функцией которых является унижение адресата (Pretty Sitanggang et al., 2020, p. 126). Использование дисфемизмов, большинство которых имеют сексуальные коннотации, связано с реализацией и иных задач — достижением комического эффекта, эскалацией эмоционального напряжения, интенсификацией высказываний, репрезентацией индивидуальности персонажа и снижением степени формальности общения (2020, p. 126, 137). Схожие результаты были получены в аналогичной работе, авторы которой обнаружили в «Дэдпуле 2» 74 сленговых единицы, преимущественно относящиеся к обсценной лексике или словам религиозного характера, используемым в светском контексте, задачи которых, по мнению исследователей — создать узнаваемый речевой портрет персонажа, достичь комедийного эффекта и вербализовать интенсивные эмоциональные состояния (Nur & Rosida, 2020). Не менее значимым карнавальным элементом является гротескное тело Дэдпула, радикально контрастирующее с идеализированными супергеройскими телами (Супермен, Капитан Америка). После эксперимента, даровавшего ему способность к регенерации, кожа Уэйда покрылась ужасными шрамами, так что его тело буквально воплощает бахтинский гротескный реализм: в силу возможного и постоянно происходящего восстановления поврежденных тканей и потерянных органов оно принципиально не завершено, непрерывно трансформируется, умирает и возрождается, что и делает его носителем карнавального обновления (Бахтин, 1990, с. 34). Примечательно, что Дедпул не стесняется своего уродства и превращает его в предмет шуток. Маску он носит не для того, чтобы скрыть обезображенное лицо от окружающих, но чтобы не пугать свою возлюбленную Ванессу — что может рассматриваться как пародия на типичный супергеройский мотив скрытия героем своей личности для сохранения возможности нормальной человеческой жизни. Особенно показательна сцена, в которой Дэдпул, лишившийся руки, вынужден существовать с растущей на ее месте детской конечностью, что ставится для него поводом для многочисленных (и не всегда приличных) шуток. В связи с этим коротко добавим, что таким образом фильм превращает темы, которых общество часто избегает — например, травму и инвалидность, — в объект карнавальной игры, переосмысляя «нормальность» и одновременно являясь

инструментом критики доминирующей модели мужественности с ее характерными атрибутами — физической неуязвимостью и эмоциональной сдержанностью.

Итак, фильм последовательно культивирует особый низовой юмор, обращаясь к внешности персонажа, насилию, сексу и т. п. — всем тем проявлениям телесного низа, которые Бахтин описывал как основу грубого народного юмора. Систематическое использование табуированной в такого рода фильмах лексики трансформирует классический образ супергероя, т. е. карнавальная инверсия обновляет жанр: юмор и пародия здесь оказываются направлены на деконструкцию самого супергеройского мифа. Классический супергерой, как известно, мотивирован трагедией (убийство родителей Бэтмена, гибель дяди Человека-Паука), жертвует личным счастьем ради общественного блага, руководствуется бескорыстными побуждениями. Дэдпул последовательно переворачивает эти тропы: его мотивация носит сугубо эгоистический характер (вернуть «нормальное» лицо), он убивает врагов с явным удовольствием, ругается матом и непристойно шутит. Так, когда Дэдпул обращается к зрителю с вопросом: «Вы, наверное, задаетесь вопросом: “Почему на мне красный костюм?”», — он воспроизводит типичную экспозицию супергеройского фильма, но немедленно подрывает ее ироничным ответом: «чтобы враги не видели, как я истекаю кровью». В рамках карнавальной пародии «Дэдпул» смеется над претензией жанра на серьезность.

Фильм открыто пародирует и традиционную структуру истории: Дэдпул часто прерывает повествование, возвращается в прошлое, забегает вперед, комментирует события с позиции «после», порождая темпоральный хаос, что можно рассматривать не просто как стилистический прием, но как карнавальное разрушение официального времени — последовательности «начало-развитие-кульминация-развязка», которая структурирует традиционный героический миф. Наряду с нарушением темпоральности необходимо отметить и ломку «пространства» — границ между разными кинематографическими вселенными. Примером является введение в «Дэдпул 2» (вселенная X-Men) персонажа Кейбла, сыгранного Джошем Бролином — актером, одновременно исполнявшим роль Таноса в «Мстителях» (вселенная Marvel). В одной из сцен Дэдпул прямо обращается к Кейблу, называя его Таносом — именем злодея из конкурирующей франшизы, а также же шутит, что тот настолько мрачен, что, должно быть, попал в его фильм из вселенной DC — что карнавальным образом стирает границы между разными медийными пространствами, подчиняя их общей логике смеха.

Подобная метатекстуальность может быть интерпретирована в русле бахтинского понимания карнавала как особой формы культурного опыта, в которой временно отменяются традиционные иерархии и размываются границы между разными уровнями художественной реальности. Бахтин писал о мениппеи — жанре античной философской сатиры, для которой характерно

сочетание серьезного и комического, проверка философских идей в пародийных формах, рефлексия героя над условностью своего существования (Бахтин, 1963, с. 177–181). «Дэдпул» можно рассматривать как современную актуализацию этой традиции в формате массового кинематографа. Во-первых, в духе мениппеи герой подвергает смеховой проверке идеи жертвенности, героического долга и морального превосходства, доводя их до абсурдного предела. Кроме того, разрушение «четвертой стены» — условной границы между вымыслом и реальностью, героем и зрителем — становится, пожалуй, центральной карнавальной стратегией фильма. Постоянные обращения Дэдпула к зрителю и комментирование им происходящего подрывают иллюзию замкнутого художественного мира и переводят фильм в режим карнавальной игры. Это соответствует бахтинской идее о том, что карнавальное сознание не знает «разделения на исполнителей и зрителей» (1963, с. 183) — Дэдпул разрушает границу между ними, превращая зрителя в соучастника карнавального действа.

В итоге если в средневековом карнавале осуществлялось ритуальное развенчание власти и символическое «переворачивание» социального порядка, то в «Дэдпуле» аналогичному снижению подвергаются сами конвенции кинематографа: герой открыто демонстрирует искусственность происходящего и насмехается над механизмами кинопроизводства. Показательны в этом отношении вступительные титры, где имена создателей заменены уничижительными и гротескными характеристиками (напр., “directed by an overpaid tool”, в русском дубляже: «режиссер — козел с зарплатой до колен»), — что также можно рассматривать как характерное для карнавала снижение.

Карнавальный юмор «Дэдпула», однако, не исчерпывается деконструкцией жанровых конвенций, и в более широкой перспективе выступает как инструмент подрыва доминирующих идеологических структур, в частности, политических. Он функционирует как форма сопротивления биовласти, дестабилизируя логику контроля над телом и жизнью индивида. Так, М. Брейк показывает, что юмор Дэдпула становится попыткой противостоять фабрике мутантов — программе нелегальных медицинских экспериментов, в рамках которых у людей насильственно активируют суперспособности посредством создания экстремальных стрессовых ситуаций. Будучи подопытным участником этой программы, Дэдпул даже в условиях физического насилия и пыток продолжает иронизировать над своим антагонистом Аяксом: парадоксальным образом он дестабилизирует власть мучителя посредством юмора — его шутки разрушают авторитет Аякса даже в ситуации полного физического контроля над телом подопытного (Brake, 2024). Используя теоретический аппарат А. Грамши, исследователи подчеркивают: в то время как Аякс воплощает гегемоническую власть (Atthoriq, 2024, p. 21), манипулируя Уэйдом посредством медицинских экспериментов в рамках

корпоративной системы, стремящейся контролировать тело и жизнь человека, Дэдпул противостоит ей через юмор и отклоняющееся поведение, что можно интерпретировать как форму контр-гегемонии и критику капиталистической логики, превращающей человека в ресурс и объект манипуляций. Отсюда карнавальность фильма обретает явное политическое измерение, которое реализуется на двух уровнях. Насмешки Дэдпула над авторитетами — киностудией, супергероями, самим жанром и в целом дискурсами нормы, контроля и подчинения — рассматривается как форма скрытого сопротивления в смысле концепции скрытых и публичных транскриптов Дж. Скотта (Atthoriq, 2024): они формируют альтернативный дискурс, подрывающий официальную идеологию супергеройства и властные структуры; «нарратив “скрытого транскрипта” всегда насыщен элементами карнавальной субкультуры, это та сфера, где циркулирует “неофициальное” и “смеховое” в бахтинском смысле слова» (Березняков, 2012, с. 59). Напротив, насильственная месть Аяксу и финальное убийство злодея представляют собой уже открытую форму сопротивления, переходящую в прямую конфронтацию, в итоге Дэдпул как карнавальная фигура объединяет оба типа сопротивления одновременно. Характерно, что обе эти стратегии — как насмешка, так и прямое действие — оказываются неразрывно связаны со смехом и карнавальным переворачиванием иерархий.

Таким образом, карнавальное поведение Дэдпула не является бессмысленным, но, напротив, раскрывает новые уровни социального и культурного критицизма. Фильм последовательно подвергает снижению и переосмыслению ключевые элементы доминирующего супергеройского дискурса: жанровые конвенции героического повествования, традиционную модель маскулинности, идеализированное представление о теле, а также устойчивые способы легитимации насилия и связанные с телом формы контроля над субъектом. Вместе с тем критический импульс фильма оказывается включен в логику капиталистического производства: «Дэдпул» является коммерческим продуктом корпоративной индустрии (Marvel и 20th Century Fox), которая не только позволяет, но и поощряет насмешку над собой, поскольку это оказывается экономически выгодным (Eagleton, 1981; Эко, 2007).

Тем не менее факт, что подобная насмешка оказывается возможной и находит массовую аудиторию, свидетельствует о расширении пространства для альтернативных нарративов в рамках мейнстримного кино: карнавальные стратегии фильма открывают возможность для критического отношения к жанровым конвенциям и идеологическим структурам, их поддерживающим. В итоге можно предположить, что карнавальная функция «Дэдпула» заключается не в тотальном ниспровержении супергеройской мифологии, но в ее освежении и обновлении через смех. Примечательно, что успех «Дэдпула» отразил и усилил более широкую тенденцию к ироническому переосмыслению супергеройского жанра («Стражи Галактики» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Лего Фильм: Бэтмен» (2017), «Шазам!» (2019)), что указы-

вает на желание зрителей не только размышлять о справедливости, но смеяться над неприкосновенными прежде темами, освободиться от пафоса и серьезности супергеройского мифа.

Джокер

«Джокер» (2019) Тодда Филлипса наиболее радикально переосмысляет супергеройский нарратив, карнавальным образом осуществляя инверсию классической оппозиции герой/злодей. Фильм рассказывает о превращении неудачливого комика Артура Флека в одного из ключевых персонажей супергеройского пантеона — Джокера, который, в отличие от других кинематографических воплощений, в данном случае является протагонистом. Каждый поворот сюжета связан со столкновением Артура с различными формами социальной несправедливости, постепенно формирующими у него жажду мщения и обретение своего «я» в Джокере, образ которого традиционно связан с клоунскими атрибутами. Применяя концептуальный аппарат М. Бахтина, можно обнаружить, что фильм последовательно реализует карнавальную логику инверсии, где клоунский образ становится инструментом разрушения официального дискурса и обнажения условности социального порядка.

Примечательна уже сама по себе символика клоуна, образ которого восходит к комедии дель арте и архетипу трикстера — типично карнавального персонажа, противника границ, одна из функций которого — переворачивать привычный порядок вещей, включать «в рамки дозволенного опыта недозволенного» (Радин, 1999, с. 257). Соответственно, в фигуре Джокера этот архетип проявляется через хаос, который Артур сеет в упорядоченном, но лицемерном обществе Готэма: его «проказы» в виде актов насилия и бунта изменяют сложившийся порядок, разоблачая хрупкость социальных норм и предлагая альтернативный взгляд на реальность. Важно, что Джокер здесь теряет своего классического антагониста — Бэтмена, и его подрывное поведение направлено против официальной культуры: проблемы Артура социально обусловлены, к породившим их условиям и обращен его разрушительный потенциал, карнавальным образом реализуемый через смех и пародию.

Смех героя — изначально непроизвольный и патологический — обретает контркультурную силу постепенно: если в начале фильма он функционирует исключительно как симптом психического расстройства и маркер исключенности из социума (неконтролируемый хохот Артура провоцирует агрессию окружающих, из-за чего он вынужден показывать карточку с объяснением своего состояния), то по мере развития фильма он превращается в активный инструмент разрушения официального дискурса. Бахтин писал, что карнавальный смех «включает в себя момент победы <…> над страхом перед всякой властью, перед земными царями, перед земным социальным верхом, перед всем, что угнетает и ограничивает» (1990, с. 106); в фильме он становится оружием против персонажей, воплощающих официальную культуру Готэма:

банкиров, комика Мюррея Франклина, капиталиста Томаса Уэйна. Так, в сцене конфликта в метро непроизвольный смех Артура интерпретируется банкирами как провокация, из-за чего они начинают избивать его. В итоге Артур убивает этих представителей элиты, которые в данном случае оказываются побеждены не только буквально, но и символически при посредстве смеха. В итоге, после неудачных попыток присоединиться к официальной культуре, Артур становится ее разрушителем.

У Бахтина карнавал неотделим от пародии — иронического повторения общеупотребительного языка, создания двойников (1963, с. 187), при котором карнавальный плут «пародийно перерабатывает дискурс других людей так, чтобы лишить их силы <…> чтобы высмеять их язык и таким образом превратить то, что было прямым дискурсом, в легкую самопародию» (Hoy, 1992, p. 771). Неудачные стендап-выступления Артура — не просто провал начинающего комика, но вторжение «низкого» народного языка в сферу «высокой» культуры телевизионного шоу: Артур, «как “неофициальный” шут, хотя сначала и непреднамеренно, превращает шутки в безвкусные, дрянные непристойности. Шокированная реакция аудитории, особенно на шоу Мюррея, иллюстрирует контркультурную силу его острот» (Javanian & Rahmani, 2021, p. 52). Перед убийством ведущего (переход к которому осуществляется также через шутку) Артур заявляет: «Все вы, система, которая так много знает, — вы решаете, что правильно или неправильно. Точно так же, как ты решаешь, что смешно, а что нет!» — что становится прямым обвинением монологизма официальной культуры, которая присваивает себе право определять границы допустимого смеха, а значит — и границы свободы.

Второй уровень пародии — высмеивание капиталистического иерархического порядка, воплощенного в фигуре бизнесмена Томаса Уэйна — олицетворения официальной серьезности. В логике деконструкции пародия в этом случае раскрывает внутренние механизмы и мифологические основания сложившегося классового неравенства, маскируемого риторикой благотворительности и социальной ответственности. Так, речи Уэйна, в которых он обещает «спасти Готэм», сидя в роскошном театре, монтажно контрастируют со сценами насилия и бедности на улицах; в фильме в принципе неоднократно сопоставляется роскошь с нищетой. При этом сам язык элиты становится объектом пародийного переворачивания: когда Уэйн в телеинтервью называет протестующих «клоунами», Артур и толпа буквализируют эту метафору, надевая клоунские маски и превращая уничижительную характеристику в символ протестов, — в карнавальной логике серьезность разрушается, власть показывается как смешная, неестественная, неустойчивая. Примечательно, что пронизывающее фильм насилие, которое претерпевает Артур, связано в основном с действиями привилегированного класса, для которого бедняки подобны крысам, наводнившим улицы (Ghorab & Harize, 2022, p. 95). Разворачивание ключевых сцен в городском пространстве, насыщенном мусором и

пронизанном ощущением упадка, также визуально усиливает репрезентацию классового конфликта как системного и повсеместного. Отсюда столкновение Артура с представителями власти уже не является исключительно его личной проблемой, и «на этот раз борьба идет не о символическом противостоянии добра и зла. Вместо этого борьба становится намного глубже, поскольку мы видим в Джокере не злодея, а антигероя, бросающего вызов культуре, которая маргинализировала состояние и боль его самого и таких, как он <…> Джокер — это не просто очередной фильм о супергероях, а серьезная критика реальной культуры, которая противостоит тем, кого считают никчемными, рассказанная на этот раз с точки зрения злодея» (Javanian & Rahmani, 2021, p. 54).

Таким образом, примечательным изменением в конвенции жанра является изначально ущемленное положение Артура и тот факт, что именно социальные проблемы приводят его к превращению в Джокера. Важность ключевой для карнавала телесности его образа подчеркивается ролью танца, являющегося ключевым инструментом трансформации персонажа, который «перестраивает свое тело через спонтанные, эмоционально насыщенные танцы» (Howell, 2021, p. 80). В духе гротескного реализма худоба Артура, выпирающие кости, его изможденность, шрамы на спине, неконтролируемые конвульсии при смехе, — буквально визуализируют бахтинскую концепцию незавершенного тела, что резко контрастирует со здоровыми телами его антагонистов. Связанная с телом логика распространяется и на психологический уровень: насилие, совершенное в отношении Артура в детстве, оказывается записано на нем как буквально (шрамы), так и метафорически (возникшее психическое расстройство), что помещает «Джокера» в традицию современного биополитического дискурса, где тело становится объектом власти и одновременно — полем сопротивления ей (работы М. Фуко, Дж. Агамбена, Р. Эспозито и др.).

Места и время этого сопротивления в фильме также карнавализированы. Так, именно в метро — подземном пространстве (символика низа), лиминальной зоне между домом и работой, Артур совершает первое убийство, запуская процесс, который в конце фильма приведет к городскому бунту. Ключевые сцены картины вообще разворачиваются в туалете: в рамках рассмотрения телесного низа как зоны карнавального обновления, туалет — пространство, ассоциированное с «грязным» и «низким» — становится ареной рождения Джокера, обретения им субъектности и силы (Ghorab & Harize, 2022, p. 98). Одним из наиболее ярких примеров карнавализации является инверсия символики лестниц: вопреки конвенциям кинематографа, движение вверх (как в буквальном смысле — подъем к квартире матери, так и символически — попытки Артура «поднять» свой статус и получить общественное признание) оказывается источником страдания, спуск же — особенно в культовой сцене танца на лестнице, где уже полностью превратившийся в Джокера герой

ликующе движется вниз под музыку — становится освобождением и обретением самости, что также можно рассматривать как критику общественного устройства (Javanian & Rahmani, 2021, p. 49). Интересным элементом хронотопической карнавализации, который отмечают исследователи, является и остановка времени в фильме: все часы указывают на 11:11, «что подчеркивает вневременный характер карнавала» (2021, p. 50). Это, безусловно, маркер утопического; Бахтин писал о карнавале как о времени, когда жизнь «выходит из своей обычной, узаконенной и освященной колеи и вступает в сферу утопической свободы» (1990, с. 103).

В кульминации разворачивается бунт: вдохновленная героем толпа в масках клоунов устраивает погром, выступая против правящего класса. Визуальный ряд финальных сцен амбивалентен: Джокер ликующе возвышается на капоте полицейской машины, окруженный аплодирующей ему толпой, при этом показаны горящие улицы, разбитые витрины, насилие. Двойственность финала отражает критическая рецепция фильма. С одной стороны, в анализе присутствует скептическое отношение к карнавальному измерению протеста. Карнавал рассматривается как санкционированное властью событие (Eagleton, 1981, p. 148), он не ведет к подлинному обновлению общественных структур, а лишь временно снимает социальное напряжение, функционируя как пространство «утопичной свободы», в связи с чем было бы ошибочно придавать чрезмерное значение реальной роли народных масс (Javanian & Rahmani, 2021, p. 45–46): после завершения карнавального действа общество неизбежно возвращается к своему исходному состоянию, что «ставит зрителей перед удручающим выбором между перспективой анархии и сохранением существующего положения вещей» (Doidge & Rosenfeldt, 2022, p. 75); кроме того, фильм подвергается критике за склонность редуцировать сложные социальные проблемы до упрощенных экономических причин (Ibid.)

Вместе с тем в исследовательской литературе представлен и альтернативный взгляд, подчеркивающий эмансипаторный потенциал карнавального начала. Т. Иглтон пишет, что карнавал функционирует как «своего рода фикция: временная ретекстуализация социальной формации, которая разоблачает ее “фиктивные” основания» (Eagleton, 1981, p. 149), т. е. карнавальный бунт, даже будучи временным, выполняет критическую функцию деконструкции официального дискурса, обнажая произвольность властных структур и показывая возможность иного мироустройства. В связи с этим Джокер рассматривается как «надежда общества» и «революционный лидер» (Brown, 2021, p. 11). Сторонники этой интерпретации подчеркивают, что сама суть народной карнавальной традиции заключается в отрицании рационализма и утилитарной практичности, а позитивная роль персонажа усматривается в его отказе от позиции лидера протестного движения: в отличие от официальной культуры с ее иерархическими структурами, Джокер воплощает принцип децентрализованного «народного тела», несовместимого с любой формой

авторитарной организации (Javanian & Rahmani, 2021, p. 46). Представляется важным также подчеркнуть, что в бахтинской перспективе критический потенциал карнавала заключается в обнажении условности любого социального порядка, и в этом смысле финальный бунт в «Джокере» не следует понимать как проект реального социального обновления.

В итоге единый ответ на вопрос, ведет карнавал к обновлению или хаосу, в исследовательской литературе отсутствует. А. Куриел артикулирует эту двойственность: «Артур Флек — и, следовательно, толпа тоже — колеблется между фигурой клоуна-бунтаря, выступающего против истеблишмента, анархиста, вовлеченного в классовую борьбу, и мстительным клоуном, заботящимся о ранимой белой жизни» (Kuryel, 2021, p. 83), что лишь усиливает карнавальную природу фильма в силу соединения в нем противоположных начал: Джокер — одновременно жертва и агрессор, освободитель и террорист. Р. Стэм в своей классической работе «Подрывные удовольствия: Бахтин, культурная критика и кино» (“Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film”, 1989) отмечал, что

> «бахтинская оксюморонная карнавальная эстетика, в которой все чревато своей противоположностью, подразумевает альтернативную логику неисключающих противоположностей и постоянного противоречия, которая выходит за рамки монологического мышления по принципу “истина или ложь”» (Stam, 1989, p. 22).

Представляется, что именно это придает многомерность фильму и позволяет зрителям различных политических взглядов и культур проецировать на Джокера собственные переживания, что делает его явлением глобального культурного значения.

В связи с этим интересно отметить своеобразный выход персонажа за пределы кинематографического нарратива в сферу реального политического действия. В главе из сборника «Разбирая Джокера» (“Breaking Down Joker”, 2022), посвященной связи фильма с арабскими революциями, описывается, как протестующие в Алжире, Ливане, Ираке, Египте (и Гонконге) в выступлениях использовали образ Джокера, накладывая характерный для него грим и надевая маски, создавая изображения, на которых он помещался в местные реалии (от рынков Багдада до медин Танжера), в связи с чем «в арабском мире этот персонаж практически стал архетипической революционной фигурой» (Ghorab & Harize, 2022, p. 92). Примечательно, что это транснациональное присвоение образа Джокера произошло вопреки его устойчивой ассоциации с западным культурным контекстом: для арабского зрителя Готэм функционировал как гетеротопия, символизирующая все коррумпированные государства (Ibid, p. 91). Перформативный характер выступлений — нанесение грима, танцы, юмористические лозунги, — воплощали карнавальную логику инверсии и десакрализации власти, в рамках которой смех становился способом «бросить вызов иерархии, уменьшить страх и создать радостное, привлекательное альтернативное пространство» (Takovski, 2019, цит. по: Ghorab & Harize, 2022,

p. 97). Это позволяет в определенной степени говорить о выходе карнавала за пределы художественного текста и его воздействии на реальные социальные процессы, что представляет собой примечательную импликацию бахтинской теории.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Образ Харли Квинн открывает возможность для анализа гендерного измерения карнавала в супергеройском кинематографе. Фильм (реж. Кэти Янь, 2020) начинается с краткого изложения биографии героини: от травматичного детства до получения докторской степени по психиатрии и работы в лечебнице Арнхейм, где произошло ее знакомство с Джокером, ради любви к которому Харли совершила символический акт самоотречения — прыжок в котел с кислотой, трансформировавший ее психику до необходимого персонажу-антигерою состояния безумия. Ключевой акцент повествования связан с расставанием Харли и Джокера, обнажающем структуру зависимости героини: в рамках этих отношений она пользовалась неприкосновенностью, и жители Готэма продолжали долгое время бояться ее, не веря в долгосрочность разрыва. Таким образом, зависимость Харли от Джокера раскрывается не только как личностно-психологическая проблема, но и как социальная детерминанта, определяющая ее положение в обществе. Стремясь показать свою самостоятельность, Харли взорвала завод — известный всем символ их с Джокером любви, что стало отправной точкой основного нарратива: на героиню открылась охота, и началось ее противостояние со злодеем Романом Саенисом, в ходе которого Харли, объединившись с другими женщинами-изгоями, спасла укравшую необходимый Роману бриллиант девочку, обретя тем самым новое измерение субъектности.

Во-первых, специфически женскую версию карнавального гротеска представляет репрезентация тела Харли Квинн: в отличие от мужских гротескных тел (шрамированного Дэдпула, анорексичного Джокера), в которых подчеркивается уродство, гротеск Харли связан с яркостью, нарушением приличий и избыточной женственностью. В работе «Пол, который не единичен» Л. Иригарей сформулировала идею женского мимесиса как тактики сопротивления фаллологоцентризму. Женский мимесис, согласно Иригарей, — это не пассивное воспроизводство навязанных женщинам стереотипов, но гиперболизирование, обнажающее их искусственность (Irigaray, 1985, p. 76). В патриархальной логике женское тело должно быть соблазнительным, но не вызывающим, Харли же нарушает это правило, ее сексуальность избыточна, нефункциональна, гипертрофирована: яркие волосы, короткие блестящие шорты, футболка с надписью “Caution”, массивные серьги, детские резинки для волос, — это костюм, который кричит о себе как о костюме и является тем, что Иригарей называет «женским избытком» — отказом вписываться в мужскую экономию желания. Харли носит не функциональную

одежду супергероини (наподобие латексного костюма), но скорее карнавальный наряд — где один сапог может быть без каблука — встраивающий телесность в логику нарочитого нарушения норм. Исследователи описывают ее костюмы как «карнавальную форму панк-стиля и стиля бондажа» (Geczy & Karaminas, 2019, p. 176), прослеживая происхождение Харли от Арлекина в комедии дель арте: «Подобно традиционному Арлекину, Харли Квинн лжива, остроумна, полна мрачного озорства, излучает избыток сексуальной энергии и является символом хитрости и игры» (Ibid., p. 175), в фильме же «новая Квинн теперь уверена в себе и сексуально напориста» (Ibid.).

Вопреки стереотипам классического Голливуда с доминирующим в нем изображением женского тела как идеально подтянутого и лишенного телесных потребностей, героиня постоянно ест — сэндвичи, хлопья, бургеры. Бахтин подчеркивал, что тело в карнавале — неготовое, оно «раскрывает свою сущность <…> только в таких актах, как совокупление, беременность, роды, агония, еда, питье, испражнение» (Бахтин, 1990, с. 33). Это оказывается буквально воплощено в образе Харли, которая во время погони оберегает бутерброд с таким неистовством, с которым оберегала бы свою жизнь, и с удовольствием вгрызается в него в финале фильма. Такая гиперболизация являет собой типичный карнавальный механизм: профанное возводится в ранг сакрального, порождая одновременно комический и дестабилизирующий эффект, что объясняет, почему «большая часть преобразующего потенциала Харли Квинн проистекает из обращения к карнавальной традиции» (Burke, 2021, p. 1). Ее тело отказывается быть идеальным объектом male gaze (Малви, 2000), оно голодно и избыточно.

Пародия на male gaze встречается во многих сценах фильма: например, в эпизоде драки в полицейском участке камера фокусируется не на привлекательности Харли, но на хаотичности и абсурде происходящего. Комплементарную перспективу к идеям Иригарей предлагает Дж. Батлер через концепцию перформативности гендера. В «Гендерном беспокойстве» она утверждает, что гендер — это не природная сущность, но эффект повторяющихся перформативных актов, «многократная стилизация тела, серия актов, повторяемых внутри весьма жестких регуляторных в рамок и со временем остывающих, производя видимость субстанции, своего рода природной сущности» (Батлер, 2022, с. 94). Когда Харли совершает насилие, она цитирует мужскую агрессивность, но с избытком: ее насилие яркое, театральное, сопровождается смехом и цветными дымовыми шашками, — это насилие пародийно, оно знает, что цитирует мужское и делает это видимым.

Итак, карнавальная эстетика в фильме используется для деконструкции гендерных конвенций супергеройского жанра и создания пространства феминистского нарратива. Уже в завязке фильма в соответствии с бахтинскими идеями о карнавальном переворачивании иерархий, Джокер — метафорический король хаоса, всегда занимающий центральное место в мужских историях

(фильмы 1989, 2008, 2019 гг.) — оказывается низведен до статуса «бывшего», упоминаемого лишь вскользь. На протяжении фильма Харли приходится отстаивать свою субъектность во враждебной социальной среде, где она оказывается маргинализирована, несмотря на ее престижное образование и профессию психиатра: общество видит в ней лишь жертву токсичных отношений, вынуждая ее к борьбе за самоопределение (Qodarain, 2021), что переходит в карнавальное переосмысление маскулинности — атрибута традиционно мужского, но здесь присвоенного женщиной для разрушения гендерных стереотипов (Hutabarat et al., 2020, p. 66–67). Исследователи отмечают ключевые маркеры маскулинности Харли: смелость и готовность рисковать; силу, агрессивность и владение разным оружием; независимость и влияние — что подтверждается анализом конкретных сцен (2020, p. 81). Таким образом, фильм сознательно насмехается над тропом «женщина как награда/жертва»: «“Хищные птицы” стремится вытеснить мужского героя как главенствующую фигуру в кинематографе супергеройского жанра» (Rahmawati et al., 2021, p. 121). Также Харли объединяется с четырьмя другими женщинами, что представляет собой инверсию традиционной мужской команды супергероев и создает карнавал вокруг коллектива (Бахтин подчеркивал, что карнавал — это коллективное событие, где индивидуальность растворяется в массе (Бахтин, 1990, с. 12)).

В фильме присутствует и карнавальная сниженная лексика, причем соотнесенность с женским персонажем усиливает ее норморазрушающую функцию. В «Хищных птицах» исследователи выявили несколько типов нецензурных слов и выражений (Andika & Setyawan, 2024; Syahla & Hartati, 2023), которые используются для выражения личных эмоций, оскорблений, создания юмористического эффекта и обозначения намерений говорящего, усиления эффектности речи (Andika & Setyawan, 2024, p. 610). Предпринятый в другом исследовании аналогичный анализ выделяет двадцать два типа стратегий неучтивости в речи Харли, среди которых доминирует позитивная неучтивость (7 из 22 случаев), направленная на ущемление чувства собственного достоинства собеседника, его стремления быть принятым и уважаемым (Yulianti, 2023, p. 11, 22). Данная стратегия функционирует как совокупность речевых актов, основанных на использовании табуированной лексики, ироническом унижении и игнорировании собеседника, а также намеренном создании дискомфорта, что позволяет Харви утверждать собственное превосходство и власть над другими персонажами. Подобная стратегия соотносится с бахтинским понятием профанации — безнаказанного нарушения религиозных и иных социальных норм в пространстве карнавала, где брань, богохульство и святотатство становятся формами символического обновления (1990, с. 23). Характерный для Харли юмор строится на неожиданных сопоставлениях и реконтекстуализации, например, когда она шутит в опасной ситуации, что «не только создает юмористический эффект, но и возвышает Харли Квинн

над ее оппонентами, представляя ее как “эдированного” человека, способного побеждать не только физически, но и интеллектуально» (Jürgens et al., 2024, p. 848).

Карнавальная логика смены авторитетов достигает кульминации в сцене противостояния героини с ее главным антагонистом, где Харли предстает как хаотичная, смеющаяся шутовская фигура в ярком, карнавально-гротескном костюме, а убийство ею противника сопровождается взрывом красок и фейерверком, что отсылает к мотиву низложения короля и символически освобождает Харли для новой самодостаточной жизни. В итоге она утверждает свою субъективность и независимость, причем делает это выходя за рамки заранее навязанных ролей (жертвы, злодейки, ученой, возлюбленной), а ее эксцентричность, непредсказуемость, гротескный вид и поведение, как и другие перечисленные карнавальные атрибуты, в совокупности демонстрируют условность социальных категорий, которые общество стремится навязать индивиду.

Интересно, что, как и в случае с Джокером, карнавальность Харли Квинн не исчерпывается рамками фильма, продолжаясь в практиках фанатского присвоения. Респонденты соответствующих исследований назвали три причины привлекательности Харви для косплея — возможность достоверно воспроизвести ее образ, присущие ему разнообразные характеристики и веселье (Burke, 2021, p. 7), подчеркивая, что «Харли Квинн допускает любое количество интерпретаций» (2021, p. 8) в силу соединения в ней самых разных начал («она в некотором роде психованная и творческая, но дерзкая»; «у нее почти раздвоение личности, и она как бы просто переключается между ними»; «у нее непостоянная натура, которую так трудно определить» (2021, p. 4)). Р. Стэм указывает, что «Бахтина больше интересует символическое опрокидывание социальных иерархий в рамках своего рода оргиастического эгалитаризма» (Stam, 1989, p. 89-90), и косплей Харли создает это эгалитарное пространство, в котором фанаты, в отличие от работы с другими комиксными персонажами, не чувствуют давления канона. Как писал Бахтин, карнавал — это «вторая жизнь народа, организованная на начале смеха» (1990, с. 13) и Харли Квинн активно живет такой второй жизнью.

Вместе с тем успех этой карнавальной стратегии не следует переоценивать: образ Харли Квинн обнаруживает противоречивость, укорененную в самой природе женского гротеска. Исследователи этой проблематики (в частности М. Руссо, П. Сталлибрасс и А. Уайт), указывают на парадоксальность положения женщины, выносящей гротескную телесность в пространство зрелища: если мужское тело становится гротескным только при явных отклонениях, то на женском теле всегда заранее «лежит печать гротескных ассоциаций» (Граната, 2024, с. 37), в результате чего оно по определению оказывается за пределами телесной нормы. Одновременно теоретиками признается продуктивный потенциал такого присвоения: гротеск открывает возможность для критического переосмысления самих границ «нормы» и

«отклонения», позволяя подвергнуть сомнению господствующие стандарты телесности и поведения. В связи с этим М. Руссо рассуждает о женщине, которая не боится «выставить себя на показ» и потому всегда рискует стать объектом осуждения (Russo, 1994, p. 53). Харли не стыдится делать из себя зрелище, однако неочевиден ответ на вопрос: является ли ее «бесстыдство» действительно подрывающим господствующие нормы — или лишь ожидаемым перформансом для зрителей, потребляющих подобный тип контента. Эта амбивалентность особенно ярко артикулируется в исследовании, авторы которого связывают образ Харли с феминизмом третьей волны, где женщины реаппроприируют порнографические элементы для выражения агентности (Geczy & Karaminas, 2019, p. 176). Харли Квинн представляет собой противоречивую фигуру, которая воплощает феминистскую идею сильной женщины, разрушающей традиционные гендерные роли, при этом в то же время рискует стать просто объектом мужского взгляда (2019, p. 185). К. Кларк обнаруживает эту двойственность в сцене исполнения песни “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, где проблематика женской экономической зависимости от мужчин становится предметом рефлексии. Исследовательница связывает эту сцену с наследием Мэрилин Монро и Мадонны, чьи образы одновременно демонстрируют женскую уязвимость и разрушают стереотипы, становятся бунтом против объективации (Clarke, p. 451–452, 459), в связи с чем можно резюмировать, что образ Харли Квинн не подводит черту под однозначным решением проблем неравенства, но скорее становится пространством для их артикуляции и коллективного смеха над абсурдностью патриархальных норм.

Выводы

Рассмотрение антигероев супергеройского кинематографа через призму бахтинской теории карнавала позволяет выйти за пределы анализа отдельных художественных приемов и обратиться к более общим сдвигам в культурных механизмах современного массового воображения. Карнавал в данном контексте выступает не как исторически локализованная форма народной смеховой культуры, но как универсальный способ символической дестабилизации, становящийся востребованным в кризисных условиях. Экономический анализ супергеройского жанра обнаруживает устойчивую закономерность: зародившись во время Великой депрессии, традиционно он процветает в периоды социальной нестабильности — после событий 11 сентября 2001 года, в разгар финансового коллапса 2008 года — в то время, когда супергеройские нарративы дают зрителям пространство, где можно скрыться от внешних проблем и выстроить компенсаторную идентификацию с героическими персонажами, наделенными способностью восстанавливать нарушенный порядок (Wang & Cao, 2025, p. 141). При этом, как отмечает Дж. Браун, на фоне возникших в период 2010-х гг. разговоров о возможной усталости аудитории от супергеройских фильмов, последние показали в то время не только суще-

ственный количественный рост, но и эстетическую диверсификацию: успех картин, радикально отклоняющихся от присущих жанру клише — таких как «Дэдпул» (2016) — продемонстрировал его жизнеспособность при условии постоянного обновления (Brown, 2017, p. 150–156). Антигероический нарратив и карнавализация оказались именно такой транформационной стратегией, которая позволяет жанру отвечать изменяющимся культурным запросам.

Если популярность супергеройского кино коренится в коллективных тревогах и стремлении к символическому решению социальных проблем, то антигерой представляет собой фигуру, посредством которой эти тревоги артикулируются. В его образе отражается противоречие между традиционными ожиданиями от героя как спасителя и невозможностью реализации этой миссии в рамках существующего социального порядка: классический супергерой воплощал культурную фантазию о том, что моральный поступок даже отдельного индивида способен восстановить справедливость в мире, антигерой же артикулирует утрату веры в эту возможность. Так, Дэдпул демонстрирует иронически-циничное отношение к самой концепции героизма и механизмам кинопроизводства; Джокер визуализирует превращение жертвы системного насилия в того, кто обращает это насилие против породивших его институтов; образ Харли Квинн обнажает сложность достижения женской самостоятельности в обществе, где еще сильны патриархальные отношения.

Антигерой в этой перспективе предстает не как революционный субъект трансформации официального порядка и не как фигура подлинной эмансипации, а скорее как культурный симптом специфического состояния сознания, в котором оказываются невозможны ни полное некритическое согласие с существующим устройством общества, ни его радикальное и окончательное отрицание. Карнавальность антигероя заключается не в реальном разрушении системы, а в постоянном символическом напоминании о ее исторической условности, сконструированности и некоторой уязвимости. Возможно, именно поэтому фигура антигероя столь устойчиво занимает центральное место в структуре современной массовой культуры: она позволяет зрителю критически относиться к существующему порядку, не обязывая предлагать взамен конкретную альтернативу, — и карнавальная логика проявляется здесь не в обещании катарсического обновления, а в постоянном удержании культурного пространства в состоянии смеховой относительности, амбивалентности и незавершенности.

Применение бахтинской теории к анализу такого рода фильмов обнаруживает также ее концептуальные пределы и ограничения. Бахтин мыслил карнавал как событие, вписанное в циклическое время аграрного календаря и обеспечивающее регулярное символическое обновление социального организма. Современный франшизный способ голливудского производства создает иную темпоральность — перманентный карнавал, который не может вернуться

к некой «норме» и делается постоянным состоянием культуры. Это порождает ситуацию, которую можно описать как нормализацию трансгрессии: нарушение табу, высмеивание традиций и авторитетов, пародирование властных инстанций, — превращается в привычные компоненты массового развлечения, постепенно теряющие свой шоковый и освобождающий эффект; в современных условиях карнавал неизбежно трансформируется в коммерчески производимый продукт, куда смех встроен заранее. Важно, что карнавальное сознание, описанное Бахтиным как народная альтернатива официальной культуре, в условиях XXI века оказывается продуктом крупных корпораций, которые в духе надзорного капитализма конструируют и последовательно монетизируют зрительский запрос на символическую субверсию, что ставит под вопрос саму возможность карнавального освобождения в эпоху, когда власть функционирует не через механизмы прямого запрета и подавления, но преимущественно через инкорпорацию и капиталистическое присвоение любых потенциально оппозиционных культурных форм.

Итак, бахтинское понимание смеха как формы антимонологического мышления сохраняет продуктивность для анализа популярной культуры. Карнавал в массовом кино функционирует как механизм временной приостановки доминирующих нарративов — он не разрушает их окончательно, но лишает статуса единственно возможной истины. Отсюда, карнавал выступает не как радикальная альтернатива доминирующему порядку, а скорее как механизм его внутренней эрозии и постепенного размывания. Антигерой в этой перспективе предстает как культурная фигура, поддерживающая способность к критическому и ироническому отношению к любым претензиям внешних инстанций на абсолютную правду, карнавализация жанра открывает возможность культурного мышления вне режима окончательных истин, сохраняя культуру в продуктивном состоянии диалогичности, принципиальной незавершенности и внутреннего напряжения. В этом качестве антигеройский нарратив может быть осмыслен как одна из важных форм культурной саморефлексии первой четверти XXI века, требующая дальнейшего систематического философского анализа.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследование и написание текста статьи — Кучерова А. В.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Финансирование отсутствует

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не применялись в исследовании и написании текста статьи.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Adams, A. A., Ben-Youssef, F., Schneier, B., & Murata, K. (2020). Superheroes on Screen: Real Life Lessons for Security Debates. *Security Journal*, 33(4), 565–582. https://doi.org/10.1057/s41284-019-00193-7

Andika, S. A., & Setyawan, A. H. (2024). Analysis of Swearing Words in Movie Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 601–611.

Atthoriq, F. Z. (2024). *Deadpool's Resistance Against the Hegemonic Power as Represented in the Movie Deadpool* (2016) [S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. https://repository.ump.ac.id/17290/

Brake, M. (2024). Deadpool as Philosophy: Using Humor to Rebel Against the System. In D. A. Kowalski, C. Lay, & K. S. Engels (Eds.), *The Palgrave Handbook of Popular Culture as Philosophy* (pp. 967-981). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24685-2_42

Brown, J. (2021). A City Without a Hero: *Joker* and Rethinking Hegemony. *New Review of Film and Television Studies*, 19(1), 7–18. https://doi.org/10.1080/17400309.2020.1864177

Brown, J. A. (2016). *The Modern Superhero in Film and Television*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315708980

Burke, L. (2021). Harley Quinn and the Carnivalesque Transformation of Comic Book Fandom. *Transformative Works and Cultures*, 36. https://doi.org/10.3983/twc.2021.2015

Clarke, K. (2024). "Diamonds Are a Girl's Best Friend"? Tracing the Implications of a Song in Cathy Yan's *Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)*. *Feminist Media Studies*, 24(3), 448–463. https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2200527

Cocca, C. (2016). *Superwomen: Gender, Power, and Representation*. Bloomsbury Publishing USA. https://doi.org/10.5040/9781501316609

Costello, M. J., & Worcester, K. (2014). The Politics of the Superhero: Introduction. *Political Science and Politics*, 47(1), 85–89. https://doi.org/10.1017/S1049096513001625

Day, K. A. (2015). *Crazier than Sack of Ferrets!: Deadpool as the Post-Watchmen Superhero* [Masters Theses, Virginia Tech]. http://hdl.handle.net/10919/75308

DiPaolo, M. (2011). *War, Politics and Superheroes: Ethics and Propaganda in Comics and Film*. McFarland, Incorporated, Publishers.

Doidge, S., & Rosenfeldt, A. (2022). Send in the Clowns: Joker, Vigilante Films, and Populist Revolt. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 65–78). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Eagleton, T. (1981). *Walter Benjamin, or, Towards a Revolutionary Criticism*. Verso Editions and NLB.

Freire, A., & Vidal-Mestre, M. (2022). The Concept of Antihero or Antiheroine in Contemporary Audiovisual Transmedia. *Cuadernos.Info*, (52), 246–265. https://doi.org/10.7764/cdi.52.34771

Geczy, A., & Karaminas, V. (2019). 'Daddy's Lil Monster': Suicide Squad, Third-Wave Feminism and the Pornification and Queering[1] of Harley Quinn. *Film, Fashion & Consumption*, 8(2), 171-188. https://doi.org/10.1386/ffc_00005_1

Ghorab, A., & Harize, O. (2022). Resisting Tyranny with Laughter: Joker and the Arab Revolutions. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 90–103). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Gray, R. J., & Kaklamanidou, B. (Eds.). (2011). *The 21st Century Superhero: Essays on Gender, Genre and Globalization in Film*. McFarland.

Greenwood, D., Ribieras, A., & Clifton, A. (2021). The Dark Side of Antiheroes: Antisocial Tendencies and Affinity for Morally Ambiguous Characters. *Psychology of Popular Media*, 10(2), 165–177. https://doi.org/10.1037/ppm0000334

Hammonds, K. (2021). The Globalization of Superheroes: Diffusion, Genre, and Cultural Adaptations. In K. Hammonds, *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1112

Howell, A. (2021). "I Didn't Know If I Even Really Existed. But I Do": Music, Dance, and the Performance of Male Identity in *Joker*. *New Review of Film and Television Studies*, 19(1), 78–88. https://doi.org/10.1080/17400309.2020.1861880

Hoy, M. (1992). Bakhtin and Popular Culture. *New Literary History*, 23(3), 765–782. https://doi.org/10.2307/469229

1 In the Russian Federation, the "international LGBT social movement" has been designated an extremist organization | В Российской Федерации «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией

Hutabarat, N. S., Lubis, F. M., & Oxcygentri, O. (2020). Analysis of the Meaning of Masculinity in Birds of Prey. *International Journal of Multi Science*, 1(8), 66–81.

Irigaray, L. (1985). *This Sex Which Is Not One*. Cornell University Press.

Javanian, M. H., & Rahmani, F. (2021). Killing Joke: A Study of the Carnivalesque Discourse in Todd Phillips' Joker. *Bakhtiniana: Revista de Estudos Do Discurso*, 16(3), 39–56. https://doi.org/10.1590/2176-457349985

Jürgens, A.-S., Fiadotava, A., & Clitheroe, C.-L. (2024). Vaude-Villain and Violent Funster: Harley Quinn and Humour. *Journal of Graphic Novels and Comics*, 15(6), 842–861. https://doi.org/10.1080/21504857.2024.2330587

Kuryel, A. (2022). Looking at and with images: Crowds in Joker, Joker in the crowd. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 78–90). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Nur, D. L., & Rosida, A. (2020). An Analysis of Slang Words in "Deadpool 2" Movie Directed by David Leitch. *Journal of Advanced English Studies*, 3(2), 113–123. https://doi.org/10.47354/jaes.v3i2.90

Perreault, T. (2023). Rise of the Anti-Hero: Comparison of Moral Ambiguity in Films. *UF Journal of Undergraduate Research*, 25. https://doi.org/10.32473/ufjur.25.133438

Pretty Sitanggang, M. A., Setia, E., & Ganie, R. (2020). Dysphemism Used in Deadpool Movie Paper Title. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 4(2), 125–139. https://doi.org/10.33019/lire.v4i2.73

Qodarain, H. L. (2021). Redefining Femininity: Revealing Harley's Struggle to Exercise Agency in Movie "Birds of Prey." *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies*, 9(1), 9–17.

Russo, M. J. (1995). *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity*. Psychology Press.

Stam, R. (1989). *Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film*. Johns Hopkins University Press.

Syahla, D., & Hartati, S. (2023). Types of Swearing Words Used by The Characters In Birds of Prey. *LADU: Journal of Languages and Education*, 3(3), 107–113. https://doi.org/10.56724/ladu.v3i3.136

Takovski, A. (2019). Coloring Social Change: Humor, Politics, and Social Movements. *Humor*, 33(4), 485–511. https://doi.org/10.1515/humor-2019-0037

Wang, K., & Cao, Q. (2025). Superhero Movies and Hollywood Decline: The Influence of Economic Environments. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 246(1), 139–145. https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.GL30777

Wang, Z. (2023). Popular Anti-heroes: Origin, Changes, and Influences. *Communications in Humanities Research*, 3(1), 1083–1088. https://doi.org/10.54254/2753-7064/3/2022796

Wilson, C., & Piatti-Farnell, L. (2023). Re-Examining Superhero Politics in Popular Culture. *Australasian Journal of Popular Culture*, 12(1), 3–7. https://doi.org/10.1386/ajpc_00064_2

Yogerst, C. (2017). Superhero Films: A Fascist National Complex or Exemplars of Moral Virtue? *Journal of Religion & Film*, 21(1). https://doi.org/10.32873/uno.dc.jrf.21.01.37

Yulianti, A. P. (2023). *Impoliteness Strategies Representing Power Relations in Birds of Prey Movie* [Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/59983/

Батлер, Дж. (2022). *Гендерное беспокойство*. V-A-C Press.

Бахтин, М. М. (1963). *Проблемы поэтики Достоевского*. Эксмо.

Бахтин, М. М. (1990). *Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса*. Художественная литература.

Березняков, Д. В. (2012). Протестная политическая активность в современной российской интернет-среде: Вариант интерпретации. *Вестник НГУ. Серия: История, филология*, 11(6), 57–62.

Граната, Ф. (2024). *Экспериментальная мода*. Новое литературное обозрение.

Малви, Л. (2000). Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф. В Е. И. Гапова & А. Р. Усманова (Ред.), *Антология гендерной теории* (сс. 280–296). Пропилеи.

Радин, П. (1999). *Трикстер. Исследование мифов северо-американских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К. Кереньи*. Евразия.

Эко, У. (2007). От игры к карнавалу. В *Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ* (сс. 54-57). Эксмо.

References

Adams, A. A., Ben-Youssef, F., Schneier, B., & Murata, K. (2020). Superheroes on Screen: Real Life Lessons for Security Debates. *Security Journal*, 33(4), 565–582. https://doi.org/10.1057/s41284-019-00193-7

Andika, S. A., & Setyawan, A. H. (2024). Analysis of Swearing Words in Movie Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 601–611.

Atthoriq, F. Z. (2024). *Deadpool's Resistance Against the Hegemonic Power as Represented in the Movie Deadpool* (2016) [S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. https://repository.ump.ac.id/17290/

Bakhtin, M. M. (1963). *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Eksmo. (In Russian).

Bakhtin, M. M. (1990). *Rabelais and His World*. Khudozhestvennaya Literatura. (In Russian).

Bereznyakov, D. V. (2012). Protest political activity in the contemporary Russian Internet environment: A possible interpretation. *Vestnik NSU. Series: History and Philology*, 11(6), 57–62. (In Russian).

Brake, M. (2024). Deadpool as Philosophy: Using Humor to Rebel Against the System. In D. A. Kowalski, C. Lay, & K. S. Engels (Eds.), *The Palgrave Handbook of Popular Culture as Philosophy* (pp. 967-981). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24685-2_42

Brown, J. (2021). A City Without a Hero: *Joker* and Rethinking Hegemony. *New Review of Film and Television Studies*, 19(1), 7–18. https://doi.org/10.1080/17400309.2020.1864177

Brown, J. A. (2016). *The Modern Superhero in Film and Television*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315708980

Burke, L. (2021). Harley Quinn and the Carnivalesque Transformation of Comic Book Fandom. *Transformative Works and Cultures*, 36. https://doi.org/10.3983/twc.2021.2015

Butler, J. (2022). *Gender Trouble*. V-A-C Press. (In Russian).

Clarke, K. (2024). "Diamonds Are a Girl's Best Friend"? Tracing the Implications of a Song in Cathy Yan's *Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)*. *Feminist Media Studies*, 24(3), 448–463. https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2200527

Cocca, C. (2016). *Superwomen: Gender, Power, and Representation*. Bloomsbury Publishing USA. https://doi.org/10.5040/9781501316609

Costello, M. J., & Worcester, K. (2014). The Politics of the Superhero: Introduction. *Political Science and Politics*, 47(1), 85–89. https://doi.org/10.1017/S1049096513001625

Day, K. A. (2015). *Crazier than Sack of Ferrets!: Deadpool as the Post-Watchmen Superhero* [Masters Theses, Virginia Tech]. http://hdl.handle.net/10919/75308

DiPaolo, M. (2011). *War, Politics and Superheroes: Ethics and Propaganda in Comics and Film*. McFarland, Incorporated, Publishers.

Doidge, S., & Rosenfeldt, A. (2022). Send in the Clowns: Joker, Vigilante Films, and Populist Revolt. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 65–78). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Eagleton, T. (1981). *Walter Benjamin, or, Towards a Revolutionary Criticism*. Verso Editions and NLB.

Eco, U. (2007). From play to carnival. In *Turning Back the Clock: Hot Wars and Media Populism* (pp. 54–57). Eksmo. (In Russian).

Freire, A., & Vidal-Mestre, M. (2022). The Concept of Antihero or Antiheroine in Contemporary Audiovisual Transmedia. *Cuadernos.Info*, (52), 246–265. https://doi.org/10.7764/cdi.52.34771

Geczy, A., & Karaminas, V. (2019). 'Daddy's Lil Monster': Suicide Squad, Third-Wave Feminism and the Pornification and Queering[1] of Harley Quinn. *Film, Fashion & Consumption*, 8(2), 171-188. https://doi.org/10.1386/ffc_00005_1

Ghorab, A., & Harize, O. (2022). Resisting Tyranny with Laughter: Joker and the Arab Revolutions. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 90–103). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Granata, F. (2024). *Experimental Fashion*. New Literary Observer. (In Russian).

Gray, R. J., & Kaklamanidou, B. (Eds.). (2011). *The 21st Century Superhero: Essays on Gender, Genre and Globalization in Film*. McFarland.

Greenwood, D., Ribieras, A., & Clifton, A. (2021). The Dark Side of Antiheroes: Antisocial Tendencies and Affinity for Morally Ambiguous Characters. *Psychology of Popular Media*, 10(2), 165–177. https://doi.org/10.1037/ppm0000334

Hammonds, K. (2021). The Globalization of Superheroes: Diffusion, Genre, and Cultural Adaptations. In K. Hammonds, *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1112

Howell, A. (2021). "I Didn't Know If I Even Really Existed. But I Do": Music, Dance, and the Performance of Male Identity in *Joker*. *New Review of Film and Television Studies*, 19(1), 78–88. https://doi.org/10.1080/17400309.2020.1861880

Hoy, M. (1992). Bakhtin and Popular Culture. *New Literary History*, 23(3), 765–782. https://doi.org/10.2307/469229

Hutabarat, N. S., Lubis, F. M., & Oxcygentri, O. (2020). Analysis of the Meaning of Masculinity in Birds of Prey. *International Journal of Multi Science*, 1(8), 66–81.

Irigaray, L. (1985). *This Sex Which Is Not One*. Cornell University Press.

1 In the Russian Federation, the "international LGBT social movement" has been designated an extremist organization | В Российской Федерации «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией

Javanian, M. H., & Rahmani, F. (2021). Killing Joke: A Study of the Carnivalesque Discourse in Todd Phillips' Joker. *Bakhtiniana: Revista de Estudos Do Discurso*, 16(3), 39–56. https://doi.org/10.1590/2176-457349985

Jürgens, A.-S., Fiadotava, A., & Clitheroe, C.-L. (2024). Vaude-Villain and Violent Funster: Harley Quinn and Humour. *Journal of Graphic Novels and Comics*, 15(6), 842–861. https://doi.org/10.1080/21504857.2024.2330587

Kuryel, A. (2022). Looking at and with images: Crowds in Joker, Joker in the crowd. In S. Redmond (Ed.), *Breaking Down Joker: Violence, Loneliness, Tragedy* (pp. 78–90). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003171300

Mulvey, L. (2000). Visual pleasure and narrative cinema. In E. I. Gapova & A. R. Usmanova (Eds.), *An Anthology of Gender Theory* (pp. 280–296). Propilei. (In Russian).

Nur, D. L., & Rosida, A. (2020). An Analysis of Slang Words in "Deadpool 2" Movie Directed by David Leitch. *Journal of Advanced English Studies*, 3(2), 113–123. https://doi.org/10.47354/jaes.v3i2.90

Perreault, T. (2023). Rise of the Anti-Hero: Comparison of Moral Ambiguity in Films. *UF Journal of Undergraduate Research*, 25. https://doi.org/10.32473/ufjur.25.133438

Pretty Sitanggang, M. A., Setia, E., & Ganie, R. (2020). Dysphemism Used in Deadpool Movie Paper Title. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 4(2), 125–139. https://doi.org/10.33019/lire.v4i2.73

Qodarain, H. L. (2021). Redefining Femininity: Revealing Harley's Struggle to Exercise Agency in Movie "Birds of Prey." *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies*, 9(1), 9–17.

Radin, P. (1999). *The Trickster: A Study in American Indian Mythology, with Commentaries by C. G. Jung and K. Kerényi*. Eurasia. (In Russian).

Russo, M. J. (1995). *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity*. Psychology Press.

Stam, R. (1989). *Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film*. Johns Hopkins University Press.

Syahla, D., & Hartati, S. (2023). Types of Swearing Words Used by The Characters In Birds of Prey. *LADU: Journal of Languages and Education*, 3(3), 107–113. https://doi.org/10.56724/ladu.v3i3.136

Takovski, A. (2019). Coloring Social Change: Humor, Politics, and Social Movements. *Humor*, 33(4), 485–511. https://doi.org/10.1515/humor-2019-0037

Wang, K., & Cao, Q. (2025). Superhero Movies and Hollywood Decline: The Influence of Economic Environments. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 246(1), 139–145. https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.GL30777

Wang, Z. (2023). Popular Anti-heroes: Origin, Changes, and Influences. *Communications in Humanities Research*, 3(1), 1083–1088. https://doi.org/10.54254/2753-7064/3/2022796

Wilson, C., & Piatti-Farnell, L. (2023). Re-Examining Superhero Politics in Popular Culture. *Australasian Journal of Popular Culture*, 12(1), 3–7. https://doi.org/10.1386/ajpc_00064_2

Yogerst, C. (2017). Superhero Films: A Fascist National Complex or Exemplars of Moral Virtue? *Journal of Religion & Film*, 21(1). https://doi.org/10.32873/uno.dc.jrf.21.01.37

Yulianti, A. P. (2023). *Impoliteness Strategies Representing Power Relations in Birds of Prey Movie* [Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/59983/

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Исследования кинематографа и массовой культуры | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.753

Fan Studies in 1992: On the Theoretical and Methodological Frameworks and the Subject Field of the First Wave

Anton Yu. Golubev

National Research University Higher School of Economics (HSE University). Moscow, Russia.
Email: golubev.a[at]hse.ru ORCID https://orcid.org/0009-0007-9899-1381

Received: 29 March 2026 | Revised: 13 April 2026 | Accepted: 21 April 2026

Abstract

The article examines the theoretical and methodological orientations and substantive scope of Anglophone fan studies in 1992, treating them as part of the first wave of scholarship on fans and fandoms. It offers a reconsideration of the influential conceptualization of the first-wave fan studies advanced by J. Gray, C. Sandvoss, and C. L. Harrington. More specifically, it argues that the methodological approaches characteristic of fan studies in 1992 cannot be adequately reduced to Michel de Certeau's notion of "poaching." Likewise, the field's object of inquiry extended beyond fandom understood as a community of collective interpreters and included the intrapersonal motivations of individual fans. It further suggests that the conceptual boundaries of the first wave as a whole were drawn largely through the prism of Henry Jenkins's influential understanding of fandom as a participatory community. The study is of interest to the scholars in media studies, cultural studies, sociology of culture, and communication studies, as well as to the researchers of fan communities and popular culture.

Keywords

Fan Studies; Fandom; Fans; Fan Culture; Popular Culture; Media Studies; Cultural Studies; Henry Jenkins; Michel de Certeau; Participatory Culture

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Anton Yu. Golubev

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Cinema and Popular Culture Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.753

Фан-исследования 1992 г.: к вопросу о теоретико-методологических установках и предметном поле первой волны

Голубев Антон Юрьевич

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Москва, Россия. Email: golubev.a[at]hse.ru ORCID https://orcid.org/0009-0007-9899-1381

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 13 апреля 2026 | Принята: 21 апреля 2026

Аннотация

Статья посвящена анализу теоретико-методологических установок и предметного поля англоязычных фан-исследований 1992 г. как части первой волны изучения фанатов и фандомов. Предлагается переосмысление концептуализации фан-исследований первой волны, предложенной Дж. Греем, К. Сандвоссом и К.Л. Харрингтон. В частности, в статье показано, что методологические подходы фан-исследований 1992 г. преимущественно не сводились к «браконьерской» оптике Мишеля де Серто, а предметное поле не было ограничено фандомом как сообществом коллективных интерпретаторов, но включало также внутриличностные мотивы отдельных фанатов. Кроме того, высказывается предположение, что концептуальные рамки всей первой волны были описаны на основе исследовательского взгляда Генри Дженкинса на фандом как партисипативное сообщество. Исследование представляет интерес для специалистов в области медиаисследований, культурологии, социологии культуры и коммуникации, а также для исследователей фанатских сообществ и популярной культуры.

Ключевые слова

фан-исследования; фандом; фанаты; фанатская культура; популярная культура; медиаисследования; культурология; Генри Дженкинс; Мишель де Серто; партисипативная культура

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Голубев Антон Юрьевич

Введение

«Сейчас подходящий момент для фан-исследований сделать шаг назад, чтобы осмыслить пройденный путь, текущее состояние и определить направления развития в будущем» — так американский исследователь медиа Пол Бут начинает статью, приуроченную к двадцатилетию выхода основополагающих для англоязычных fan studies[1] работ (2013, p. 119). В 1992 г. были изданы «Предприимчивые женщины: телевизионный фандом и создание популярного мифа» Камиллы Бэкон-Смит (1992), сборник «Обожающая аудитория: фан-культура и популярные медиа» под редакцией Лизы Льюис (1992c) и «Текстовые браконьеры: телевизионные фанаты и культура соучастия» Генри Дженкинса (1992b), последняя даже была прозвана «библией для исследователей фанатов» (Ним, 2024, с. 36). Грядущая в 2027 году тридцать пятая годовщина с выхода данных работ представляется не менее подходящим поводом, чтобы вновь обратиться к исследованиям, с которых начались англоязычные fan studies.

За более чем тридцатилетнее существование фан-исследований предпринимались попытки каким-либо образом систематизировать имеющиеся работы, однако большей частью внимание сосредотачивалось на концептуальной рамке. Не вдаваясь в подробности, кратко перечислим основные из них.

Джонатан Грей, Корнел Сандвосс и К. Ли Харрингтон выделили три волны в развитии фан-исследований (2007, p. 1–10). Первая волна (Г. Дженкинс, К. Бэкон-Смит, авторы сборника под редакцией Л. Льюс и т. д.) черпала вдохновение в «браконьерской» оптике Мишеля де Серто (2013), поэтому фандом рассматривался не просто как сообщество увлеченных фанатов, а как коллектив интерпретаторов, совместными усилиями борющийся с доминирующей идеологией, транслируемой через СМИ. Соответственно, целью исследователей первой волны была поддержка угнетенных: борьба со стереотипными представлениями о фанатах и описание их партизанских тактик, — что по сути являлось целенаправленным политическим высказыванием (Gray, Harrington & Sandvoss, 2007, p. 2). Вторая волна (Ч. Делл (1998), Ч. Харрис (1998), М. Янкович (2002) и т.д.) стремилась выйти за рамки бинарного противостояния и обратилась к оптике социологии потребления, разработанной Пьером Бурдьё (1984). Исследователи второй волны все так же задавались вопросами власти и неравенства, но теперь уже смотрели на фандом не как на силу, противостоящую существующей социальной иерархии, а как на часть, инкорпорированную в нее, и, следовательно, поддерживающую существующее неравенство. Подход Бурдьё был использован, чтобы развенчать представления первой волны о поп-культуре как пространстве эмансипации (Gray, Harrington & Sandvoss, 2007, p. 6). Третья волна, с одной стороны,

1 Здесь и далее термины fan studies и фан-исследования используются синонимично.

на микроуровне сосредотачивается не на коллективном, а на индивидуальном, т. е. на фанатах, их мотивациях и личном отношении к фан-объектам; с другой стороны, на макроуровне отрицает подходы первой и второй волн и выходит за их концептуальные рамки, обращаясь к исследованию фанатов в контексте социальных, культурных и экономических преобразований современности. Иными словами, третья волна стала более разнообразной в концептуальном, теоретическом и методологическом плане (p. 8). Вышеупомянутый П. Бут предложил дополнить эти волны еще одной, четвертой: «метаповоротом, переходом к изучению самих фан-исследований» (2013, p. 121).

Польский культуролог Пётр Сиуда, безусловно, ознакомившийся с вышеизложенной концепцией трех волн, также предложил разделить фан-исследования на три волны, но несколько иным образом (2010, p. 87-99). По большей части, речь идет о тех же работах, о которых писали Дж. Грей, К. Сандвосс и К. Л. Харрингтон, но группируются они иначе, а потому и в отличие от Дж. Грея с коллегами П. Сиуда отмечает особенность деления фан-исследований на волны:

> «Волны, как и волны на воде, под влиянием различных факторов и условий могут быть длиннее или короче, быстрее или медленнее. Они могут накладываться друг на друга, а могут и не накладываться. То же самое можно сказать и о волнах исследований в области фан-культуры — они весьма разнообразны» (Siuda, 2010, p. 88).

Первая волна, названная автором «волной отклонения» (deviation wave) (Дж. Гулдинг (1985), С. Хинерман (1992) и т.д.), начинается в 1939 г., тогда же, когда был проведен первый Всемирный конвент научной фантастики, и характеризуется отрицательным отношением к фанатам, на которых смотрели сквозь призму стереотипов: девианты, асоциальные личности, неспособные вести нормальную жизнь, — которые нуждались в психиатрическом лечении (Siuda, 2010, p. 89). Вторая волна, «волна сопротивления» (resistance wave), начинается с 1992 г., когда вышли ключевые для фан-исследований произведения Г. Дженкинса, К. Бэкон-Смит и т.д., и характеризуется взглядом на фанатов под влиянием идей де Серто как на активных творцов, создающих собственную культуру, в противовес господствовавшим ранее убеждениям в пассивности фанатов, которыми манипулируют через произведения массовой культуры (p. 93). Третья волна, «волна преобладания» (mainstream wave), началась в 2006 г. с выходом «Конвергентной культуры» Г. Дженкинса (2006) и характеризуется отказом от взгляда на производителей как манипуляторов при одновременном отказе от взгляда на фанатов как борцов; теперь фандомы рассматриваются как активные потребители, которых производители «превозносят и чуть ли не возводят на пьедестал» (Siuda, 2010, p. 97), ведь они способны поддержать медиапродукт лучше любой рекламы.

Схожую логику развития фан-исследований, соотносящуюся с историей отношений производителей и фанатов, предлагают Линда Дуитс, Коос Цваан

и Стейн Рейндерс: «сопротивление» (fan resistance), «участие» (fan participation) и «возвышение» (fan exaltation) (2014, p. 1–3). На этапе «сопротивления» в 1990-е гг. фанаты воспринимались как маргиналы, находящиеся в оппозиции к производителям. На этапе «участия» в 2000-е гг. с развитием технологий граница между производителями и потребителями-фанатами начала стираться, благодаря появлению фандрайзинга, сотворчества и иных партисипативных практик. На этапе «возвышения» в 2010-е гг. с еще большим развитием мобильных технологий и Интернета культура соучастия становится нормативным стандартом, где каждый является фанатом и находится в авангарде развития медиа. Так, и фан-исследования проходят путь от зарождения до принятия основных концепций в академии и переосмысления границ предметного поля (Duits, Zwaan & Reijnders, 2014, p. 3).

Описанные выше концептуализации фан-исследований, очевидно, совпадают с историей развития самого фандома и имеют общую логику «от общественной стигматизации фанатов к нормализации фан-культуры и “фандомизации” повседневной жизни», как точно подмечает социолог, исследователь фан-культуры Евгения Генриевна Ним (2024, с. 38). При этом общими местами являются и недостатки предложенных подходов. Во-первых, сосредотачиваясь на концептуальной рамке фан-исследований, не разрабатываются и не предлагаются подробные критерии, на основе которых группируются исследования. Во-вторых, что является следствием первого, не до конца ясны концептуальные и хронологические границы волн; по логике, предложенной П. Сиудой, волны начинаются, пересекаются, но неясно, заканчиваются ли. В-третьих, что, возможно, является причиной первого и второго недостатков, авторы, концептуализирующие фан-исследования, не приводят качественного, сравнительного анализа описываемых работ хотя бы в том, что касается методологии и предметного поля фан-исследований. Отчасти это может быть обусловлено тем, что попытки каким-либо образом осмыслить историю фан-исследований предпринимаются в предисловиях к сборникам статей или в статьях, что не оставляет пространства для полноценного исследования, но в то же время не оправдывает и не снимает указанных противоречий.

Соответственно, цель статьи носит двоякий характер. С одной стороны, провести сравнительный анализ основополагающих фан-исследований 1992 г. для восполнения лакуны в имеющихся описаниях работ первой волны[1]. С другой стороны, уточнить и, возможно, частично оспорить положения существующих концептуализаций.

1 Здесь и далее, обращаясь к делению фан-исследований на три волны, мы будем иметь в виду систематизацию, предложенную Дж. Греем, К. Сандвоссом и К.Л. Харрингтон.

Методология фан-исследований 1992 г.: вдохновленные Мишелем де Серто?

Предпосылка Дж. Грея, К. Сандвосса и К. Ли Харрингтон относительно того, что первая волна черпала вдохновение в «браконьерской» оптике Мишеля де Серто (2007, p. 1–2), укоренилась в исследованиях о fan studies (Siuda, 2010, p. 93; Booth, 2013, p. 121; Ним, 2024, с. 37). Однако она представляется слишком сильным обобщением, чтобы быть правдой.

В первой главе «Текстовых браконьеров» Г. Дженкинс пишет:

> «Опираясь на работу Мишеля де Серто, автор предлагает альтернативную концепцию фанатов как читателей, которые присваивают популярные тексты и перечитывают их в соответствии со своими интересами, как зрителей, которые превращают просмотр телепередач в богатую и сложную культуру соучастия. С этой точки зрения фанаты становятся примером того самого “похищения” текстов, которое де Серто связывает с популярным чтением» (Jenkins, 1992b, p. 23).

Однако оптика де Серто преломляется в работе Г. Дженкинса, который был не во всем согласен с французским философом.

Мишель де Серто в «Изобретении повседневности» «восстает» против концепции потребления, согласно которой выгоду из культурного производства получает только элита, а удел массы — довольствоваться тем рационом симулякров, которыми их кормит социальная элита (2013, с. 279–280). Де Серто отмечает, что текст обретает значение только благодаря читателям, которые меняют и упорядочивают его через собственные коды восприятия, и таким образом, через вольные интерпретации, становится культурным оружием против элит, облеченных социальной властью (2013, с. 288–289). Разделив роли в культурном производстве на «земледельцев» (производителей) и «кочевников» (потребителей), де Серто отводит читателям роль путешественников-браконьеров, переходящих от одного взрощенного земледельцами текста к другому, что обусловлено ненадежностью чтения, не сохраняющего или почти не сохраняющего приобретенного (2013, с. 292). Так, по де Серто, ведется противоборство элит и массы, в котором элиты стремятся подчинить читателя своей «информации», а массы используют тактики сопротивления, создавая новые значения текстов, чтобы скрыть свое неподчинение имеющим социальную власть.

Г. Дженкинс использует «браконьерскую» оптику Мишеля де Серто для анализа фан-культуры, маргинализированной в обществе, и отмечает, что для дополнения концепции французского социолога изучение фанатов, лишенных доступа к средствам культурного производства и располагающих ограниченными ресурсами, особенно важно, ведь они представляют активное и громкое сообщество потребителей, подобное тем, кто влиял на сюжет романов Диккенса, выходивших частями, или требовал возвращение Шерлока Холмса, когда автор решил от него отказаться (1992b, p. 28–29). При этом

Г. Дженкинс не во всем соглашается с де Серто, дополняя и уточняя его концепцию на примере своего объекта исследования. Во-первых, утверждение де Серто, что «кочевники» в противовес «земледельцам» ничего или почти ничего не сохраняют, на примере фан-культуры оказывается ошибочным, поскольку a) смыслы, созданные на один раз и оттого отброшенные, характерны для индивидуального чтения, а фан-чтение — социальный процесс, в ходе которого созданные интерпретации формируются, закрепляются и меняются через обсуждения с другими фанатами; b) граница между читателями-кочевниками и писателями-земледельцами в фан-сообществе размывается, поскольку фанаты одновременно могут быть как читателями, так и авторами фан-контента (рассказов, песен, рисунков и т.д.) (Jenkins, 1992b, p. 45-46). Во-вторых, если за читателями литературы де Серто оставляет право сопротивления, ведь они могут преобразовывать тексты, то в отношении потребителей телевидения он разделяет общие предубеждения о силе воздействия технологий и отказывает им в таком праве (2013, с. 284), на что Г. Дженкинс возражает, приведя пример фанатских критических статей о сериалах и переписанных сюжетах, что также является способом интерпретации изначального медиатекста (1992b, p. 158). В остальном Г. Дженкинс разделяет взгляды де Серто и видит в фанатах активную аудиторию, ведущую борьбу с навязанными извне смыслами, «похищая» и присваивая себе произведения популярной культуры.

Однако, если, как видно из текста выше, Г. Дженкинс действительно черпал вдохновение в идеях де Серто, едва ли этот тезис возможно распространить на исследование К. Бэкон-Смит и сборник эссе под редакцией Л. Льюис.

В монографии К. Бэкон-Смит «Предприимчивые женщины: телевизионный фандом и создание популярного мифа», написанной на основе материала, собранного автором в 1980-е гг., нет ни одного упоминания Мишеля де Серто, хотя его «Изобретение повседневности» уже было написано и переведено на английский язык. Как отмечает сама К. Бэкон-Смит, она опиралась на методы этнографии, разработанные социолингвистами Деллом и Вирджинией Хаймс и культурным антропологом Клиффордом Гирцом (1992, p. 299), и в еще большей степени — на семинары Д. Хаймса и его принцип: «Если вы хотите узнать, что что-то значит в той или иной культуре, спросите», — поскольку большая часть его основных идей не была опубликована (Bacon-Smith, 1992, p. 304-305).

Исследование К. Бэкон-Смит можно разделить на две части: практическую и теоретическую, — где первая необходима для сбора материала, а вторая для его интерпретации. Говоря о практической части, К. Бэкон-Смит описывает три метода этнографического исследования, которые она использовала. Первый — тщательно прислушиваться к тому, как члены фан-сообщества разговаривают друг с другом и в особенности с самим этнографом

как новичком, которому нужно помочь освоиться в группе (при этом по мере сокращения дистанции научная этика требует напоминать сообществу, что их разговоры станут доступны более широкой аудитории, поэтому автор носила микрофон диктофона на ремне через плечо, а сам диктофон держала на видном месте) (p. 299–300). Второй — анализ не только произносимых слов, но и того, как слова связаны с действиями сообщества и как они друг на друга влияют (в частности, как словесная игра используется для проверки принадлежности к фан-сообществу) (p. 299-300). Третий — участие, чтобы понять, насколько этнограф понял то, что услышал и увидел в изучаемом сообществе (так, К. Бэкон-Смит после пяти лет исследования написала фан-рассказы и отправила их в редакцию фэнзина и местные сообщества, после чего ей дали обратную связь, и она поняла, что плохо усвоила эстетику изучаемой группы, зато получила конкретную информацию о совершенных ошибках, что дало новый виток исследованию) (p. 301).

Теоретической предпосылкой исследования стала гипотеза лингвистической относительности, известная также как гипотеза Уорфа — Сепира, согласно которой язык лежит в основе культуры, т. е. определяет мировоззрение и поведение человека (Уорф, 1960; Сепир, 1993). Однако К. Бэкон-Смит осознает неразрешенность проблемы влияния языка на культуру или культуры на язык, а потому предполагает, что речь скорее идет о взаимовлиянии языка и культуры (Bacon-Smith, 1992, p. 302). Соответственно, подмечая, что фандом активно генерирует нарратив (например, фанфикшн), автор поставила перед собой две задачи: 1) исследовать, как фанфики действуют как язык, и 2) исследовать, как фанфики действуют как повествование для организации опыта (p. 303). В ходе исследования сам нарративный процесс понимался так, как если бы все его произведения воспринимались авторами и аудиторией как истинное отражение культуры, отчего недостоверная информация воспринимается не как вымысел, а просто как плохая история, в которую не верится; а вера, в свою очередь, определяется принятыми в конкретном фан-сообществе представлениями о правильности, приемлемости, обусловленными принятым уровнем абстракции, необходимом для дистанцирования от социальной опасности в реальном мире (p. 303-304).

Итак, получается, что только одна основополагающая работа фан-исследований 1992 г. опиралась на идеи Мишеля де Серто? В сборнике эссе «Обожающая аудитория: фан-культура и популярные медиа» под редакцией Л. Льюис де Серто упоминается только один раз — опять же в тексте Г. Дженкинса (Jenkins, 1992a, p. 215). Теперь, обозначив этот факт, представляется лишним подробно анализировать теоретико-методологические установки всех авторов сборника, поэтому мы остановимся на трех «программных» эссе, составляющих его первую часть — «К определению фандома» (Defining Fandom). Джоли Дженсон в эссе «Фандом как патология: последствия характеризации» анализирует, как складывался патологический образ фанатов, и, используя

логику от обратного: чем «влюбленный» в свой объект исследования ученый отличается от «обожающего» свой фан-объект фаната? — не прибегает к какой-либо концептуальной рамке, предпочитая использовать аргументы ad misericordiam[1] (1992, p. 9–29). Джон Фиске в эссе «Культурная экономика фандома» (1992, p. 30–49), анализируя отличия популярной культуры от элитарной, обращается к идеям П. Бурдьё (1984), согласно которым культура рассматривается как экономика, в которой люди инвестируют и накапливают капитал. Наконец, Лоуренс Гроссберг в эссе «Есть ли в доме фанат? Аффективная чувствительность фандома» (1992, p. 50–65), по сути не соглашаясь ни с Г. Дженкинсом, ни с Дж. Фиске (соответственно, ни с Мишелем де Серто, ни Пьером Бурдьё) в том, какими характеристиками обладают фанаты и что / кто оказывает на них влияние, предоставляет критический анализ, близкий по духу к британским cultural studies (Hall, 1980, p. 128–138), добавляя акцент на аффективное состояние фанатов.

Таким образом, утверждение, что фан-исследования первой волны черпали вдохновение в идеях Мишеля де Серто, представляется слишком широким обобщением. Напрямую к де Серто обращается Г. Дженкинс, тогда как К. Бэкон-Смит и авторы сборника эссе под редакцией Л. Льюс руководствуются иными теоретико-методологическими установками[2]. Вернее было бы говорить, что авторы фан-исследований 1992 г. продолжили идти по пути, намеченному как Мишелем де Серто, так и поздними британскими cultural studies, а именно — «восстали» против духа времени и представлений о фанатах как пассивной управляемой аудитории, сложившихся в середине XX в. под влиянием идей Антонио Грамши.

Предметное поле фан-исследований 1992 г.: фанаты и фандомы

Унификация представлений о предметном поле фан-исследований 1992 г., от которых отсчитывают и начало первой волны, и самих фан-исследований, неизбежна при описании широкими мазками. От этого еще более актуальной становится необходимость рассмотреть, как авторы фан-исследований 1992 г. определяют предметное поле только зарождающейся и еще не признанной научной дисциплины.

1 Например: «…я считаю подобные обвинения в нездоровом поведении, основанные на моих предпочтениях, ошибочными и нелепыми, а также крайне оскорбительными… Уничижительная ассоциация фандома с патологией в применении к «нам», а не к «ним», выглядит крайне неуважительно» (Jenson, 1992, p. 23).

2 Стоит отметить, что Дж. Грей с коллегами пишут, что исследователи второй волны «нашли новый концептуальный лейтмотив в социологии потребления, разработанной французским социологом Пьером Бурдьё», а дальше отмечают, что обращение к индивидуальному у авторов третьей волны привело к появлению психоаналитических подходов в фан-исследованиях (2007, p. 6, 8). Однако обращение и к идеям П. Бурдьё и к психоанализу, соответственно, уже появляется в работах Дж. Фиске и С. Хинермана, авторов первой волны (Fiske, 1992; Hinerman, 1992).

Кого изучают авторы фан-исследований 1992 г.? Во введении к «Текстовым браконьерам» Г. Дженкинс отмечает, что современные (ему) cultural studies изучают разнообразные аудитории, но он сосредоточится только на одной группе, которую называет медиафандомом, состоящим из поклонников кино и телевидения (1992b, p. 1). Хотя само заглавие монографии К. Бэкон-Смит «Предприимчивые женщины: телевизионный фандом и создание популярного мифа» уже обозначает изучаемую группу фанатов, в конце работы в глоссарии автор уточняет определение фандома[1]: «термин, используемый членами связанных групп, которые идентифицируют себя по своему интересу к научной фантастике, научно-фантастическим и приключенческим телевизионным и кинофильмам, комиксам, японской анимации и костюмам» (1992, p. 309). И К. Бэкон-Смит, и Г. Дженкинс перечисляют широкую категорию произведений от телесериалов и голливудского кино до японского аниме (Jenkins, 1992a, p. 1), но в своих работах под медиафандомом они понимают преимущественно группу фанатов научной фантастики и изучают, в частности, фанатов сериала «Звездный путь» (Star Trek).

Несмотря на то, что первая часть сборника эссе под редакцией Л. Льюис называется «К определению фандома» (Defining Fandom), ее авторы не оказываются столь определенными в том, какую группу фанатов они изучают. Дж. Дженсон рассматривает, как в популярных и научных текстах представлены два образа фанатов: одержимый одиночка и истеричная толпа, — сосредотачивая свое внимание на музыкальных и спортивных фанатах, а потом и на самих ученых как фанатах своего объекта исследования (1992, p. 9, 12, 20). Дж. Фиске, хотя и рассматривает противоборство элитарной и популярной культур (к последней, конечно, относится фан-культура) и опирается на большой корпус уже проведенных фан-исследований, до поры обходится без примеров и конкретизации, о каких фанатах он пишет, и только к концу эссе становится понятно, что автор использует термины «фанаты» и «фандом» скорее как собирательные, отчего в эти категории попадают поклонники телепрограмм, музыкальных групп или исполнителей, спортивных команд, любовных романов, кино и т. д. (1992, p. 37-39, 41). Л. Гроссберг подмечает, что, если считать потребителей популярной культуры за активную аудиторию, то следующим шагом необходимо задаться вопросом: а что же тогда отличает фанатов от обычных потребителей? (1992, p. 53). Не сужая «фандом» до поклонников какого-либо определенного фан-объекта, Л. Гроссберг предлагает ввести понятие «аффективного восприятия» (affective sensibility), характерного для фанатов, которое заключается в количественном и качественном вложении эмоциональных сил в значимые для них продукты поп-культуры, через которые они конструируют свою идентичность (1992, p. 57–59).

Авторам первой части сборника, призванной определить, кто такие фанаты и что такое фандом, не удалось прийти к единому пониманию пред-

1 Примечательно, что в указанном глоссарии нет слова «фанат/ы» и определения к нему.

метного поля фан-исследований — это же наблюдается и в других текстах сборника. Кратко обозначим, что и кого изучали авторы последующих эссе. Во второй части сборника «Фандом и гендер» (Fandom and Gender) Шерил Клайн представляет полемическое автоэтнографическое эссе (1992, p. 69–83), в котором описывает общественное мужское отношение к женщинам-фанатам рок-звезд; а Барбара Эренрейх, Элизабет Хесс и Глория Джекобс описывают историю становления фанатов популярной музыки через призму женской сексуальности и показывают, как битломания стала частью более широкой сексуальной революции (1992, p. 84–106). Стивен Хинерман, используя подходы психоанализа, исследует фантазии поклонниц (умершего) Элвиса Пресли о встрече с кумиром (после его смерти)[1] (1992, p. 107–134), а редактор сборника Лиза Льюис анализирует стереотипные образы фанатов и их кумиров в популярном кино о фанатах (1992d, p. 135–159). Так, во второй части сборника преобладает изучение фанаток поп-музыки и их образа в средствах массовой информации и кино.

Авторы третьей части сборника, «Фанаты и индустрия» (Fans and Industry), исследуют взаимоотношения фанатов телепередач и их производителей. Сью Брауэр описывает, как менялось отношение к телепередачам в 1960-1980-е гг. и как группа фанатов «качественного телевидения» через письма телеканалам и СМИ пыталась повлиять на мнение аудитории и производителей о понравившихся ей сериалах, что «спасало» последние от закрытия, а самим фанатам позволяло принять на себя роль законодателей вкусов (1992, p. 163–184). В тексте Роберта Сабала, напротив, представлены стенограммы интервью представителей телевизионных компаний, которые получали письма фанатов, и показан процесс «по ту сторону»: как команды сериалов сотрудничали с фанатами, чтобы сохранить свои произведения в эфире (1992, p. 185–188). Соответственно, объектом изучения для авторов третьей части сборника стали медиафанаты и их практики написания писем для поддержки понравившихся сериалов. Четвертая часть сборника, «Созданное фанатами» (Production by fans), как и предыдущая, представлена двумя текстами, один из которых, заключительный для всего сборника, принадлежит Г. Дженкинсу. Фред и Джуди Верморел для сборника предоставили коллекцию фанатских писем и записок об их кумирах-поп-звездах,

1 Здесь же на полях отметим, что работу С. Хинермана относят к двум разным первым волнам. Для Дж. Грея с коллегами он относится к той волне, что выступает против патологического взгляда на фанатов, а польский культуролог П. Сиуда причисляет его к «волне отклонения», которая и рассматривает фанатов как девиантов (Siuda, 2010, p. 89). Для того, чтобы прояснить ситуацию, обратимся к тексту самого С. Хинермана: «…фантазии, сосредоточенные вокруг Элвиса (или любой другой медийной фигуры), — это не бредовые или неадекватные представления, а сообщения, которые выполняют по крайней мере две функции. Во-первых, они «устраняют» потенциально травмирующую угрозу психологической идентичности человека… Во-вторых, фантазии идеологически вовлекают мир в определенную политическую систему, говоря на языке тех людей и классов, которым недоступны более «прямые» и радикальные решения кризисных ситуаций» (Hinerman, 1992, p. 109). Представляется сомнительным, что С. Хинермана можно отнести к «волне отклонения».

собранные за 1977–1988 гг. (1992, p. 191–207), а Г. Дженкинс описал фан-практики медиафанатов (1992a, p. 208–236).

Итак, если в 2013 г. П. Бут констатировал, что «фан-исследования как дисциплина становятся все более осторожными в выборе основного объекта изучения» (2013, p. 120), то ретроспективный взгляд показывает, что подобная неопределенность в выборе объекта изучения уже была заложена в основополагающих работах фан-исследований первой волны. Если Г. Дженкинс и К. Бэкон-Смит предлагают обратить внимание на медиафандом, то авторы сборника под редакцией Л. Льюис преимущественно сосредотачиваются на поклонниках популярной музыки и, во вторую очередь, кино и телевидения, хотя, вероятно, их больше занимал сам феномен фанатства, нежели фокус по фан-объекту изучаемой группы.

Так что же значит быть фанатом и частью фандома? В эссе «“Мы больше не чужаки, мы поём”: Филкинг и социальное конструирование научно-фантастического фан-сообщества» Г. Дженкинс предлагает четырехуровневую модель фандома: (1) особый способ восприятия (целенаправленный просмотр телепрограмм с последующими творческими переработками материала и обязательными обменом и обсуждениями в фандоме); (2) особое интерпретационное сообщество (читательские практики фанатов коллективны, и их следует рассматривать не в личном, а институциональном контексте); (3) особый мир искусства (в котором медиа становится сырьем для производства новых форм культурного творчества и наделения их эстетической ценностью); (4) альтернативное социальное сообщество (где социальный статус зависит не от того, кто вы, а от того, какой вклад вы вносите в сообщество) (1992a, p. 209–213). Так, по Г. Дженкинсу, фандом — это интерпретативное сообщество, которое отличается от просто активной аудитории тем, что представляет собой именно коллективную форму взаимодействия с фан-объектом. При этом, как справедливо замечает К. Бэкон-Смит, «фандом» является скорее зонтичным понятием, поскольку работает на нескольких уровнях: и все сообщество поклонников научной фантастики, и меньшая группа поклонников «Звездного пути», и еще меньшая группа поклонников фан-фикшена вокруг «Звездного пути» называются фандомом (1992, p. 22–23). Однако поставленный Л. Гроссберг вопрос, что же отличает фанатов от обычных потребителей (1992, p. 53), остается без ответа, если не обратиться к вопросам: как и почему люди вообще становятся фанатами? В ответе на эти вопросы постараемся подвести черту под всеми фан-исследованиями 1992 г. и собрать взгляды авторов вместе.

Во-первых, становление фанатом — это во многом бессознательный процесс, который начинается с интереса к определенным жанру и каналу передачи информации, например, телевизионной научной фантастике или детективным романам (Bacon-Smith, 1992, p. 7). Во-вторых, этот интерес пред-

полагает сильное эмоциональное вовлечение[1] , частью которого становится самоидентификация через интерес к фан-объекту (Grossberg, 1992, p. 53). В-третьих, такая серьезная эмоциональная вовлеченность и определение себя через фан-объект способны помочь фанату принять себя или прожить травмирующий опыт (Hinerman, 1992, p. 109). В-четвертых, участие в фандоме позволяет человеку приобрести ту социальную жизнь, из которой он по разным причинам (гендер, раса, возраст и т.д.)[2] был исключен, и разделить свои увлечения с другими людьми (Jenkins, 1992a, p. 213). Наконец, участие в фандоме и соучастие в фан-творчестве позволяет безопасно исследовать собственную жизнь (Bacon-Smith, 1992, p. 204) и высказываться против доминирующих нарративов в обществе (Fiske, 1992, p. 30).

Выводы

Логика деления фан-исследований на волны, предложенная Дж. Греем, К. Сандвоссом и К. Л. Харрингтон и впоследствии повторенная другими исследователями, имплицитно предполагает, что вторая и третья волны корректируют, по выражению Франчески Коппы, «оптимистические взгляды» (2014, p. 74) авторов первой волны, которую сами Дж. Грей с коллегами иронично назвали «Фандом — прекрасен» (Fandom Is Beautiful) (2007, p. 1). Однако более внимательное рассмотрение фан-исследований 1992 г. показывает, что они сложны и многогранны, а отличительные черты второй и третьей волн, такие как обращение к методологии П. Бурдье или подходам психоанализа и изучение не только коллективного, но и частного, уже были присущи работам первой волны. Можно сказать, что у Дж. Грея с коллегами произошла «дженкизация» первой волны, когда исследовательские взгляды Г. Дженкинса на фан-сообщество были экстраполированы на всю первую волну, что на проверку оказывается если и не ошибочным, то неточным.

Это ставит перед нами вопрос о необходимости переосмысления существующих концептуализаций фан-исследований. Предложенная Дж. Греем с коллегами модель волн является одной из первых попыток описания истории развития фан-исследований, а потому носит схематичный характер, сглаживая неоднородность и противоречивость работ, относящихся к одной волне. Возможно, тридцать пятая годовщина с выхода основополагающих фан-исследований 1992 г. станет подходящим поводом для возобновления дискуссии об актуальности написания истории этой академической дисци-

1 Представляется важным отметить, что в работах о первой волне фан-исследований этот исследовательский аспект практически выпадает из поля зрения; например, Мэтт Хиллз пишет: «…в этих описаниях зарождающегося фандома, рассматривающих его с социологической и культурологической точек зрения как усвоенный набор протоколов и условностей чтения, не уделяется должного внимания эмоционально насыщенному моменту “обращения”…» (Hills, 2016, p. 11). Во многом это связано с тем, что внимание уделяется классическим исследованиям Г. Дженкинса и К. Бэкон-Смит, но упускаются из вида эссе в сборнике под редакцией Л. Льюис.

2 Как видно из данных анкетирования, проведенного К. Бэкон-Смит, фандом состоит в основном из белых высокообразованных женщин среднего класса в возрасте 30-40 лет (Bacon-Smith, 1992, p. 319–323).

плины и создания комплексной, непротиворечивой систематизации фан-исследований.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста статьи — Голубев А. Ю.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Bacon-Smith, C. (1992). *Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth*. University of Pennsylvania Press.

Booth, P. (2013). Augmenting Fan/Academic Dialogue: New Directions in Fan Research. *Journal of Fandom Studies*, 1(2), 119–137. https://doi.org/10.1386/jfs.1.2.119_1

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press.

Brower, S. (1992). Fans as Tastemakers: Viewers for Quality Television. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 163–184). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-12

Cline, C. (1992). Essays from Bitch: The Women's Rock Newsletter with Bite. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (1st ed., pp. 69–83). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-7

Coppa, F. (2014). Fuck Yeah, Fandom Is Beautiful. *Journal of Fandom Studies*, 2(1), 73–82. https://doi.org/10.1386/jfs.2.1.73_1

Dell, C. (1998). Lookit That Hunk of Man!: Subversive Pleasures, Female Fandom, and Professional Wrestling. In C. Harris & A. Alexander (Eds.), *Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity* (pp. 87–108). Hampton Press.

Duits, L., Zwaan, K., & Reijnders, S. (Eds.). (2014). *The Ashgate Research Companion to Fan Cultures* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315612959

Ehrenreich, B., Hess, E., & Jacobs, G. (1992). Beatlemania: Girls Just Want to Have Fun. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 84–106). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-8

Fiske, J. (1992). The Cultural Economy of Fandom. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 30–49). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-4

Goulding, J. (1985). *Empire, Aliens, and Conquest: A Critique of American Ideology in Star Trek and Other Science Fiction Adventures*. Sisyphus Press.

Gray, J., Harrington, C. L., & Sandvoss, C. (2007). *Fandom: Identities and Communities in a Mediated World*. NYU Press.

Grossberg, L. (1992). Is There a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 50–65). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-5

Hall, S. (1980). Encoding / Decoding. In *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979* (pp. 128–138). Routledge.

Harris, C. (1998). A Sociology of Television Fandom. In C. Harris & A. Alexander (Eds.), *Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity* (pp. 42–55). Hampton Press.

Hills, M. (2016). Returning to 'Becoming-a-Fan' Stories: Theorising Transformational Objects and the Emergence/Extension of Fandom. In L. Dults, K. Zwaan, & S. Reijnders (Eds.), *The Ashgate Research Companion to Fan Cultures* (pp. 9–21). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315612959-2

Hinerman, S. (1992). 'I'll Be Here With You': Fans, Fantasy and the Figure of Elvis. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 107–134). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-9

Jancovich, M. (2002). Cult Fictions: Cult Movies, Subcultural Capital and the Production of Cultural Distinctions. *Cultural Studies*, 16(2), 306–322. https://doi.org/10.1080/09502380110107607

Jenkins, H. (1992a). Strangers No More, We Sing: Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 208–236). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-16

Jenkins, H. (1992b). *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. Routledge.

Jenson, J. (1992). Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 9–29). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-3

Lewis, L. A. (1992a). 'Something More Than Love': Fan Stories on Film. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 135–159). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-10

Lewis, L. A. (Ed.). (1992b). *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539

Sabal, R. (1992). Television Executives Speak About Fan Letters to the Networks. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 185–188). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-13

Siuda, P. (2010). From Deviation to Mainstream – Evolution of Fan Studies. *Media Studies*, 3(42), 87–99.

Vermorel, F., & Vermorel, J. (1992). A Glimpse of the Fan Factory. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 191–207). Routledge.

Дженкинс, Г. (2019). *Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа*. РИПОЛ классик.

Ним, Е. Г. (2024). Неуловимый фэндом: Проблемное поле зарубежных фан-исследований. *Социологический журнал*, 30(2), 33–52. https://doi.org/10.19181/socjour.2024.30.2.2

Сепир, Э. (1993). Статус лингвистики как науки. В *Избранные труды по языкознанию и культурологии* (сс. 259–265).

Серто, М., де. (2013). *Изобретение повседневности. 1. Искусство делать*. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Уорф, Б. Л. (1960). Отношение норм поведения и мышления к языку. *Новое в лингвистике*, (1), 135–168.

References

Bacon-Smith, C. (1992). *Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth*. University of Pennsylvania Press.

Booth, P. (2013). Augmenting Fan/Academic Dialogue: New Directions in Fan Research. *Journal of Fandom Studies*, 1(2), 119–137. https://doi.org/10.1386/jfs.1.2.119_1

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press.

Brower, S. (1992). Fans as Tastemakers: Viewers for Quality Television. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 163–184). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-12

Certeau, M. de. (2013). *The Practice of Everyday Life. 1: The Art of Doing*. European University at St Petersburg Press. (In Russian).

Cline, C. (1992). Essays from Bitch: The Women's Rock Newsletter with Bite. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (1st ed., pp. 69–83). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-7

Coppa, F. (2014). Fuck Yeah, Fandom Is Beautiful. *Journal of Fandom Studies*, 2(1), 73–82. https://doi.org/10.1386/jfs.2.1.73_1

Dell, C. (1998). Lookit That Hunk of Man!: Subversive Pleasures, Female Fandom, and Professional Wrestling. In C. Harris & A. Alexander (Eds.), *Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity* (pp. 87–108). Hampton Press.

Duits, L., Zwaan, K., & Reijnders, S. (Eds.). (2014). *The Ashgate Research Companion to Fan Cultures* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315612959

Ehrenreich, B., Hess, E., & Jacobs, G. (1992). Beatlemania: Girls Just Want to Have Fun. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 84–106). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-8

Fiske, J. (1992). The Cultural Economy of Fandom. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 30–49). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-4

Goulding, J. (1985). *Empire, Aliens, and Conquest: A Critique of American Ideology in Star Trek and Other Science Fiction Adventures*. Sisyphus Press.

Gray, J., Harrington, C. L., & Sandvoss, C. (2007). *Fandom: Identities and Communities in a Mediated World*. NYU Press.

Grossberg, L. (1992). Is There a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 50–65). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-5

Hall, S. (1980). Encoding / Decoding. In *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979* (pp. 128–138). Routledge.

Harris, C. (1998). A Sociology of Television Fandom. In C. Harris & A. Alexander (Eds.), *Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity* (pp. 42–55). Hampton Press.

Hills, M. (2016). Returning to 'Becoming-a-Fan' Stories: Theorising Transformational Objects and the Emergence/Extension of Fandom. In L. Dults, K. Zwaan, & S. Reijnders (Eds.), *The Ashgate Research Companion to Fan Cultures* (pp. 9–21). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315612959-2

Hinerman, S. (1992). 'I'll Be Here With You': Fans, Fantasy and the Figure of Elvis. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 107–134). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-9

Jancovich, M. (2002). Cult Fictions: Cult Movies, Subcultural Capital and the Production of Cultural Distinctions. *Cultural Studies*, 16(2), 306–322. https://doi.org/10.1080/09502380110107607

Jenkins, H. (1992a). Strangers No More, We Sing: Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 208–236). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-16

Jenkins, H. (1992b). *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. Routledge.

Jenkins, H. (2019). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. RIPOL Klassik. (In Russian).

Jenson, J. (1992). Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 9–29). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-3

Lewis, L. A. (1992a). 'Something More Than Love': Fan Stories on Film. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 135–159). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-10

Lewis, L. A. (Ed.). (1992b). *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539

Nim, E. (2024). The Elusive Fandom: The Problem Field of Foreign Fan Studies. *Sociological Journal*, 30(2), 33–52. https://doi.org/10.19181/socjour.2024.30.2.2 (In Russian).

Sabal, R. (1992). Television Executives Speak About Fan Letters to the Networks. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 185–188). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203181539-13

Sapir, E. (1993). The Status of Linguistics as a Science. In *Selected Writings on Linguistics and Cultural Studies* (pp. 259–265). (In Russian).

Siuda, P. (2010). From Deviation to Mainstream – Evolution of Fan Studies. *Media Studies*, 3(42), 87–99.

Vermorel, F., & Vermorel, J. (1992). A Glimpse of the Fan Factory. In L. A. Lewis (Ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (pp. 191–207). Routledge.

Whorf, B. L. (1960). The Relation of Habitual thought and Behavior to Language. *New in Linguistics*, (1), 135–168. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Медиа и политические исследования | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.775

The Anatomy of the “Apparatus”: Actor-Network Analysis of the Continuity of the Russian Political Class

Andrey G. Ivanov (a), & Aleksey A. Tselykovskiy (b)

(a) Lipetsk State Technical University; The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Lipetsk Branch. Lipetsk, Russia. Email: agivanov2[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-1136-251X

(b) Lipetsk State Technical University. Lipetsk, Russia. Email: alts1085[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-2442-5463

Received: 29 March 2026 | Revised: 27 April 2026 | Accepted: 3 May 2026

Abstract

The article examines the problem of sustainability and transformation of Russian administrative practices in the context of institutional reforms, digitalization and updating of personnel mechanisms. The problem lies in the fact that modern public administration is often described either through the language of technological modernization or through criticism of bureaucratic inertia, while the internal logic of reproduction of managerial practices and their historical rootedness remains in the shadow. The Russian case demonstrates that the new ways of organizing power do not arise from scratch, but unfold within long-standing structures that retain the features of the previous administrative logic. The purpose of the study is to identify how the models of power organization inherited from the Soviet era are preserved, adapted, and re-formed in the structure of the modern Russian political class and bureaucratic “apparatus” using the methodology of B. Latour’s actor-network theory. As a result of the research, it is shown that the Soviet bureaucracy developed as a relatively autonomous system of political and administrative domination based on the interweaving of formal hierarchy, the nomenclature principle, patronage relations and mechanisms of closed personnel reproduction. It has been established that in the post-Soviet period, these principles did not disappear, but were integrated into new management contours, including digital platforms, personnel competitions, interdepartmental interactions, evaluation procedures and modern administrative control technologies. It is concluded that the Russian political class and the associated administrative apparatus should be considered as a hybrid actor-network configuration in which power relations are supported by the interaction of people, institutions, documents, digital technologies, symbolic practices and organizational routines. This perspective makes it possible to describe continuity not as a simple preservation of Soviet forms, but as a process of their constant translation, reassembly, and incorporation into new management networks.

Keywords

B. Latour; Actor-Network Theory; Bureaucracy; Statehood; Public Administration; USSR; Political Class; Digitalization; Electronic Government; Administrative Reform

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License
© 2026 Andrey G. Ivanov, & Aleksey A. Tselykovskiy

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Media & Political Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.775

Анатомия «аппарата»: акторно-сетевой анализ преемственности российского политического класса

Иванов Андрей Геннадиевич (a), Целыковский Алексей Андреевич (b)

(a) Липецкий государственный технический университет; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Липецкий филиал. Липецк, Россия. Email: agivanov2[at]yandex.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-1136-251X

(b) Липецкий государственный технический университет. Липецк, Россия. Email: alts1085[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-2442-5463

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 27 апреля 2026 | Принята: 3 мая 2026

Аннотация

В статье рассматривается проблема устойчивости и трансформации российских административных практик в условиях институциональных реформ, цифровизации и обновления кадровых механизмов. Проблема заключается в том, что современное государственное управление нередко описывается либо через язык технологической модернизации, либо через критику бюрократической инерции, тогда как внутренняя логика воспроизводства управленческих практик и их историческая укорененность остаются в тени. Российский случай демонстрирует, что новые способы организации власти возникают не на пустом месте, а разворачиваются внутри длительно существующих структур, сохраняющих черты прежней административной логики. Цель исследования состоит в выявлении того, каким образом унаследованные от советской эпохи модели организации власти сохраняются, адаптируются и переоформляются в структуре современного российского политического класса и бюрократического «аппарата» с использованием методологии акторно-сетевой теории Б. Латура. В результате исследования показано, что советская бюрократия сложилась как относительно автономная система политико-административного господства, основанная на переплетении формальной иерархии, номенклатурного принципа, патронажных связей и механизмов закрытого кадрового воспроизводства. Установлено, что в постсоветский период эти принципы не исчезли, а были встроены в новые контуры управления, включая цифровые платформы, кадровые конкурсы, межведомственные взаимодействия, оценочные процедуры и современные технологии административного контроля. Сделан вывод о том, что российский политический класс и связанный с ним административный аппарат целесообразно рассматривать как гибридную акторно-сетевую конфигурацию, в рамках которой властные отношения поддерживаются взаимодействием людей, институтов, документов, цифровых технологий, символических практик и организационных рутин. Такой ракурс позволяет описывать преемственность не как простое сохранение советских форм, а как процесс их постоянного перевода, пересборки и включения в новые управленческие сети.

Ключевые слова

Латур; акторно-сетевая теория; бюрократия; государственность; государственное и муниципальное управление; СССР; политический класс; цифровизация; электронное правительство; административная реформа

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Иванов Андрей Геннадиевич, Целыковский Алексей Андреевич

Введение

Современная система государственного управления находится в состоянии трансформации, движимой вызовами цифровизации, медиатизации и поиском новых эффективных моделей. Российский случай демонстрирует парадоксальную ситуацию: череда административных реформ последних десятилетий протекает поверх устойчивых, исторически сложившихся оснований системы управления. При этом научный дискурс зачастую фокусируется либо на анализе новых технологических трендов и формальных институтов, либо на критике архаичных элементов бюрократического аппарата, упуская из виду ключевой аспект – преемственность глубинных административных практик. Актуальность данного исследования, таким образом, обусловлена необходимостью преодолеть этот разрыв, предложив комплексный анализ современного российского политического класса как гибридного феномена.

Особую значимость такому анализу придает наблюдаемый в современной российской социально-политической практике системный возврат и интеграция советского наследия. В связи с этим исследование ставит целью не просто описать текущие изменения, но выявить механизмы адаптации и воспроизводства унаследованных от советской эпохи моделей организации власти – того, что на концептуальном уровне можно обозначить как «аппарат».

Для решения этой задачи в исследовании применяется методологический инструментарий акторно-сетевой теории Б. Латура, которая позволяет проследить, как традиционные и новые элементы – индивиды, институты, традиции, цифровые платформы – сплетаются в устойчивые сети управления. Подобный ракурс анализа раскрывает государственное управление и бюрократию как живой процесс, в котором формальные нормы и унаследованные от прошедшей эпохи негласные правила оживают и обретают воплощение в новой ситуации. Исследование вносит вклад в понимание логики эволюции российской государственности, раскрывая диалектику устойчивости и трансформации ее административной машины.

Бюрократия и «аппарат» власти в социально-философской и политической теории

В философской и социально-политической мысли феномен бюрократии рассматривался в различных теоретических перспективах, среди которых для целей данного исследования наибольшее значение имеют несколько ключевых подходов. Прежде всего следует отметить классическую концепцию бюрократии, сформулированную М. Вебером, который рассматривал ее как рациональную форму организации власти, основанную на системе формальных правил, иерархии должностей и профессионализации управления (2019) Веберовский подход интерпретирует бюрократию как институци-

ональный механизм реализации законно-рационального господства, обеспечивающий эффективность и предсказуемость административных процессов.

Вместе с тем в рамках элитологии, представленной работами Г. Моска и В. Парето, бюрократия рассматривается как особая форма организации правящего меньшинства, осуществляющего управление через специализированные административные структуры. Согласно концепции Г. Моска, в любом обществе, достигшем определенного уровня развития, неизбежно складывается разделение на две основные группы – правящее меньшинство и управляемое большинство. Меньшинство, которое Г. Моска обозначал термином «политический класс», осуществляет функции управления благодаря более высокой степени организованности, профессиональной подготовки и способности координировать коллективные действия. Особенность бюрократического государства, по Г. Моска, заключается в том, что функции управления распределяются не по территориальному принципу, а по функциональному характеру деятельности, что приводит к формированию сложной иерархии административных органов и должностей (2023). Таким образом, бюрократия становится механизмом институционализации политического господства, обеспечивая воспроизводство управленческой элиты и устойчивость властных отношений.

Развивая идеи Г. Моска, В. Парето рассматривал бюрократию в контексте более широкой теории циркуляции элит. По его мнению, во всех обществах существует относительно небольшая группа людей, обладающих ресурсами власти и принимающих ключевые решения, тогда как основная масса населения остается объектом управления. Бюрократия в этой системе выступает не только инструментом административного управления, но и специфической социальной средой, в которой происходит формирование и воспроизводство правящих элит. При этом В. Парето подчеркивал, что бюрократические структуры обладают тенденцией к институциональной инерции и самоусилению. В условиях разрастания административного аппарата чиновники могут стремиться не столько к повышению эффективности управления, сколько к сохранению собственных позиций, расширению полномочий и укреплению внутриведомственной власти. В результате бюрократия может превращаться в относительно автономную структуру, склонную к консервации существующих порядков и сопротивлению институциональным изменениям (2024).

Классические интерпретации бюрократии позволяют рассматривать бюрократию не только как управленческий механизм, но и как систему воспроизводства властных отношений. В контексте интересующей нас проблемы это означает, что бюрократию следует понимать не просто как совокупность формальных институтов, но как сложную систему взаимодействий между различными акторами – управленческими элитами, административными структурами, нормами и процедурами, – формирующую устойчивые конфигурации власти и управления.

В рамках критической теории общества существенный вклад в осмысление феномена бюрократии внес Г. Маркузе. В его интерпретации бюрократия выступает не только как административный механизм управления, но и как форма рационализированного социального контроля, поддерживающая существующие структуры власти и господства (1994). Г. Маркузе указывал, что в условиях индустриального общества бюрократические структуры способствуют формированию «технической рациональности», которая превращает социальные процессы в систему формальных процедур и тем самым подавляет критическое мышление и автономию индивида.

В философии XX века значительное внимание уделяется критическому осмыслению бюрократии как системы социального контроля и регулирования. В частности, М. Фуко интерпретирует бюрократические институты как элементы более широкой системы дисциплинарной власти, формирующей нормы поведения и регулирующей социальные практики через административные процедуры (2022). Подобная перспектива позволяет рассматривать бюрократию не только как инструмент рационального управления, но и как механизм воспроизводства властных отношений.

Исходя из обозначенных теоретических подходов, представляется необходимым обратиться к российскому социально-философскому и политологическому дискурсу, в рамках которого феномен бюрократии рассматривается применительно к специфике отечественной государственности – как в контексте советской модели административного аппарата, так и в условиях его трансформации в современной России.

Прежде всего, стоит отметить довольно специфичное восприятие чиновничества и бюрократии в российской политической культуре. Как замечает по этому поводу А. В. Оболонский:

> «Пожалуй, не было в России другой такой социальной группы, которая бы всегда, при любом правителе и обстоятельствах, подвергалась бы столь постоянной и резкой критике со всех сторон, как чиновничество» (2015, с. 146).

Действительно, бюрократия, «аппарат» в российской политической культуре никогда не воспринималась исключительно как нейтральный инструмент административного управления. Напротив, она традиционно рассматривалась как сложный социально-политический феномен, одновременно необходимый для функционирования государства и вызывающий устойчивое недоверие и критическое отношение со стороны общества. Подобная двойственность восприятия складывается еще в дореволюционный период. Амбивалентность в отношении к чиновничеству не исчезла и в советскую эпоху, когда бюрократический аппарат, формально встроенный в систему партийно-государственного управления, приобрел ряд специфических организационных и практических черт.

Формирование советской бюрократии носило парадоксальный характер: провозгласив после революции 1917 года ликвидацию старого чиновничества

и отказ от профессионального административного аппарата, новая власть довольно быстро была вынуждена воссоздать управленческую систему, хотя и в специфической форме. В первые годы советского государства бюрократический корпус складывался из двух основных групп – партийных назначенцев, отобранных по принципу политической лояльности и личных связей, и привлеченных к работе дореволюционных специалистов, обладавших необходимыми управленческими компетенциями.

Постепенно на основе партийного контроля над кадровыми назначениями сформировалась номенклатурная система, представлявшая собой сеть управленческих позиций и механизмов распределения должностей, обеспечивавших политическую лояльность и централизованное управление административным аппаратом. В результате советская бюрократия превратилась в сложную иерархическую структуру, в которой формальные институты управления переплетались с неформальными механизмами патронажа, контроля и распределения ресурсов.

Завершение формирования советской бюрократии произошло в послесталинский период, когда номенклатурная система окончательно стабилизировалась и приобрела черты замкнутой корпоративной структуры. В условиях ослабления репрессивного контроля управленческий аппарат получил значительную автономию, а ключевые позиции в нем закреплялись через устойчивые сети личного патронажа, ведомственных групп и неформальных связей. Как замечает по этому поводу П. В. Крашенинников:

> «Кнут в виде репрессий в отношении нелояльных или нерадивых бюрократов и террора в отношении населения был отвергнут. Сделано это было отнюдь не на законодательном уровне… <…>, а на неформальном, понятийном уровне» (2026, с. 15).

В результате к позднесоветскому периоду бюрократия превратилась в относительно самостоятельный социальный слой, воспроизводивший собственные кадровые и властные механизмы и постепенно подчинявший своему влиянию значительную часть общественной и экономической жизни. Закостеневая, «аппарат» перешел на стадию стагнации. По замечанию А. В. Оболонского,

> «для номенклатуры наступила эпоха безответственного благополучия, достигшая апогея в брежневские времена – период, когда система пришла уже в состояние гниения. Но сама номенклатура приобрела при этом большую самостоятельность и бесконтрольность. Страх перестал довлеть над чиновниками» (2015, с. 157).

Таким образом, советская бюрократия оформилась как особый и относительно автономный элемент политической системы, обладавший собственной логикой функционирования, основанной на сочетании формальной административной иерархии с устойчивыми неформальными сетями патронажа, ведомственной замкнутости и корпоративного воспроизводства кадров.

Своеобразие советской бюрократии в противовес бюрократии западного типа было исследовано в работах М. С. Восленского. В частности, он показал, что советская бюрократия представляла собой не просто административный механизм управления, а особый социальный слой, обладавший монополией на распределение властных ресурсов и доступ к привилегиям (номенклатура). По мнению М. С. Восленского, номенклатура функционировала как замкнутая система кадрового воспроизводства, где ключевые позиции занимались через внутренние механизмы назначения и контроля, что обеспечивало устойчивость управленческой элиты. При этом советская номенклатура представляла главным образом политическую власть. По его мысли,

> «номенклатура осуществляет в первую очередь именно политическое руководство обществом, а руководство материальным производством является для нее уже второй задачей. Политическое управление – наиболее существенная функция номенклатуры» (2019, с. 116).

Подход М. С. Восленского позволяет рассматривать советскую бюрократию как специфическую форму институционализированной власти, в которой административные структуры, партийные механизмы и системы привилегий образовывали единую устойчивую конфигурацию управления.

Бюрократия представляет собой не только административный механизм управления, но и сложную систему воспроизводства власти, в которой институциональные структуры, управленческие элиты, нормы и практики образуют стабильные модели взаимодействий. Особенно наглядно это проявилось в советской модели «аппарата», где формальная иерархия государственных органов была тесно переплетена с неформальными механизмами патронажа, кадрового воспроизводства и распределения ресурсов. Подобная перспектива открывает возможность рассматривать бюрократию и, в целом, политический класс как сеть взаимосвязанных акторов и практик управления, что делает методологически продуктивным обращение к инструментарию акторно-сетевой теории при анализе современного бюрократического «аппарата».

Современное государственное и муниципальное управление в России представляет собой тесное переплетение работы органов публичной власти разных уровней (федерального, регионального, местного), осуществляющих разные функции – администрирование, законодательствование, представительство интересов, судопроизводство, контроль. А если добавить к всему отмеченному выше широкое включение в работу политиков и чиновников информационно-коммуникационных технологий, то получается целая сложная разветвленная сеть акторов, осуществляющих известное функциональное аппаратное производство.

Конечно, к настоящему времени существует множество определений политико-бюрократических конфигураций для всех существовавших в истории понятий политий, данных в рамках политических, экономических наук. Но мы хотели бы взглянуть на текущие процессы государственного

и муниципального управления в России методологически широко, в частности, примеряя к ним оптики акторно-сетевой теории, которые с учетом активной цифровизации управленческих практик, смотрятся многообещающе, тем более, если иметь ввиду так называемую агентность как кадрового ресурса, так и вещей.

Нашей задачей станет демонстрация развития и утверждения в Российской Федерации новых, претендующих на высокую технологичность методов отправления публичной власти, связанных с новыми же форматами взаимодействия между включенными в процессы администрирования, принятия политических решений акторами – от рядовых чиновников до высших должностных лиц государства. При этом особенностью разворачивающихся сегодня практик публичного управления оказывается все большее включение в них подходов и рецептов, зарекомендовавших себя еще в советское время.

С 10 по 13 февраля 2026 года на площадке Президентской Академии в Москве состоялся первый Международный конгресс государственного управления. Его миссия, как отмечено на странице мероприятия, – стать центром формирования лучших практик, определения ключевых векторов развития и практических задач с целью повышения качества государственного управления. Программа Конгресса была выстроена вокруг шести тематических векторов, охватывающих ключевые аспекты современного государственного управления: 1) развитие государственной гражданской службы; 2) цифровизация государственного управления; 3) региональные и муниципальные практики; 4) регуляторная политика как инструмент снижения административной нагрузки на бизнес; 5) государство для людей; 6) стратегическое управление приоритетами. Кроме того, сессии Конгресса структурированы не только по тематическим векторам, но и по трем сквозным направлениям: стратегирование (повышение эффективности целеполагания и выработка долгосрочных приоритетов), реализация (выработка и консолидация позиций между органами публичной власти для ускорения принятия решений) и транслирование (тиражирование достижений и модернизация механизмов обратной связи с обществом)[1].

Тон Конгрессу задал первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко, который в мотивирующей речи заявил, что система государственного управления в России, благодаря запущенному Президентом России в 2017 году конкурсу «Лидеры России», впервые стала открытой, что оценка госслужащих стала более объективной вследствие включения в нее социологических показателей и, главное, что изменение культуры управления происходит только по воле первого лица.

Между тем, в провозглашенной на Конгрессе новой комбинации объективных и субъективных факторов в оценке административного аппарата

1 См.: https://roscongress.org/events/pervyy-mezhdunarodnyy-kongress-gosudarstvennogo-upravleniya/about/

видится некий релятивизм, указывающий на сложность отражения объективной реальности, когда возникают сомнения в роли субъекта. Это выводит на первый план понятие актора, который «…действует, но в отличие от субъекта его действия могут быть лишены целенаправленной воли на преобразование или познание» (Федотова, 2007, с. 494).

В девизе акторно-сетевой теории «идти за самими акторами» нам увиделись перспективы изучения все более расширяющейся отечественной «Вселенной чиновников» – от советской номенклатуры до современных российских технократов, вооруженных гаджетами с дашбордами.

«Аппарат» как акторно-сетевая структура

Методология акторно-сетевой теории (далее – АСТ) Б. Латура становится эффективным инструментом анализа исследования социально-политических процессов. Отказываясь от жесткого разделения на «государство», «общество» или «экономику», АСТ предлагает рассмотреть социально-политическую практику как динамичную сеть взаимодействий между людьми, институтами, идеями, технологиями и природной средой. К примеру, любое политическое решение можно анализировать не просто как результат проявления воли политика, а как продукт взаимодействия различных политических сил, научных данных и технологий, настроений граждан, природных факторов и так далее. Теория также помогает выявить «контроверзы» – моменты, когда сеть перестраивается. Вместо изучения «стабильных» структур (правительство, партии, институты) АСТ фокусируется на процессе их постоянного воспроизводства через практики (например, того, как законы исполняются или игнорируются на местах).

Таким образом, АСТ дает инструменты для анализа политики как перформативного процесса, где реальность создается через взаимодействие гетерогенных элементов, а не сводится к борьбе различных политических сил. Применяя АСТ к анализу политического класса, можно отказаться от его традиционного понимания как замкнутой, в чем-то иерархической системы и вместо этого рассмотреть ее как динамичную сеть, в которой власть производится через взаимодействие человеческих и нечеловеческих акторов.

Применяя АСТ, «аппарат» можно концептуализировать как динамичную и гетерогенную акторно-сетевую структуру. Эта структура состоит из множества взаимосвязанных человеческих и нечеловеческих акторов: политиков, чиновников, законодательных норм, документов, цифровых платформ, разных других материальных объектов. Каждый из этих элементов не просто обслуживает власть, но активно участвует в ее непрерывном производстве и стабилизации. Например, электронная система подачи заявлений перераспределяет контроль от чиновника к алгоритму.

Власть в этой сети – не данность, а результат постоянного процесса «перевода», в ходе которого интересы различных акторов (государства, чинов-

ников, граждан) адаптируются и согласуются через эти материальные посредники. Устойчивость «аппарата» как раз и объясняется его сетевым характером, способностью интегрировать и удерживать связи между разнородными элементами.

Однако именно эта сетевая природа делает систему одновременно и устойчивой, и уязвимой. Когда в устоявшуюся сеть вводится новый мощный актор – новый политический лидер или масштабная цифровизация, – историческая бюрократическая логика может дать сбой, порождая «контроверзы» – системные разрывы, проявляющиеся, например, в виде коррупционных схем или поиска обходных путей. АСТ позволяет проследить, как «аппарат» переформатируется в ответ на такие вызовы, демонстрируя свою эволюционную динамику.

Поскольку предметом основного исследовательского интереса являются формальные и неформальные механизмы и структуры, формирующие основу современной российской бюрократической машины и управленческого аппарата, необходимо подобнее остановиться на основных факторах, определяющих характер современного российского политического класса.

Хотя формальное основание новой российской государственности после 1991 года означало радикальный разрыв с советской политической системой, ключевым актором в этой трансформации выступила сама прежняя управленческая элита. Говоря языком терминов АСТ, произошел процесс «перевода», в ходе которого человеческие акторы – бывшие партийные функционеры – принесли с собой в новые институты целый комплекс нечеловеческих акторов: укорененные практики, а также неформальные нормы и ритуалы. Таким образом, «аппарат» как сеть устойчивых связей и способов организации власти не был ликвидирован, а стал критически важным элементом для сборки новой, постсоветской управленческой реальности, обеспечив преемственность на уровне повседневных операций, а не только деклараций.

Акторно-сетевой анализ преемственности российского административного аппарата

При всем существующем в настоящее время многообразии трактовок и понятий акторно-сетевой теории (здесь отошлем к дискуссионным статьям в тематических номерах журнала «Логос» в 2017 году (том 27, № 1 за 2017 год и том 27, № 2 за 2017 год; например, Д. Блура (2017), М. Каллона (2017)) остановимся на «программной» работе Б. Латура «Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию» (2020), в которой он дает исчерпывающее истолкование ключевых для подхода вещей, выделяя присущие социальному миру источники неопределенности в целом и объясняя, как восстановить прослеживаемость всевозможных ассоциативных рядов.

Обратимся сразу к ключевым латурнианским АСТ-идеям, рассматриваемым нами в контексте коммуникаций внутри и вокруг аппарата чиновников и политиков.

Б. Латур зафиксировал пять источников неопределенности и описал три шага на пути в тому, чтобы сделать ассоциации снова прослеживаемыми.

Источники неопределенности:

1. *Групп нет – есть группообразования*. Но в случае с чиновниками (и, возможно, с политиками) этот тезис не работает, так как они должны как бы забыть о своих личных предпочтениях и в работе руководствоваться исключительно административными и должностными регламентами; они должны быть, в терминологии Б. Латура, «проводниками», тогда как «посредники», способные изменять смыслы, – это, очевидно, политики. Но в действительности часто бывает так, как отмечено самим Б. Латуром:

> «...С точки зрения АСТ не существует предпочтительного типа социальных объединений, а число посредников бесконечно, и если они превращаются в добросовестных проводников, то это не правило, а редкое исключение, объяснение которого требует дополнительного труда – обычно с привлечением даже большего числа посредников!» (2020, с. 60).

Здесь обратим внимание на подходы к классификации моделей модернизации государственного управления и групп интересов в государственном управлении, в которых, что показательно, всегда отдается должное гражданскому обществу.

Так, сетевая модель модернизации государственного управления исходит из того, что

> «“Хорошее” государственное управление определяется отнюдь не силой государства, ориентированной на выполнение принятых решений, а его способностью создавать и поддерживать сетевые структуры, в рамках которых оно совместно с частными групповыми интересами вырабатывает и реализует эффективную, согласованную и целенаправленную систему управления...» (Купряшин, 2012, с. 58).

Власть оказывается не только свойством, атрибутом полномочий индивидуального или группового субъекта, а все более сложной и многоуровневой системой (сетью) отношений (с. 58). При этом гражданское общество в такой модели рассматривается как встроенное в институты выработки государственных решений, и сетевые структуры далеко не всегда подразумевают, что воздействие гражданского общества и его институтов на процессы принятия государственных решений представляет собой чисто внешнее воздействие организованных групп на процессы государственного управления:

> «В реальности имеет место более сложное взаимодействие заинтересованных групп и государства, в ходе которого каждая из сторон совместно участвует в выработке и принятии государственных решений и управленческом процессе как таковом. Группы интересов выступают как своего рода соучастники государственного управления, а само государственное управление выходит за рамки

государственных институтов и вовлекает в свою сферу некоторые из наиболее влиятельных общественных институтов» (с. 59).

Что касается групп интересов в государственном управлении, — наряду с функционированием классической системы представительства интересов выделяется их корпоративное представительство, лоббизм, но наиболее близки к латурнианскому представлению о группообразованиях политические сети, работающие следующим образом:

> «Действуя в условиях относительно открытого политического пространства, когда компетенция различных структур четко не очерчена, а сферы интересов зачастую перекрещиваются, отчасти совпадают или конкурируют друг с другом, группы интересов могут вступать в потенциальные коалиции и преумножать потенциал своего давления, *распадаясь сразу после принятия соответствующего решения.* В свою очередь, взаимодействие интересов на каждом из этих уровней оказывает существенное влияние на формирование предпочтений участников процесса выработки решений, национальных правительств или наднациональных органов» (с. 213).

2. *Действие захватывается.* Здесь имеется ввиду, что в ход любого действия вторгается множество различных агентов, изменяющих его первоначальные цели; при этом природа компонентов, образующих социальные связи, гетерогенна.

Одной из ключевых особенностей акторно-сетевой теории является идея, что акторы обязательно должны себя как-то проявлять, производя какие-то действия, оставляя что-то после:

> «Невидимая сила, не производящая изменений, не совершающая преобразований, не оставляющая следов и не входящая в отчет, – это не сила. <…> Говоря о силе, вы должны дать отчет о ее действии, а для этого вам придется более или менее прояснить, какие именно испытания оставили наблюдаемые следы» (Латур, 2020, с. 77).

Сегодня – это цифровые следы, которые более или менее прослеживаются. Но особенностью Российской Федерации, на наш взгляд, является довольно активное вмешательство чиновников в ход исполнения решений органов законодательной власти (то, что называется регламентарной властью и применением дискреционных полномочий органами исполнительной власти в России), а также то обстоятельство, что в условиях социально-политической турбулентности многие сведения о результатах деятельности органов исполнительной власти публично не обнародуются (например, Росстат засекретил данные о зарплатах чиновников и демографические показатели[1]). В такого рода ситуациях траектории действий проследить не удастся даже цифре.

3. *Объекты тоже активны.* Таких активных объектов, которые в современном российском обществе и процессах публичного управления, если присмотреться, становится все больше. Это и единый день голосования,

1 См.: https://www.forbes.ru/society/555472-rosstat-perestal-raskryvat-dannye-o-zarplatah-gossluzasih-i-zkh

и многочисленные национальные проекты, и конкурсы типа «Лидеры России», и центры подготовки типа мастерской управления «Сенеж», и практики блокчейна, и функционирование портала «Госуслуги» и так называемого электронного правительства в целом. Сюда можно отнести и фактор российского защищенного мессенджера «Max», необходимость применения которого в настоящее время прописывается, например, в должностных регламентах госслужащих (при этом некоторые чиновники используют данное приложение, приобретая себе дополнительные гаджеты, что говорит уже о переплетении формальных и неформальных практик). Все перечисленные инициативы и нововведения являются иллюстрациями того, как все новые объекты становятся участниками действия, а в широком смысле, совокупности управленческих действий, становясь таким образом примерами тех самых non-humans (акторов-нечеловеков), в нашем случае определяющих политико-управленческой ландшафт современного российского государства. И любой из отмеченных выше примеров объектов можно легко представить в качестве сети, окутывающей государство, проникающей в каждый отделенный его уголок.

Кончено, можно сразу найти ряд особенностей. Так, единый день голосования не распространяется на главу государства (президента выбирают в другие дни), а такой интересный кейс в контексте избирательной кампании как новые нарезки избирательных округов в преддверие выборов касается и территорий, и людей, причем непосредственно. И действительно,

> «…элементы, составляющие эту (социальную) среду, двоякого рода: вещи и люди. В число вещей нужно включить помимо находящихся в обществе материальных объектов еще и продукты предшествующей социальной деятельности: действующее право, укоренившиеся нравы, художественные и литературные памятники и т. д.» (Дюркгейм, 1995, с. 128).

Эта важная ссылка на Э. Дюркгейма у Б. Латура дает нам все основания считать советское прошлое также и в качестве того, что продолжает, несмотря на как минимум сорокалетний временной лаг, оказывать влияние на, так сказать, политический менталитет современного российского общества и даже определять его развитие. В связи с этим нельзя не отметить тенденцию «ползучего» возвращения в современное российское общественно-политическое поле в явном или завуалированном виде практик и ритуалов, символических жестов, зарекомендовавших себя в советское время (например, учреждение звания Героя Труда, возрождение ГТО, переименование ВВЦ в ВДНХ, создание «Движения первых» и т. п.). Тут важно отметить выделяемое Б. Латуром отличие актора от актанта («…любая вещь, изменяющая сложившееся положение дел тем, что создает различие, является актором, или, если у нее еще нет фигурации, актантом» (Латур, 2020, с. 101). Получается, что компоненты советской власти постепенно превращаются из актантов в акторов и агентов, почти непосредственно участвуя во взаимодействии между государством и обществом, в публичном управлении.

4. *Реалии фактические vs реалии дискуссионные*. Природа фактов также провоцирует неопределенности. С одной стороны, в современном российском государственном и муниципальном управлении все чаще имеет место апеллирование к так называемой оценке регулирующего воздействия (или анализу регуляторного воздействия), представляющего собой оценку социально-экономических последствий вводимого или введенного ранее государственного регулирования (и – далее – к уже оценке фактического воздействия); с другой стороны, распространенное обращение органов публичной власти к услугам известных учреждений, многие годы проводящих социологические опросы – таким, как Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) или Фонд «Общественное мнение», – и последующее предъявление соответствующих результатов общественности привносит в действия властей элементы субъективизма, хотя Кириенко и заявляет о более объективной оценке государственных служащих вследствие включения в нее социологических показателей.

При работе правительственных или депутатских групп, при межведомственных взаимодействиях цепочка посредников, конечно, не равна цепочке проводников, так как множественность у Б. Латура является свойством вещей, а не людей, интерпретирующих вещи. Поэтому французский специалист и призывает двигаться, «…но в направлении от обедненного репертуара проводников к в высшей степени комплексному и полному разногласий множеству посредников» (с. 166), а также не путать «…сборку коллектива с простым описанием уже собранных сущностей или с пучком гомогенных социальных отношений» (с. 145).

5. *Пишем рискованные отчеты*. Кончено, графики с красивыми картинками и цифрами на слайдах, нравится руководителям любого масштаба, однако то, как они возникают в результате целой сети взаимоотношений, где могут происходить, как отмечалось ранее, сбои, ошибки, искажения, так называемые контроверзы, остается открытым вопросом. Хотя сегодня, с развитием работы с большими данными, с внедрением в административную работу искусственного интеллекта и т. п. количество «фатальных» ошибок радикально снижается, и на первый план выходят «технократические» навыки. Показательно, что, комментируя этот источник неопределенности, Б. Латур, в частности, дает интерпретацию понятия «сеть» как связанного ряд действий, где каждый – посредник; сеть – не вещь, а понятие: инструмент для описания чего-то другого, а не предмет описания; сеть – это след, оставленный движущимся агентом (с. 180–190).

И здесь обратим внимание на то, что в России до совсем недавнего времени сохранялись практики двойного отражения в отчетах данных (например, количество патриотических мероприятий или число граждан, занимающихся спортом), что с развитием электронного государства не так быстро, но все же уходит в прошлое. Ведь еще в мае 2008 года с целью повы-

шения эффективности, обеспечения объективности и ответа на быстро развивающиеся технологии Правительство Российской Федерации утвердило концепцию электронного правительства.

> «Электронное государство представляет собой использование информационно-коммуникационных технологий для преобразования правительства с целью сделать его более доступным для граждан, более эффективным и более подотчетным. <…> Электронное правительство – система государственного управления на основе электронных средств обработки, передачи и распространения информации. <…> Электронное правительство (англ. e-government) – способ предоставления информации и сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии. <…> Общим для всех определений электронного правительства является следующее: применение во внутренней работе органов власти и при взаимодействии с гражданами информационных технологий» (Вопросы создания…, 2012, с. 14–15).

С развитием электронного правительства должна решаться и так называемая проблема агентства: ситуация управления между неравными акторами, имеющими разные степени информированности. И уже как то, что никогда не сможет произойти в современных условиях, воспринимаются скандалы с приписками в СССР, случившиеся в начале 1960-х годов. Тогда массовая фальсификация отчетов о выполнении планов сельскохозяйственного производства на региональном уровне стала самым явственным проявлением кризиса, связанного с проблемой агентства (в ситуации того времени – работы региональных секретарей):

> «Особенно тревожным в глазах центрального руководства был тот факт, что в большинстве случаев эти подтасовки производились с подачи людей, которые были самыми верными исполнителями воли Хрущева» (Хлевнюк & Горлицкий, 2024, с. 264).

Приписки и другие злоупотребления оказывали разрушительное воздействие на состояние общественной морали и стимулы честного труда:

> «Модель экономического прорыва, не в первый раз взятая на вооружение, состояла из трех элементов. Высшее руководство провозглашало сложную и сверхамбициозную цель; избранная группа работников-ударников демонстрировала, что эта цель якобы достижима; партийный аппарат мобилизовал остальных рабочих на “ударный труд”. Поскольку поставленные задачи были явно невыполнимы, то награды рано или поздно присуждались тем, кто убедительнее всего лгал. Понятно, что у честных работников это могло отбить всякую охоту к труду» (Хлевнюк & Горлицкий, 2024, с. 284).

Проявляя осторожный оптимизм, мы надеемся, что в современных российских реалиях такого рвения со стороны политического класса мы не увидим, несмотря на усиление в его рядах мобилизационных настроений.

После того, как выявлены сложности и неопределенности в социальном, и, в нашем случае, в государственном управлении, следует, применяя герменевтику или метод восхождения от абстрактного к конкретному, на новом уровне понимания обратиться к обнаруженным связям, или сделать ассоциации снова прослеживаемыми.

В этом, согласно Б. Латуру, могут помочь три действия:

1. *Локализуем глобальное*. Для понимания данного процесса Б. Латур дает объяснение словосочетанию «актор-сеть»:

> «Обе части важны, отсюда и дефис. Первая часть (актор) раскрывает узкое пространство, в котором начинают вынашиваться все грандиозные компоненты мира; вторая часть (сеть) может объяснить, при помощи каких средств передвижения, следов, испытаний, типов информации мир вбирается внутрь этих мест и затем, трансформировавшись в них, выдавливается обратно наружу из их тесных стен» (2020, с. 252).

В Российской Федерации в настоящее время таким актором, где вынашиваются и принимаются важнейшие государственные решения, является Президент и его администрация, которые, как в советское время Политбюро КПСС, выступают в качестве главных инициаторов государственных решений, на перспективу определяющих дальнейшие конфигурации и действия административного аппарата, включая региональные и отраслевые его звенья, а также депутатов всех уровней системы публичной власти. Интересно, что, на наш взгляд, работу в регионах федеральных инспекторов как сотрудников президентской администрации при этом вполне можно сравнить с деятельностью вторых секретарей в национальных республиках в советское время, во многом с связи с реализацией специфических контрольных функций.

Таким образом, основные решения центра в России локализуются посредством цепочки, идущей от главы государства через его администрацию в лице, в том числе, полномочных представителей в федеральных округах; и далее – к высшим должностным лицам субъектов федерации (губернаторам). При этом вся такая цепь сегодня пронизывается и контролируется посредством электронного правительства, позволяющего увидеть весь масштаб административной работы: «…Чем больше развиваются наука и технология, тем физически легче прослеживать социальные связи» (с. 253).

2. *Перераспределяем локальное*. И опять необходимо упомянуть электронное правительство, электронный документооборот и напомнить, что значимость информационно-коммуникационных технологий подчеркивалась самим Б. Латуром:

> «…Информационные технологии позволяют отслеживать ассоциации способом, который раньше был невозможен. Не потому, что они ниспровергают старое конкретное “гуманное” общество, превращая нас в формализованных киборгов или “постгуманоидных” призраков, а по совершенно противоположной причине: они делают видимым то, что раньше присутствовало лишь виртуально» (с. 289).

В связи с этим отметим, что в первую очередь в поле зрения должны попадать циркуляция, взаимодействие (например, меж- и внутриведомственная, между и внутри учреждений и т.п.), а уже потом – ландшафт, то есть то, где именно происходит взаимодействие такого рода. Но такое современное перераспределение в случае с российской системой государственного и муниципального управления касается, прежде всего, ресурсов – финансовых, материальных, кадровых. На последние обратим особое внимание и рассмотрим складывающуюся сегодня ситуацию с рекрутированием кадров на важные государственные должности.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась достаточно разветвленная сеть институтов, включающих учебные заведения, молодежные организации, политические партии и т.п., проявляя активность в которых, можно ожидать продвижения по карьерной лестнице в органах публичной власти. Даже работникам корпоративного сектора, например, банковской системы, могут сделать предложение, от которого сложно отказаться, учитывая огосударствление большинства сфер общественной жизни. Так, пример с эволюцией региональной политической элиты в Липецкой области в последние годы демонстрирует востребованность выходцев именно из бизнес-структур:

> «Уникальной особенностью элитного строительства в Липецкой области является беспрецедентная активность ОАО “Сбербанк” в производстве каналов инкорпорации в региональный правящий класс. ОАО “Сбербанк” начинает выступать структурой-поставщиком элитных кадров в период правления И. Артамонова, который как раз и является выходцем из его структур <…> Сегодня И. Артамоновым предлагается принципиально новый стандарт кадрового отбора, сводящийся к следующей установке. Если человек успешен в бизнесе, равно как и в управленческих практиках, следовательно, он может быть успешен и в политике» (Скиперских, 2024, с. 292).

Отдельное значение в деле рекрутирования кадров на госслужбу имеют конкурсы, задуманные как некие социальные лифты, осуществляющиеся зачастую под эгидой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Не случайно Кириенко на первом Международном конгрессе государственного управления упоминал об открытости системы государственного управления в России, благодаря конкурсу «Лидеры России».

Ключевую роль в том, что такое оказывается возможным, играет Президент России, давший жизнь многим, если не всем таким инициативам. Сюда следует добавить и инициированную главой государства и стартовавшую в марте 2024 года кадровую программу «Время героев» по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы и формированию новой элиты России среди российских ветеранов и участников специальной военной операции. Здесь вновь обратим внимание на еще одну отсылку

к словам Кириенко на конгрессе: культура управления меняется только по воле первого лица.

Не претендуя на особую изобретательность, регионы в какой-то момент стали организовывать свои конкурсы лидеров, по аналогии с федеральными программами. Сегодня существует даже своеобразная франшиза, когда в процедуре оценки претендента на должность уровня регионального министра обязательно должны участвовать московские эксперты.

Вероятно, этот клубок взаимовлияний и зависимостей следует рассматривать в широкой перспективе и учитывать маятник колебаний от назначений высших должностных лиц субъектов федерации до возврата к их выборам, зачастую воспринимаемым как акт легитимации населением уже после одобрения соответствующей кандидатуры главой государства, случающегося за несколько месяцев до так называемого единого дня голосования.

3. *Соединяем места*. Для, так сказать, соединения мест мы должны знать, как все упомянутое выше – рекрутирование кадров, функционирование органов власти и учреждений, обмен информацией при принятии государственных решений и т. п. – работает; какую трансформацию претерпели коммуникативные агенты в лице современных чиновников и депутатов. И здесь необходимо отметить задачи, о которых напоминал Б. Латур:

> «…Чтобы сохранить верность эмпирическому пониманию социального, мы должны последовательно решить три разные задачи: развертывания, стабилизации и построения. Сначала мы должны научиться так развертывать разногласия, чтобы точно просчитать количество новых участников каждой будущей сборки (часть первая); затем мы должны быть в состоянии исследовать, как сами акторы стабилизируют эти неопределенности, выстраивая форматы, стандарты и метрологии (часть вторая); и, наконец, мы хотим увидеть, как смонтированные таким образом сборки способны обновить наше ощущение бытия в том же коллективе» (2020 с. 343).

В России выступление главы государства или даже видных деятелей его администрации следует, таким образом, считать «…неким развертыванием, когда определяется, какому органу власти (или общественной организации) и когда предстоит решать конкретную задачу» (Иванов, 2022, с. 25). Сглаживание или стабилизация неопределенностей (которые, как правило, восходят к системным проблемам), касается, в первую очередь, работы с тем, что мы обобщенно назвали контроверзами; одна из ключевых ролей в этом процессе отводится представителям политического класса, так сказать, нового типа – цифровым технократам. Будущая сборка в ситуации современного российского государственного развития, опять же, перемещает фокус внимания на фигуру главы государства или национального лидера, способного реализовать сценарий «мудрый правитель», связанный «…с героическим мифом и с платоновским пониманием идеального государства» (с. 26).

Заключение

Проведенный анализ показывает, что современный российский политический класс и связанный с ним административный «аппарат» целесообразно рассматривать не просто как совокупность изолированных институтов и должностей, а как сложную акторно-сетевую конфигурацию, в которой взаимодействуют человеческие и нечеловеческие акторы, формальные нормы, неформальные практики, цифровые технологии и унаследованные модели управления. Исследование продемонстрировало, что советская бюрократия сформировалась как относительно автономный элемент политической системы, обладавший собственной логикой воспроизводства, основанной на сочетании иерархии, патронажа, ведомственной замкнутости и корпоративного контроля над кадровыми ресурсами.

После распада СССР эта логика не была устранена, а подверглась своеобразному «переводу», в ходе которого прежние управленческие практики и ритуалы встроились в новые институциональные формы постсоветской государственности. В этом смысле современная российская бюрократия предстает как структура, сочетающая в себе элементы советского номенклатурного наследия и новые технократические, цифровые и кадровые механизмы управления.

Можно ли на основе вышеизложенного предложить какие-то новые подходы к государственному управлению? Вероятно, да. Так, дополнительно к семи выделенным подходам, артикулирующим явление ведомственности как феномена бюрократизма в советской истории (бюрократизм, группы интересов, экономические подходы, патрон-клиентизм, неотрадиционализм, ведомственное направление, постревизионизм) (Стась, 2025, с. 40–102) можно обозначить акторно-сетевой подход, применяя который уже к современной российской действительности (с учетом остальных подходов, пусть и довольно сильно видоизмененных по прошествии времени), на наш взгляд, можно иметь все возможности для составления объективного представления о положении дел при реализации государственной политики и при осуществлении государственного и муниципального управления.

Нужно ли стремиться делать сопоставимым и соизмеримым то, что происходило в сфере государственного управления в Советском Союзе, и то, что происходит сегодня в России? Конечно да, учитывая упомянутое выше ползучее возвращение советского в современные актуальные государственные управленческие практики. В действительности природа государственного управления характеризуется достаточно схожими в разные исторические периоды проблемами – от важности борьбы с коррупцией до необходимости что-то делать с постоянным разрастанием бюрократического аппарата, – демонстрируя своеобразное циклическое развитие. Поэтому, например, провозглашенный в 1920-е годы в СССР режим экономии в СССР вполне сравним с декларирующимися сегодня, в 2020-е годы, цифровизацией

и снижением административных барьеров (что, в свою очередь, восходит к задачам разных этапов современной административной реформы). Тогда, согласно Постановлению от 11 июня 1926 года «О режиме экономии», одним из основных направлений развития государственного управления стало

> «“упрощение и рационализация структуры учреждений и предприятий, в частности упрощение взаимоотношений частей их между собой, сокращение числа инстанций при прохождении дел и устранение параллелизма в работе; упразднение всякого рода излишних учреждений, предприятий, отделов, комиссий, совещаний, филиалов, представительств, агентств и т.п.”. Экономия включала в себя множество других более мелких решений – от отмены празднования юбилеев до установления времени рассмотрения вопросов. <…> Введение режима экономии в 1926 году являлось первой попыткой советской власти определить правила (у)правления в социалистическом государстве и административный контроль над чинами в самых различных учреждениях, которое что-то решают, делают, согласовывают и исполняют» (с. 130).

Сегодня, спустя ровно сто лет с момента издания того постановления, многие задачи кажутся удивительно похожими на объявленные цели и показатели административной реформы в России, институциональный этап реализации которой пришелся на 2006-2010 годы, когда были также и в 1920-е годы поставлены задачи упразднения дублирующих функций (одной из самых важных задач в начале административной реформы в 2003-2004 гг. стало «выявление избыточных административных функций» (Андриянов, 2011, с. 152), оптимизации функционирования органов исполнительной власти, сокращения сроков рассмотрения обращений граждан и т. п., но уже на основе электронного взаимодействия.

Post Scriptum

Более того, к настоящему времени у некоторых исследователей складывается впечатление, что электронное правительство работает настолько эффективно, что излишний контроль только мешает. Новый виток бюрократизма и контроля, а заодно с этим и очередной этап циклического развития государственного управления показывает нам кейс с лишними кураторами. Практика закрепления за внедряющимися с недавнего времени в отдельных российских регионах (преимущественно демонстрирующих невысокие показатели социально-экономического развития) индивидуальных программ социально-экономического развития (далее – ИПР) кураторов со стороны федеральных органов исполнительной власти показывает себя неэффективной, так как от кураторов требуется выполнение функций и решение задач, выходящих за рамки их сферы деятельности, и де-факто реализация большей части функций, возложенных на кураторов, осуществляется другими исполнителями:



> «...За каждым регионом с ИПР закреплено ответственное министерство-куратор. При этом определенной логики (хотя бы по отраслевому принципу) в распределении кураторов между регионами не прослеживается.
>
> <...> К сфере ответственности кураторов относится разработка документов ИПР. На практике же разработка документов программ, включая наполнение их мероприятиями, формулировку целевых ориентиров и задач, осуществляется региональными органами власти, поскольку они закономерно в большей степени осведомлены о региональных проблемах, которые возможно решить за счет средств ИПР.
>
> <...> Хотя по логике построения системы управления ИПР кураторы должны выполнять функцию посредников между регионами и Минэкономразвития России, в реальности органам власти субъектов Российской Федерации все равно приходится взаимодействовать по вопросам реализации ИПР с Минэкономразвития России напрямую. По словам одного из респондентов в регионе реализации ИПР, взаимодействие с куратором лишь добавляет несколько дополнительных дней к срокам процессов согласования решений в отношении программы» (Землянский и др., 2024, с. 130).

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Все авторы данной рукописи были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Все авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT):

Иванов А. Г. – предложил методологию исследования, провел анализ современного российского бюрократического аппарата.

Целыковский А. А. – провел анализ научной литературы по проблеме исследования, провел анализ бюрократии в социально-философской и политической теории.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Андриянов, В. Д. (2011). *Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: История и современность*. Волтерс Клувер.

Блур, Д. (2017). Анти-Латур. *Логос*, 27(1), 85–134. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-1-85-131

Вебер, М. (2019). *Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Господство*. Издательский дом Высшей школы экономики. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1516-7

Вопросы создания электронного правительства и перевод государственных услуг в электронный вид: Учебно-методические материалы краткосрочной программы повышения квалификации (Т. 1). (2012). Институт подготовки кадров государственного и муниципального управления РАНХиГС.

Восленский, М. С. (2019). *Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза*. Директ-Медиа.

Дюркгейм, Э. (1995). *Социология. Ее предмет, метод, предназначение*. Канон.

Землянский, Д., Чуженькова, В., Абдуллаев, А., Калиновский, Л., Медведникова, Д., & Прусихин, О. (2024). Особенности и проблемы реализации индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. *Вопросы Государственного и Муниципального Управления*, (4), 44–78. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2024-0-4-44-78

Иванов, А. (2022). Мифология светлого будущего: Ответ российского государства на общественный запрос на справедливость. *Logos et Praxis*, 21(1), 22–29. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.1.3

Каллон, М. (2017). Некоторые элементы социологии перевода: Приручение морских гребешков и рыболовов бухты Сен-Брие. *Логос*, 27(2), 49–95. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-2-49-90

Крашенинников, П. В. (2026). *Золотой сон бюрократии. Государство и право эпохи застоя (1964-1985)*. Эксмо.

Купряшин, Г. Л. (2012). *Модернизация государственного управления: Институты и интересы*. Издательство Московского университета.

Латур, Б. (2020). *Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию*. Издательский дом Высшей школы экономики.

Маркузе, Г. (1994). *Одномерный человек*. Рефл-бук.

Моска, Г. (2023). *Начала политической науки*. КноРус.

Оболонский, А. В. (2015). Очерк истории российско-советской бюрократической номенклатуры. *Вопросы государственного и муниципального управления*, (3), 145–164.

Парето, В. (2024). *Социалистические системы*. РИОР.

Скиперских, А. В. (2024). От «сельсовета» к «технократам»: Легитимация политических элит Липецкой области при Игоре Артамонове. *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, (79), 282–297. https://doi.org/10.17223/1998863X/79/25

Стась, И. Н. (Ред.). (2025). *Советская ведомственность: Коллективная монография*. Новое литературное обозрение.

Федотова, В. Г. (2007). Субъект социально-гуманитарных наук. В *Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук* (сс. 491–494). Гардарики.

Фуко, М. (2022). *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. Ад Маргинем.

Хлевнюк, О., & Горлицкий, Й. (2024). *Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева*. Новое литературное обозрение.

References

Andriyanov, V. D. (2011). *Bureaucracy, Corruption, and the Effectiveness of Public Administration: History and the Present*. Wolters Kluwer. (In Russian).

Bloor, D. (2017). Anti-Latour. *Philosophical Literary Journal Logos*, *27*(1), 85–131. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-1-85-131 (In Russian).

Callon, M. (2017). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of Saint-Brieuc Bay. *Philosophical Literary Journal Logos*, *27*(2), 49–90. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-2-49-90 (In Russian).

Durkheim, É. (1995). *Sociology: Its Subject Matter, Method, and Purpose*. Kanon. (In Russian).

Fedotova, V. G. (2007). The subject of the social sciences and humanities. In *Contemporary Philosophical Problems of the Natural, Technical, Social Sciences and Humanities* (pp. 491–494). Gardariki. (In Russian).

Foucault, M. (2022). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Ad Marginem. (In Russian).

Issues in Creating E-Government and Transferring Public Services into Electronic Form: Educational and Methodological Materials for a Short-Term Professional Development Programme (Vol. 1). (2012). Institute for Training Personnel in State and Municipal Administration, RANEPA. (In Russian).

Ivanov, A. (2022). Mythology of a Bright Future: The Russian State's Response to the Public Demand for Justice. *Logos et Praxis*, (1), 22–29. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.1.3 (In Russian).

Khlevniuk, O., & Gorlizki, Y. (2024). *Secretaries: Regional Networks in the USSR from Stalin to Brezhnev*. New Literary Observer. (In Russian).

Krasheninnikov, P. V. (2026). *The Golden Dream of Bureaucracy: The State and Law of the Era of Stagnation (1964–1985)*. Eksmo. (In Russian).

Kupryashin, G. L. (2012). *Modernisation of Public Administration: Institutions and Interests*. Moscow University Press. (In Russian).

Latour, B. (2020). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. HSE Publishing House. (In Russian).

Marcuse, H. (1994). *One-Dimensional Man*. Refl-book. (In Russian).

Mosca, G. (2023). *The Ruling Class*. KnoRus. (In Russian).

Obolonsky, A. V. (2015). An Essay on the History of the Russian and Soviet Bureaucratic Nomenclature. *Public Administration Issues*, (3), 145–164. (In Russian).

Pareto, V. (2024). *Socialist Systems*. RIOR. (In Russian).

Skiperskikh, A. V. (2024). From "Village Council" to "Technocrats": Legitimation of the Political Elites of Lipetsk Oblast Under Igor Artamonov. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, (79), 282–297. https://doi.org/10.17223/1998863X/79/25 (In Russian).

Stas, I. N. (Ed.). (2025). *Soviet Departmentalism: A Collective Monograph*. New Literary Observer. (In Russian).

Voslensky, M. S. (2019). *Nomenklatura: The Ruling Class of the Soviet Union*. Direkt-Media. (In Russian).

Weber, M. (2019). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Domination*. HSE Publishing House. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1516-7 (In Russian).

Zemlyanskiy, D., Chuzhenkova, V., Abdullaev, A., Kalinovsky, L., Medvednikova, D., & Prusikhin, O. (2024). Features and Problems of Implementation of Individual Socio-Economic Development Programs of the Subjects of the Russian Federation. *Public Administration Issues*, (4), 44–78. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2024-0-4-44-78 (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Медиа и политические исследования | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.776

Ideology After the Disappearance of the Subject. Agency and Networks: Who Produces Meanings Today?

Ivan V. Suslov (a), & Zarina Z. Knyzhova (b)

(a) Saratov State Law Academy. Saratov, Russia.
Email: suslov85[at]inbox.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-0991-6368

(b) Saratov State Law Academy; Saratov State University. Saratov, Russia.
Email: knyzhova[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0001-5941-5380

Received: 29 March 2026 | Revised: 25 April 2026 | Accepted: 2 May 2026

Abstract

This article analyzes the transformation of subjectivity in ideological communication within the context of digital society. Based on the understanding of ideology as a system of universalizable meanings that claim normative interpretation of political reality, the authors examine the transition from an institutionally fixed and asymmetrical communication model to distributed forms of meaning production. It is shown that digitalization disrupts the link between the subject's intention and the outcome of ideological discourse, necessitating a theoretical shift from the category of subjectivity to the category of agency.

Methodologically, the research relies on actor-network theory, which allows for the interpretation of ideological communication as an effect of the interaction of multiple actors (internet users). It is demonstrated that in the digital environment, ideological meanings are formed through collective interpretation, and their final significance is determined not by the author, but by the configuration of network interactions.

The conclusion is drawn that contemporary ideological communication loses its centralized character and takes the form of a polycentric, dynamic, and weakly controlled process, in which the network acts as a key actor in the production of ideological effects.

Keywords

Ideological Communication; Subjectivity; Agency; Digital Society; Actor-Network Theory; Network Media; User-Generated Content; Ideological Effects; Echo Chamber; Ideology

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License
© 2026 Ivan V. Suslov, & Zarina Z. Knyzhova

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Media & Political Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.776

Идеология после исчезновения субъекта. Агентность и сети: кто производит смыслы сегодня?

Суслов Иван Владимирович (a), Кныжова Зарина Закиевна (b)

(a) Саратовская государственная юридическая академия. Саратов, Россия. Email: suslov85[at]inbox.ru ORCID https://orcid.org/0000-0003-0991-6368

(b) Саратовская государственная юридическая академия; Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Саратов, Россия. Email: knyzhova[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0001-5941-5380

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Пересмотрена: 25 апреля 2026 | Принята: 2 мая 2026

Аннотация

Статья посвящена анализу трансформации субъектности в идеологической коммуникации в условиях цифрового общества. Исходя из понимания идеологии как системы универсализируемых смыслов, претендующих на нормативную интерпретацию политической реальности, авторы рассматривают переход от институционально закреплённой и асимметричной модели коммуникации к распределённым формам смыслопроизводства. Утверждается, что в цифровой среде идеологическая коммуникация может продуцироваться и в ситуации отсутствия намерения субъекта, что требует теоретического смещения от категории субъектности к категории агентности.

Методологически исследование опирается на акторно-сетевую теорию, позволяющую интерпретировать идеологическую коммуникацию как производную взаимодействия множества разнообразных акторов (интернет-пользователей), На конкретных примерах демонстрируется, что в цифровой среде идеологические смыслы формируются в процессе коллективной интерпретации, а их итоговое значение определяется не субъектом, а конфигурацией сетевых взаимодействий. Делается вывод о том, что современная идеологическая коммуникация утрачивает централизованный характер и приобретает форму полицентричного, динамичного и слабо контролируемого процесса, в котором сеть выступает ключевым актантом производства идеологических эффектов.

Ключевые слова

идеологическая коммуникация; субъектность; агентность; цифровое общество; акторно-сетевая теория; сетевые медиа; пользовательский контент; идеологические эффекты; эхо-камера; идеология

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Суслов Иван Владимирович, Кныжова Зарина Закиевна

Введение

Кто сегодня является субъектом идеологической коммуникации? Этот, казалось бы, простой вопрос в условиях цифрового общества теряет очевидность. Если в доцифровую эпоху в качестве субъектов назывались официальные институты (государство, партии, интеллектуальные элиты), то в сетевой среде сама возможность определения субъекта оказывается проблематичной. Идеологические смыслы продолжают циркулировать в медиапространстве, но их производство всё в меньшей степени может быть оценено как централизованное.

Возникает парадокс: при сохранении идеологии — исчезает её «автор». Или, точнее, размывается граница между автором и аудиторией, между производителем, интерпретатором и рецепиентом. Можно ли в этих условиях продолжать говорить о субъектах идеологической коммуникации? Или же корректнее указать на возникновение (в результате взаимодействия множества интернет-пользователей) распределённой агентности?

Изменение структуры идеологической коммуникации происходит одновременно с эволюцией и собственно форм идеологического контента в сторону повышения их «несерьёзности». С. Тихонова, обратившись к изучению сатирических пабликов ВК «Вася Ложкин и его котики (фан-клуб)», а также «Коты за коммунизм», показала, что цифровой котоконтент способен выполнять функции транслятора идеологических смыслов (2024). Изменение языка и жанров позволяет совершиться и радикальной трансформации субъектной структуры идеологической коммуникации.

В цифровой культуре происходит смещение от «больших» идеологических форм к множеству микроформатов, которые упрощают содержание классических идеологий и создают возможности перераспределения субъектности идеологического производства. Котоконтент в этом смысле представляет собой показательный кейс (а вовсе не маргинальный феномен), демонстрирующий как идеологические нарративы Модерна сохраняются в медиапространстве, будучи окружёнными «защитным поясом» коротких, эмоционально насыщенных и легко тиражируемых форм, преобразующих идеологические смыслы, включая в их производство широкие слои пользователей.

Отсюда вытекает ключевая проблема исследования: каким образом трансформируется субъектность идеологической коммуникации в условиях цифровой среды?

Гипотеза статьи состоит в том, что цифровизация расширяет круг участников идеологической коммуникации и умаляет эвристическую ценность самой категории субъекта, требуя ее замены категорией агентности. Идеологические эффекты формируются в результате циркуляции сообщений внутри сетей и перестают жестко детерминироваться намерениями конкретных акторов.

Целью статьи является теоретическое описание трансформации субъектности (и перехода к распределённой агентности) в идеологических коммуникациях цифрового общества. Тем самым исследование ставит более общий теоретический вопрос: можно ли в принципе говорить о субъекте идеологии в условиях, когда сама идеология существует как эффект сети?

Понимание природы современной идеологической коммуникации требует радикального пересмотра понятийного аппарата ее описания.

Идеологическая коммуникация и ее субъекты

В настоящем исследовании идеология понимается не как замкнутая доктрина, не как исключительно ложное сознание и не как риторическая оболочка политических интересов, а как система универсализируемых смыслов, претендующих на нормативную интерпретацию политической реальности. Такой подход позволяет уйти от слишком узкого, исключительно разоблачительного понимания идеологии и рассматривать ее как одну из базовых форм политического мышления. Современные теоретические обзоры подчеркивают, что различные концепции идеологии, несмотря на расхождения, сходятся в признании ее способности организовывать политическое восприятие мира, задавать критерии легитимного и нелегитимного, желательного и недопустимого (Buchanan & Levinson, 2024).

Исходя из этого, идеологическую коммуникацию следует понимать как особый тип политической коммуникации (McNair, 2017), направленный не столько на передачу информации, сколько на производство и закрепление в массовом сознании значимых интерпретационных рамок, позволяющих совершать оценку социально-политической реальности. В политической коммуникации возникают идеологические эффекты в том, случае, если ситуативные (то есть, конкретные) высказывания субъектов политики достигают нормативного уровня универсальных (то есть обобщающих) смысловых структур.

До цифровой революции в коммуникативных технологиях идеологическая форма коммуникации обладала относительно устойчивой институциональной конфигурацией. Её субъектность была чётко артикулирована и, что принципиально, асимметрична. Производство идеологических смыслов концентрировалось в руках ограниченного круга акторов — государства, партийных структур, интеллектуальных элит, профессиональных производителей медиа контента (журналистов), которые выступали в качестве «субъектов смыслообразования» способных производить, а также и распространять схемы интерпретации социальной реальности, что в терминологии Пьера Бурдьё описывается как проявление символической власти (1991). Субъектность идеологической коммуникации в доцифровую эпоху была структурно закреплена: одни обладали правом говорить «от имени» общего, тогда как другие выступали преимущественно в роли адресатов.

Асимметрия субъектности проявлялась и в характере обратной связи. Если политическая коммуникация в принципе предполагает возможность реакции со стороны аудитории, то в условиях доминирования традиционных массовых медиа эта реакция либо существенно отсрочена, либо институционально фильтруется. Как отмечают Пол Лазарсфельд и Роберт Мертон, массовая коммуникация функционирует по модели «двухступенчатого потока», в которой интерпретация сообщений концентрируется у ограниченного круга лидеров мнений (1948, p. 95–118). Тем самым даже потенциальная множественность интерпретаций оказывается структурно ограниченной. Иначе говоря, доцифровая конфигурация идеологической коммуникации предполагает доминирование вертикальных моделей взаимодействия, в которых производство, распространение и интерпретация смыслов подчинены иерархическим отношениям.

Таким образом, идеологическая коммуникация в доцифровую эпоху характеризуется тремя ключевыми признаками: институциональной централизованностью, асимметрией субъектности и ограниченной обратной связью. Политические субъекты, выступающие производителями идеологического контента, обладают привилегией интерпретации и легитимации смыслов, тогда как аудитория в значительной степени выступает объектом идеологического воздействия. Субъектность идеологической коммуникации будет подвергнута радикальной трансформации в условиях цифровизации коммуникативного пространства.

Что предсказывали классики социально-политических наук о трансформации субъектов идеологической коммуникации

Осмысление трансформации субъектов идеологической коммуникации в цифровую эпоху требует обращения к тем авторам, которые еще до окончательного оформления современной сетевой среды уловили тенденцию включения широких и все менее предсказуемых «масс» в процессы производства политических смыслов.

Уже М. Маклюэн указывал на парадокс коммуникационного сжатия: чем теснее и насыщенней становится информационное пространство, тем менее вероятен консенсус и тем выше вероятность тотального разногласия (Маклюэн & Фиоре, 2012). Расширение коммуникативной включенности не способствует рационализации публичной сферы, а, скорее, создает условия для хронического сосуществования несовместимых интерпретаций.

Доцифровая эпоха знала массовую политику, массовую пропаганду и массовую прессу, однако сетевое уплотнение коммуникации создало ситуацию, в которой практически любое частное мнение получает шанс на вхождение в общее поле восприятия. Тем самым классическое различие между центром идеологического производства и периферией идеологического потребления начинает утрачивать очевидность.

А. И. Соловьев в начале 2000-х, анализируя трансформацию идеологического пространства постсоветской России, сделал ряд достаточно тонких наблюдений. Во-первых, исследователь отметил, что в позднемассовом обществе главной задачей символической политики становится не интеграция устойчивых и больших социальных групп в идеологические проекты, а поддержание самой возможности коммуникации между властью и человеком, все более ускользающим из пространства политики как сферы долговременной идентификации (2001). На место идеолога, работавшего с доктринальными схемами, программами и относительно связными мировоззренческими конструкциями, выдвигается политтехнолог, оперирующий поводами, образами, эмоциональными триггерами, сценариями включения и краткосрочными способами разогрева (мобилизации) массовой «социальности».

А. И. Соловьев тем самым одним из первых в отечественной политической теории сместил оптику исследовательского внимания с общих проблем идеологии к идеологическим коммуникациям как событию. Если прежняя идеологическая работа стремилась навязать человеку определенный набор смыслов, апеллируя к рационализированным формулам коллективного будущего, то новые идеологические формы коммуникации призваны не убеждать, а обеспечивать ситуативный контакт гражданина с властью. Именно поэтому центральным конструктом постсоветской идеологической работы становится имидж; управляемая узнаваемость, позволяющая осуществлять коммуникативную мобилизацию (Соловьев, 2001, с.18–19).

М. Фриден в программной редакционной статье начала 2000-х отмечал, что политический истеблишмент и элитные интеллектуальные круги утрачивают идеологическую монополию (Freeden, 2000). Если в эпоху «великих идеологий» либерализм, консерватизм, социализм или фашизм формировались, культивировались и охранялись политическими и интеллектуальными элитами, то в условиях новых социальных движений производство идеологических смыслов начинает демократизироваться. Массы превращаются из адресата в соавтора. Те группы, которые прежде выступали потребителями готовых доктрин, начинают переопределять их язык, смещать акценты, развивать эклектические и конкурирующие версии ценностных ядер.

Идеология становится менее похожей на завершенную доктрину и все более напоминает открытую среду конкурирующих смысловых фрагментов (Freeden, 2000, p. 11). Интеллектуалы в значительной степени выходят из борьбы за публичное значение слов, перемещая свою активность в профессиональные и академические пространства. Публичный язык политики оказывается открыт для упрощения, поскольку прежние инстанции смысловой дисциплины уже не обладают безусловным авторитетом.

Если А. И. Соловьев показал, как идеологическая коммуникация сдвигается в сторону формирования имиджа, а М. Фриден – как она демократизируется, то с помощью концепции сетевого общества М. Кастельса возможно

определить, как развитие информационных технологий изменило принципы организации социального пространства. Коммуникационная модель «от одного ко многим» начинает заменяться моделью «от многих ко многим», а граница между массовой и межличностной коммуникацией постепенно размывается (Castells, 2007, pp. 238–266).

Если раньше центры идеологического производства были относительно легко локализуемы (это редакции, партии, государственные аппараты, образовательные институты), то теперь заметную роль начинают играть горизонтально организованные сети, способные самостоятельно производить, перерабатывать и распространять контент, имеющий идеологический смысл (Hansson & DePaula, 2025; DePaula, & Hansson, 2025). Социальные сети наполняются пользовательским контентом, предполагают интерактивность, постоянную обратимость позиций отправителя и получателя сообщения, возможность частному высказыванию перейти в режим массовой циркуляции.

В сфере идеологии возникает новая историческая ситуация: массам больше не нужно ждать, пока их опишут, назовут и мобилизуют извне; они получают возможность участвовать в конструировании публичного языка, пусть и в формах, которые часто оказываются фрагментарными, скорее эмоциональными, а не рациональными и недолговечными, что делает идеологическое пространство гораздо менее управляемым.

Поздние наблюдения М. Фридена касаются потери устойчивости: на смену сравнительно долговечным идеологическим системам приходят краткие, целенаправленные, но непрочные формы агитации, ситуативные кампании, разнообразные символические интервенции, не предполагающие ни концептуальной завершенности, ни намерения сохранять исходный взгляд в неизменном виде (2018). Идеологический текст в его классическом смысле (трактат, книга, программный памфлет) уступает место короткому и интенсивному высказыванию, существующему в ритме, который задают технические носители, поддерживающие его циркуляцию.

Интенсивность идеологической дискуссии растет по мере снижения ее содержательной сложности до уровня кратких формул, эмоциональных слоганов. Массовая идеологическая полемика в социальных сетях становится более резкой, грубой и менее способной к рефлексивному разворачиванию собственных оснований (Freeden, 2018). М. Фриден, по сути, фиксирует начало доминирование таких идеологических форм, что удобны в контексте ускоренного символического обмена, а не тех. что предполагают длительную интеллектуальную работу в контексте их производства и потребления.

Если довести эту линию рассуждений до ее нормативного предела, то наиболее тревожный диагноз ставит Ю. Хабермас, обращая внимание на то, что среди активных пользователей социальных медиа утверждается форма коммуникации, искажающая само представление граждан о политической публичной сфере как пространстве формирования общественного мнения и

воли (2023). Для Ю. Хабермаса проблема заключается в упадке качества дискуссии и снижении готовности граждан воспринимать публичную сферу как общее пространство рационально ориентированного обсуждения, без чего делиберативная демократия не может функционировать.

Новые медиа производят участников коммуникации, для которых политическая публичность переживается прежде всего как пространство самоутверждения, реакций, микропубликаций. Отсюда вытекает и нормативное требование Ю. Хабермаса сохранить такую структуру СМИ, которая обеспечивала бы инклюзивный характер публичной сферы и совещательный характер формирования общественных мнения и воли (2023, с. 11).

Таким образом, классики и поздние классики социально-политической мысли фактически реконструировали одну и ту же историческую тенденцию: субъект идеологической коммуникации постепенно утрачивает свою прежнюю институциональную закрепленность. Цифровизация увеличила число тех, кто способен говорить политически, и тем самым демократизировала доступ к идеологическим коммуникациям. Традиционный субъект идеологии (идеолог, партия, государственный аппарат, редакция, интеллектуальная элита) перестал быть единственным центром производства идеологических значений. Следовательно проблема трансформации субъектов коммуникации возникает как результат перестройки политико-идеологической среды, связанной с переходом от вертикально организованного символического производства к множественной, ускоренной и полицентричной борьбе за право определять значение, норму, справедливость и допустимый язык описания политической реальности.

От субъектности к агентности: теоретические ресурсы осмысления идеологических коммуникаций в цифровом обществе

Использовать термин «субъектность» при описании современных идеологических коммуникаций цифрового общества кажется неверным с эпистемологической точки зрения. Категория субъекта соотносится с носителем политической воли, интенциональным производителем смыслов, способным инициировать идеологическое сообщение, направив его в публичное пространство и в существенной степени проконтролировав траекторию его последующего обращения. Связка воли, авторства и контроля разрушается в сетевой среде прежде всего. Политики, оставаясь в публичном пространстве, утрачивают монополию на производство идеологических смыслов, теряя контроль над идеологической интерпретацией сообщений, которые сами инициируют. Сетевые сообщества, напротив, приобретают заметную способность участвовать в производстве, переработке и санкционировании идеологических значений, но при этом плохо поддаются описанию как субъекты в строгом смысле слова, так как им сложно приписать наличие устойчивой

идентичности и выраженной коллективной воли. Именно поэтому для анализа цифровых идеологических коммуникаций требуется переход от категории субъектности к категории агентности.

Категория субъекта отсылает к действию, которое можно персонализировать и вывести из намерения. Категория агентности, напротив, позволяет мыслить действие как распределенный эффект, возникающий в ходе взаимодействия множества элементов, ни один из которых не является ответственным за производимый результат.

Теоретический язык, наиболее последовательно описывающий агентность идеологических коммуникаций, предлагает акторно-сетевая теория (Сосновская, 2023). С точки зрения Б. Латура, актор не должен пониматься как суверенный источник причинности; напротив, действие оказывается зависимым (и вообще возможным) от неопределенного количества посредников, материальных устройств и связей (Латур, 2014): мемы, кнопки репоста, рекомендательная логика платформы, резонансные комментарии, эмоционально заряженное сетевое сообщество.

В классической модели коммуникации сохранялось допущение, что содержание может передаваться либо без потерь, либо с большими или меньшими внешними искажениями. В цифровой среде любой участник сети — пользователь, комментатор, редактор, — уже тем самым, что включает сообщение в новый контекст, изменяет его. Переход сообщения из одного сегмента сети в другой не является нейтральным для смысла сообщения. Следовательно, идеология в цифровом обществе не тождественное содержание, которое можно проследить сквозь каналы передачи, а цепочка рекомбинаций, в которых и формируется ее реальная общественная действенность.

Отсюда вытекает и более широкая полемическая проблема. Традиционная теория идеологии предполагала наличие вертикальной схемы ее трансляции: государство, партия, интеллектуальная элита, редакция формулируют ценностно нагруженное содержание, которое затем транслируется обществу. Даже критические теории, разоблачавшие скрытую работу идеологии, нередко сохраняли верность этому же каркасу, просто меняя знак оценки, но по-прежнему предполагалось, что где-то существует исходный пункт ее производства. Сетевая оптика ставит эту очевидность под сомнение, так как идеология в цифровой среде собирается множеством участников коммуникации.

А. Блок и К. Б. Йенсен предлагают рассматривать акторно-сетевую теорию как открытую исследовательскую программу, пригодную для анализа все более сложных, нестабильных и тревожных социотехнических сборок, в которых причинность и власть не принадлежат заранее выделенным центрам (2024).

Понятие агентности позволяет описывать способность производить эффект в рамках сети. Политик, пользователь, блогер, цифровое сообщество обладают различной, неравномерной, но вполне реальной агентностью (Ndi, 2021).

Не политик определяет окончательную интерпретацию своего высказывания, а та сеть репостов, обрамлений, комментариев, визуальных сокращений, платформенных приоритетов и моральных реакций, в которую высказывание попадает.

Идеологические сообщения политических лидеров попадают в режим ускоренной коллективной переработки, во время которой цитирование, насмешка, моральное осуждение, ироническое переозначивание, меметизация и платформенная селекция производят эффекты, прямо противоположные исходному намерению. Иначе говоря, политик сохраняет видимость субъекта, но утрачивает реальное господство над собственным идеологическим высказыванием. При этом коммуникативная значимость смещается с первичного медиасообщения на вторичные дискурсивные практики, разворачивающиеся в пространстве комментариев: для значительной части пользователей именно участие в обсуждении, а не потребление исходного контента, становится основной целью взаимодействия. Как отмечает М. Капранс, подобные формы коммуникации по своей логике и динамике воспроизводят модель спонтанного коллективного общения, сходную с неформальными дискуссиями в пространстве ирландского паба, где приоритетным оказывается не столько содержательное ядро разговора, сколько сам процесс включённости в него (2016).

Вокруг отдельных каналов и платформ формируются относительно устойчивые интерпретативные сообщества, характеризующиеся частичным консенсусом в оценках и когнитивных схемах, транслируемых авторами контента. Внутри данных коммуникационных контуров воспроизводятся доминирующие оценочные матрицы, что создает предпосылки для формирования феномена, описанного Касс Санстейн с помощью термина «эхо-камера» (2004). В рамках подобных структур наблюдается нарастание идеологической гомогенности, сопровождаемое эффектами групповой поляризации: участники дискуссий демонстрируют тенденцию к радикализации собственных позиций и одновременному символическому исключению и демонизации альтернативных точек зрения.

Пользователи, чьи интерпретации не совпадают с доминирующим дискурсом, испытывают коммуникативный дискомфорт и, как следствие, либо покидают соответствующие площадки, либо минимизируют степень своего участия. Данный процесс способствует дальнейшей гомогенизации дискурсивного пространства и его замыканию. В то же время наиболее активные участники подобных сообществ аккумулируют символический и коммуникативный капитал, что позволяет им выступать в качестве лидеров общественного мнения (Karlsen, 2015).

Незапланированные идеологические эффекты медиактивности политиков

Политические акторы в конце первого десятилетия XXI века приступили к систематическому освоению цифровой среды, включая интернет-платформы и сопряжённые с ними технологические инфраструктуры. К указанному периоду практики использования социальных сетей, получившие глобальную популярность благодаря избирательным кампаниям Барака Обама, были институционально апроприированы и в российском политическом пространстве: в частности, региональные управленческие элиты демонстрировали высокую интенсивность сетевой активности, выражавшуюся в регулярном производстве медиаконтента.

На начальном этапе дигитализации политической коммуникации интернет рассматривался преимущественно в логике медиаканала, функционально аналогичного традиционным средствам массовой информации, что предполагало доминирование односторонних моделей трансляции сообщений. Эмпирические исследования начала 2010-х годов фиксируют, что даже в таких формально интерактивных средах, как социальные сети, коммуникационные практики политиков сводились к размещению ссылок на новости или другую информацию, уже размещенную на внешних интернет-ресурсах. До середины 2010-х годов интерактивный потенциал цифровых платформ оставался в значительной степени нереализованным, уступая по значимости более привычным форматам — электронной почте и текстовым блогам.

В последующем интернет из инструмента репрезентации информации эволюционирует в автономную коммуникационную среду, в которой становится возможным прямое взаимодействие между представителями власти и гражданами и применение сложных технологических решений (например, политического микротаргетинга), радикально изменяющих конфигурацию электоральных стратегий (Cernison, 2019, p. 139–164; Raidt, 2017, p. 56–65). В теоретическом дискурсе параллельно формируется представление о перспективах институционализации «цифровых партий», чья организационная и коммуникативная структура укоренена в виртуальном пространстве (Gerbaudo, 2019).

Расширение цифровых коммуникационных возможностей сопрягалось с формированием нормативных ожиданий, связанных с демократизацией политического процесса, углублением форм гражданского участия и повышением транспарентности управленческих практик. Предполагалось, что цифровая среда обеспечит условия для совместного производства и согласования так называемых «публичных ценностей» посредством интерактивного диалога между государством и обществом.

Институционализация цифровых форм политического взаимодействия инициирует трансформацию культуры (нормативно-ценностных регуляторов) масс-элитных коммуникаций, проявлявшуюся, в частности, в усилении обще-

ственной чувствительности к нарушениям коммуникативной этики со стороны политических акторов, что обусловлено возрастанием уровня цифровой прозрачности и наблюдаемости публичного пространства.

Развитие интернет-среды интенсифицирует процессы общественного обсуждения как офлайн-практик поведения политиков, так и их онлайн-репрезентаций. На раннем этапе (первая половина 2010-х годов) возникавшие коммуникативные инциденты, как правило, интерпретировались в ироническом ключе и не приводили к значимым медиа последствиям.

С середины 2010-х годов фиксируется переход к новому этапу, характеризующемуся, во-первых, количественным ростом публичных скандалов, связанных с деятельностью представителей власти, что коррелирует с повсеместной дигитализацией повседневности, а во-вторых — качественным изменением их интерпретации. Общественная реакция утрачивает игриво-иронический характер и приобретает выраженную нормативно-социальную направленность: коммуникативные сбои начинают осмысляться как проявления структурного неравенства и символического доминирования политических элит, актуализируется общественный запрос на социальную справедливость как ключевой нормативный ориентир.

Во второй половине 2010-х происходит перераспределение субъектности в производстве и структурировании информационной повестки. Традиционные средства массовой информации утрачивают монополию на функцию контроля власти, занимая позицию вторичного наблюдателя (Enjolras & Steen-Johnsen, 2017), тогда как ключевыми акторами становятся пользователи цифровых платформ (Bory, 2020, p. 117–128). Наблюдается также трансформация медиа стратегий самих политических акторов: институционально нейтральный информационный стиль постепенно уступает место персонализированным и эмоционально насыщенным формам высказывания, разговорной стилистике, что, с одной стороны, способствует снижению дистанции между властью и обществом, а с другой — повышает вероятность нарушения нормативных границ публичной коммуникации.

Цифровые платформы формируют особую среду дискурсивного взаимодействия, в рамках которой пользовательские комментарии приобретают статус самостоятельного смыслопроизводящего элемента. Вокруг медиаконтента формируются устойчивые интерпретативные сообщества, внутри которых воспроизводятся доминирующие когнитивные схемы и оценочные паттерны. Данный феномен концептуализирован Касс Санстейн в терминах «эхо-камер», внутри которых происходит усиление идеологической гомогенности и радикализация позиций участников дискурса.

Отдельного внимания заслуживает феномен «игровизации» цифровой коммуникации, проявляющийся в ориентации акторов на количественные метрики внимания (подписчики, лайки, просмотры), что стимулирует произ-

водство контента с повышенным уровнем провокационности и эмоциональной вовлечённости (Gekker, 2018; Timmermans, 2015, p. 289–290), усиливая вероятность возникновения скандалов, функционирующих как специфические механизмы перераспределения внимания.

Интернет-скандалы, в которые массово попадали региональные политики в 2018–2021 гг., характеризуются наличием триггерных событий, обладающих высокой степенью нормативной чувствительности и способных инициировать лавинообразное распространение интерпретаций, зачастую выходящих за пределы исходного контекста, чья динамика определяется соответствием ожиданиям аудитории относительно допустимого и недопустимого в публичном пространстве.

Анализируя природу интернет-скандалов (хайпа), Ш. Вин выделяет следующие ключевые структурные параметры (Wien, 2018). Во-первых, инициирующее событие (триггер) зачастую оказывается слабо коррелированным с исходным информационным контекстом, что свидетельствует об относительной автономности динамики смыслопроизводства в цифровой среде. Во-вторых, событие, вызывающее скандал, должно обладать высокой степенью нормативной чувствительности, затрагивая значимые для данного общества представления о допустимом и недопустимом, а также быть пригодным для массовой публичной артикуляции. Именно сочетание указанных характеристик обеспечивает потенциал к лавинообразному распространению и превращению в объект масштабного общественного внимания.

Таким образом, политические акторы в условиях цифровизации выступают не только как производители и трансляторы идеологических конструкций, но и как элементы сложной коммуникативной экосистемы, в которой результаты их медиа-деятельности носят принципиально непредсказуемый характер. Публичная активность может способствовать как укреплению доверия к институциональным идеологическим рамкам, так и их эрозии. Возникающий феномен общественной «цифровой бдительности» усиливает механизмы горизонтального контроля, в результате чего общество превращается из пассивного объекта идеологического воздействия в активного соучастника производства, интерпретации и трансформации идеологических смыслов.

Применение акторно-сетевой теории к анализу незапланированных идеологических эффектов политической коммуникации

Одним из наиболее показательных следствий трансформации идеологических коммуникаций в цифровом обществе является появление и институционализация феномена незапланированных идеологических эффектов, возникающих в результате сетевой циркуляции высказываний субъектов политики. Если в доцифровой модели политической коммуникации можно было, пусть и

с оговорками, предполагать относительное соответствие между намерением субъекта и идеологическим результатом его высказывания, то в условиях сетевой среды данная связка разрушается. Политическое сообщение более не гарантирует воспроизводства вложенного в него смысла; напротив, оно становится исходной точкой для множества интерпретационных и трансформационных цепочек, в рамках которых итоговый идеологический эффект может радикально расходиться с исходным замыслом.

Традиционная теория политической коммуникации, даже в своих критических версиях, сохраняла представление о том, что смысл, пусть и искажаясь, в конечном счёте остаётся привязанным к субъекту, его сформулировавшему. Однако акторно-сетевой подход позволяет увидеть, что подобное допущение было возможно лишь в условиях относительной стабилизации каналов коммуникации и ограниченности числа посредников. В цифровой среде, напротив, любое сообщение немедленно включается в сеть, в которой утрачивает свою привязку к исходному центру и начинает функционировать как самостоятельный элемент распределённого процесса смыслообразования.

С точки зрения акторно-сетевой теории, незапланированные идеологические эффекты не являются случайными отклонениями или побочными продуктами коммуникации, представляя собой нормальный результат сетевой трансляции. Особую роль в этом процессе играют механизмы ускоренной коллективной интерпретации, характерные для цифровых медиа. Политическое сообщение, попадая в сеть, становится объектом немедленного обсуждения, оценки, иронического переосмысления или моральной критики. Комментарии, репосты и мемы формируют вокруг него плотное поле интерпретаций, которое зачастую оказывается более значимым, чем само исходное высказывание. В результате смысл сообщения перестает определяться его автором и начинает зависеть от тех интерпретационных рамок, которые стабилизируются в процессе коллективной реакции.

Именно здесь проявляется ключевая особенность сетевой идеологической коммуникации: эффект приписывания смысла постфактум. Политик может стремиться выразить определённую позицию, однако сеть «решает», что именно было сказано. Та интерпретация смысла высказывания, что получает наибольшее распространение, одновременно, наделяется статусом «подлинной».

Сетевые сообщества через механизмы коллективного одобрения или осуждения и поддержания дискуссий обеспечивают повторяемость и закрепление тех интерпретаций, которые изначально возникли как спонтанные реакции.

Особенно показательны ситуации, в которых коммуникативные неудачи политических акторов превращаются в триггеры широких идеологических реакций. Высказывания, изначально не имеющие значительного политического веса, могут в результате сетевой циркуляции приобрести символическое

значение, став маркерами социальной несправедливости, элитарной оторванности или моральной несостоятельности власти. При этом именно сеть определяет, какие элементы высказывания будут интерпретированы как значимые, а какие — останутся незамеченными. Таким образом, в процессе политической коммуникации возникают непредсказуемые идеологические последствия, зависящие от конфигурации агентности, а не от намерений субъекта.

С точки зрения акторно-сетевой теории, подобные эффекты следует рассматривать не как сбои, а как проявление нормальной логики сетевой социальности. Анализ политической коммуникации должен сместить фокус с намерений коммуникаторов на траектории циркуляции сообщений, в рамках которых формируются конечные идеологические эффекты. Таким образом, незапланированные идеологические эффекты представляют собой ключевой элемент современной медиаполитической реальности, демонстрируя, что идеологическая коммуникация не подчиняется логике централизованного контроля и не может быть управляемой. Формирующийся феномен общественной «цифровой бдительности» усиливает горизонтальные механизмы контроля и делает публичную коммуникацию объектом постоянной рефлексии и оценки.

Заключение

Если относить к идеологии только обобщённые смыслы, имеющие универсальный характер или претендующие на таковой, то из смыслов политической коммуникации нам придется «вычесть» ситуативное, координационное, инфраструктурное, но даже после такой редукции мы обнаружим, что оставшееся идеологическое наделяет политическую коммуникацию аксиологическим статусом. В цифровой среде сама процедура этой редукции усложняется, поскольку идеологическое облекается в спонтанные, эмоциональные и фрагментарные формы, циркулирующие в пользовательских сетях.

Традиционно идеологическая политическая коммуникация выделялась в отдельный тип, легко отслеживалась на этапе создания, когда формируемое сообщение идентифицировалось по связи с его производителем, либо на этапе пропаганды, когда эта связь сохранялась и поддавалась атрибуции. Однако в цифровом обществе высказывания лишаются своих жанровых и институциональных маркеров, что делает идеологические блоки трудно различимыми. Идеология встраивается в поток повседневной коммуникации, приобретая форму распределённого и часто неосознаваемого когнитивного фона.

Выявление идеологических блоков в многообразных (зачастую живых и неформальных) политических коммуникациях в цифровом обществе требует известной изобретательности от исследователя, поскольку высказывания лишаются своих традиционных для идеологии жанровых признаков. Цифровизация коммуникативного пространства приводит к оформлению коллективных дискуссий как отдельного вида политических коммуникаций, депрофессиона-

лизируя медиакоммуникацию и одновременно задавая обратимость отношений автор—читатель. Максимальная демократизация политических коммуникаций через включение в них интернет-пользователей (в которые входит уже большая часть населения Земли) приводит к сопряжению различных идеологических пластов, существовавших в доцифровые времена обособленно.

Таким образом, этические девиации в поведении политических элит выступают катализаторами трансформации идеологической повестки, актуализируя запрос на справедливость и социальную ответственность. Тем самым традиционная субъект-объектная модель идеологического воздействия претерпевает существенную модификацию: общество перестает быть исключительно рецептивной стороной и включается в процессы производства, циркуляции и переработки идеологических конструкций, нередко порождая эффекты, не предусмотренные исходными коммуникативными интенциями политических акторов. Политический субъект сохраняет способность инициировать коммуникацию, но утрачивает привилегию определять её результат, тогда как сеть, не обладая единой волей, становится актантом производства идеологических эффектов.

Заявления авторов

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Все авторы данной рукописи были уведомлены и согласны с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Все авторы подтверждают, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT):

Суслов И.В. — теоретическая рамка, выбор методологии исследования, написание текста, обобщающие выводы.

Кныжова З.З. — составление литературного обзора, написание текста, разработка проблемы исследования.

Суслов И.В., Кныжова З.З. — подготовка финальной рукописи, редактирование по замечаниям рецензентов.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Авторы подтверждают, нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 25-28-03315 «Хронополитические режимы современных идеологических проектов».

This research was financially supported by the Russian Science Foundation, project no. 25-28-03315, “Chronopolitical Regimes of Contemporary Ideological Projects.”

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности

Отсутствуют.

Список литературы

Blok, A., & Jensen, C. B. (2025). What Next for Actor Network Theory? Inventing around Latour on a planet in distress. *Dialogues in Sociology*, 1(1), 63–74. https://doi.org/10.1177/29768667241285397

Bory, P. (2020). Challenging the Network Ideologies. In *The Internet Myth: From the Internet Imaginary to Network Ideologies* (pp. 117–128). University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book48

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.

Buchanan, A., & Levinson, E. (2024). Theories of Ideology: Origins, Development, and Prospects. *Social Philosophy and Policy*, 41(1), 13–43. https://doi.org/10.1017/S026505252400030X

Castells, M. (2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society. *International Journal of Communication*, 1, 238–266.

Cernison, M. (2019). *Social Media Activism: Water as a Common Good*. Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77nv5

Colleoni, E., Rozza, A., & Arvidsson, A. (2014). Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data: Political Homophily on Twitter. *Journal of Communication*, 64(2), 317–332. https://doi.org/10.1111/jcom.12084

DePaula, N., & Hansson, S. (2025). Politicization of Government Social Media Communication: A Linguistic Framework and Case Study. *Social Media + Society*, 11(2), 20563051251333486. https://doi.org/10.1177/20563051251333486

Enjolras, B., & Steen-Johnsen, K. (2017). The Digital Transformation of the Political Public Sphere: A Sociological Perspective. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad, & K. Steen-Johnsen (Eds.), *Institutional Change in the Public Sphere* (pp. 99–117). De Gruyter Open. https://doi.org/10.1515/9783110546330-006

Freeden, M. (2000). Editorial: Political Ideology at Century's End. *Journal of Political Ideologies*, 5(1), 5-15. https://doi.org/10.1080/135693100112891

Freeden, M. (2018). Loose Talk Costs … Nothing. *Journal of Political Ideologies*, 23(1), 1–9. https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1413825

Gekker, A. (2018). Playing with Power: Casual Politicking as a New Frame for Political Analysis. In R. Glas, S. Lammes, M. De Lange, J. Raessens, & I. De Vries (Eds.), *The Playful Citizen* (pp. 387–419). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048535200-023

Gerbaudo, P. (2019). The Platform Party: The Transformation of Political Organisation in the Era of Big Data. In D. Chandler & C. Fuchs (Eds.), *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* (pp. 187–198). University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book29.p

Hansson, S., & DePaula, N. (2025). Government Communication on Social Media: Research Foci, Domains, and Future Directions. *Media and Communication*, 13, 10697. https://doi.org/10.17645/mac.10697

Kaprāns, M. (2016). Hegemonic Representations of the Past and Digital Agency: Giving Meaning to "The Soviet Story" on Social Networking Sites. *Memory Studies*, 9(2), 156–172. https://doi.org/10.1177/1750698015587151

Karlsen, R. (2015). Followers are Opinion Leaders: The Role of People in the Flow of Political Communication on and Beyond Social Networking Sites. *European Journal of Communication*, 30(3), 301–318. https://doi.org/10.1177/0267323115577305

Lazarsfeld, P. F., & Merton, R. K. (1948). Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 95–118). Harper & Brothers.

McNair, B. (2017). *AN Introduction to Political Communication: Sixth Edition* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315750293

Ndi, A. (2021). 'Communities of Practice' in the Knowledge Economy and Their Tacit Contexts in Continental African 'Writings': Rethinking Bruno Latour's Actor Network Theory. *Himalayan Journal of Economics and Business Management*, 02(01), 1–7. https://doi.org/10.47310/hjebm.2021.v02i01.012

Raidt, J. (2017). *Whither America?: A Strategy for Repairing America's Political Culture*. Atlantic Council.

Raidt, J., & Tauscher, E. (2017). *Whither America? A Strategy for Repairing America's Political Culture*. Atlantic Council.

Sunstein, C. R. (2004). Democracy and Filtering. *Communications of the* ACM, 47(12), 57–59. https://doi.org/10.1145/1035134.1035166

Timmermans, J. (2015). Playing with others: The identity paradoxes of the web as social network. In V. Frissen, S. Lammes, M. de Lange, J. de Mul, & J. Raessens (Eds.), *Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures* (pp. 281–292). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048523030-018

Wien, C. (2018). Much ado about nothing Five Media Hypes in a Comparative Perspective. In P. Vasterman (Ed.), *From Media Hype to Twitter Storm* (pp. 149–166). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt21215m0.11

Латур, Б. (2014). *Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию*. Издательский дом Высшей школы экономики.

Маклюэн, М., & Фиоре, К. (2012). *Война и мир в глобальной деревне*. АСТ; Астрель.

Соловьев, А. И. (2001). Политическая Идеология: Логика исторической эволюции. *Полис. Политические исследования*, (2), 5–23. https://doi.org/10.17976/jpps/2002.03.02

Сосновская, А. М. (2023). Проблема применения метода акторно-сетевой теории в теории медиа и медиакоммуникации. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 5(4), 282–304. https://doi.org/10.46539/gmd.v5i4.435

Тихонова, С. В. (2024). Как цифровые котики приручают идеологию: Котоконтент советской ностальгии в роли идеологического медиатора. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 6(4), 194–214. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i4.509

Хабермас, Ю. (2023). *Новая структурная трансформация публичной сферы и делиберативная политика*. Новое литературное обозрение.

References

Blok, A., & Jensen, C. B. (2025). What Next for Actor Network Theory? Inventing around Latour on a planet in distress. *Dialogues in Sociology*, 1(1), 63–74. https://doi.org/10.1177/29768667241285397

Bory, P. (2020). Challenging the Network Ideologies. In *The Internet Myth: From the Internet Imaginary to Network Ideologies* (pp. 117–128). University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book48

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.

Buchanan, A., & Levinson, E. (2024). Theories of Ideology: Origins, Development, and Prospects. *Social Philosophy and Policy*, 41(1), 13–43. https://doi.org/10.1017/S026505252400030X

Castells, M. (2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society. *International Journal of Communication*, 1, 238–266.

Cernison, M. (2019). *Social Media Activism: Water as a Common Good*. Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77nv5

Colleoni, E., Rozza, A., & Arvidsson, A. (2014). Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data: Political Homophily on Twitter. *Journal of Communication*, 64(2), 317–332. https://doi.org/10.1111/jcom.12084

DePaula, N., & Hansson, S. (2025). Politicization of Government Social Media Communication: A Linguistic Framework and Case Study. *Social Media + Society*, 11(2), 20563051251333486. https://doi.org/10.1177/20563051251333486

Enjolras, B., & Steen-Johnsen, K. (2017). The Digital Transformation of the Political Public Sphere: A Sociological Perspective. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad, & K. Steen-Johnsen (Eds.),

Institutional Change in the Public Sphere (pp. 99–117). De Gruyter Open. https://doi.org/10.1515/9783110546330-006

Freeden, M. (2000). Editorial: Political Ideology at Century's End. *Journal of Political Ideologies*, 5(1), 5-15. https://doi.org/10.1080/135693100112891

Freeden, M. (2018). Loose Talk Costs … Nothing. *Journal of Political Ideologies*, 23(1), 1–9. https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1413825

Gekker, A. (2018). Playing with Power: Casual Politicking as a New Frame for Political Analysis. In R. Glas, S. Lammes, M. De Lange, J. Raessens, & I. De Vries (Eds.), *The Playful Citizen* (pp. 387–419). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048535200-023

Gerbaudo, P. (2019). The Platform Party: The Transformation of Political Organisation in the Era of Big Data. In D. Chandler & C. Fuchs (Eds.), *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* (pp. 187–198). University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book29.p

Habermas, J. (2023). *A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics*. New Literary Observer. (In Russian).

Hansson, S., & DePaula, N. (2025). Government Communication on Social Media: Research Foci, Domains, and Future Directions. *Media and Communication*, 13, 10697. https://doi.org/10.17645/mac.10697

Kaprāns, M. (2016). Hegemonic Representations of the Past and Digital Agency: Giving Meaning to "The Soviet Story" on Social Networking Sites. *Memory Studies*, 9(2), 156–172. https://doi.org/10.1177/1750698015587151

Karlsen, R. (2015). Followers are Opinion Leaders: The Role of People in the Flow of Political Communication on and Beyond Social Networking Sites. *European Journal of Communication*, 30(3), 301–318. https://doi.org/10.1177/0267323115577305

Latour, B. (2014). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. HSE Publishing House. (In Russian).

Lazarsfeld, P. F., & Merton, R. K. (1948). Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 95–118). Harper & Brothers.

McLuhan, M., & Fiore, Q. (2012). *War and Peace in the Global Village*. AST; Astrel. (In Russian).

McNair, B. (2017). *AN Introduction to Political Communication: Sixth Edition* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315750293

Ndi, A. (2021). 'Communities of Practice' in the Knowledge Economy and Their Tacit Contexts in Continental African 'Writings': Rethinking Bruno Latour's Actor Network Theory. *Himalayan Journal of Economics and Business Management*, 02(01), 1–7. https://doi.org/10.47310/hjebm.2021.v02i01.012

Raidt, J. (2017). *Whither America?: A Strategy for Repairing America's Political Culture*. Atlantic Council.

Raidt, J., & Tauscher, E. (2017). *Whither America? A Strategy for Repairing America's Political Culture*. Atlantic Council.

Solovyov, A. I. (2001). Political Communication: To the Problem of Theoretical Identification. *Polis. Political Studies*, (2), 5–23. https://doi.org/10.17976/jpps/2002.03.02 (In Russian).

Sosnovskaya, A. M. (2023). The Problem of Applying the Actor-Network Theory Method in Media Theory and Media Communication. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 5(4), 282–304. https://doi.org/10.46539/gmd.v5i4.435 (In Russian).

Sunstein, C. R. (2004). Democracy and Filtering. *Communications of the ACM*, 47(12), 57–59. https://doi.org/10.1145/1035134.1035166

Tikhonova, S. V. (2024). How Digital Cats Tame Ideology: The Cat Content of Soviet Nostalgia as an Ideological Mediator. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 6(4), 194–214. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i4.509 (In Russian).

Timmermans, J. (2015). Playing with others: The identity paradoxes of the web as social network. In V. Frissen, S. Lammes, M. de Lange, J. de Mul, & J. Raessens (Eds.), *Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures* (pp. 281–292). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048523030-018

Wien, C. (2018). Much ado about nothing Five Media Hypes in a Comparative Perspective. In P. Vasterman (Ed.), *From Media Hype to Twitter Storm* (pp. 149–166). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt21215m0.11

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Critics & Reviews | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.777

The Machine as a Mirror of the Human: An Affective History of Technology in the Interpretation of Daniel Strassberg

Dmitry V. Solomko

South Ural State University; Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia.
Email: dimiurg85[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-2318-7643

Received: 29 March 2026 | Accepted: 3 May 2026

Abstract

This review examines the monograph "The Mythology of the Machine: A History of Mechanisms That Fascinate and Frighten Us" by Swiss philosopher, cultural theorist, and psychoanalyst, Daniel Strassberg. The book presents an original study of the affective dimension in the history of technology. The machine is explored not from an engineering, technical, or applied perspective, but as a cultural code that organizes the perception of reality, temporality, and human agency. The reviewer analyzes the key problem of the book: namely, why the relationship between humans and machines is invariably ambivalent, and why contemporary techno-alarmist sentiments have deep historical, cultural, and psychoanalytic roots. The review highlights Strassberg's interdisciplinary approach, which synthesizes psychoanalysis (S. Freud, M. Klein), certain strands of classical philosophy (Plato, I. Kant), and a historical approach to technology. The heuristic potential and limitations of the author's proposed methodology of "constellations of affects" are identified. Furthermore, it demonstrates how the history of automatons, clocks, steam engines, and computers reveals a persistent anthropological drama: the confrontation between human dreams of omnipotence and the deep, irrational fear within the human psyche, of divine punishment for such hubris. The review concludes that Strassberg's work is a significant contribution to the philosophy of technology, offering a way to renew the established notions of the nature of technophobia and technophilia. The article is intended for philosophers, cultural theorists, specialists in technical sciences, researchers in the social sciences and humanities, and readers interested in the relationship between the technical and the anthropological.

Keywords

Myth; Machine; Technics; Technology; Affect; Technophobia; Technophilia; Daniel Strassberg; History of Mechanisms

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License
© 2026 Dmitry V. Solomko

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2026. No 3 | ISSN: 2658-7734
Критика и рецензии | https://doi.org/10.46539/gmd.v8i3.777

Машина как зеркало человеческого: аффективная история техники в интерпретации Даниэля Штрассберга

Соломко Дмитрий Витальевич

Южно-Уральский государственный университет; Челябинский государственный университет. Челябинск, Россия. Email: dimiurg85[at]mail.ru ORCID https://orcid.org/0000-0002-2318-7643

Рукопись получена: 29 марта 2026 | Принята: 3 мая 2026

Аннотация

В предлагаемой рецензии рассматривается монография швейцарского философа, культуролога и психоаналитика Даниэля Штрассберга «Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают», представляющая собой оригинальное исследование аффективной стороны истории техники. Машина исследуется не в инженерно-техническом или прикладном аспектах, а в качестве культурного кода, организующего восприятие реальности, темпоральности и человеческой агентности. Рецензент анализирует ключевую для книги проблему, а именно: почему отношения человека с машинами неизменно амбивалентны, почему современные техноалармистские настроения имеют глубокие историко-культурные и психоаналитические корни. В рецензии отмечается междисциплинарный подход Штрассберга, синтезирующий психоанализ (З. Фрейд, М. Кляйн), некоторые направления классической философии (Платон, И. Кант), исторический подход к технике. Выявляются эвристический потенциал и ограничения предложенной автором методологии «созвездий аффектов», а также демонстрируется, как сквозь историю автоматонов, часов, паровых машин и компьютеров просвечивает неизменная антропологическая драма: противостояние между грезами человека о всемогуществе и глубинным/иррациональным для человеческой психики страхом перед «божественным наказанием» за него. Делается вывод о том, что работа Штрассберга является значимым вкладом в философию техники, который позволяет обновить известные представления о природе технофобии и технофилии. Статья предназначена философам, культурологам, специалистам по техническим наукам, исследователям в области социальных и гуманитарных наук, читателям, интересующимся вопросами соотношения технического и антропологического.

Ключевые слова

миф; машина; техника; технология, аффект, технофобия, технофилия, Даниэль Штрассберг, история механизмов

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0
© 2026 Соломко Дмитрий Витальевич

Введение

Монография Д. Штрассберга, на первый взгляд, обращена к узкому кругу специалистов по философии техники. Однако, вопреки ожиданиям, в книге не обнаруживается ни детального исторического обзора, ни экономического анализа технологических трендов, ни основательно проработанной классификации различных видов техники. О чем же тогда пишет Штрассберг? В современном интеллектуальном ландшафте, где дискуссии о влиянии искусственного интеллекта, генеративных нейросетей, алгоритмизации и цифрового капитализма достигли предела напряженности, выход книги Даниэля Штрассберга «Мифология машины» представляется событием своевременным и концептуально значимым. Изданная в 2025 году московским издательством «АСТ» в серии «Слово современной философии», эта работа (оригинальное название – *Spektakuläre Maschinen. Eine Affektgeschichte der Technik*, 2022) предлагает читателю не очередную историю технических изобретений и не апологетику или критику технологического прогресса. Ее амбиция иная и в первом приближении выглядит парадоксально: проследить историю аффектов, которые техника в человеке порождает. Иными словами, у Штрассберга вопрос об истории техники есть вопрос об истории аффектов человеческого восприятия технического, а, следовательно, и отношения к нему.

Штрассберг ставит перед собой задачу, которая лежит на пересечении психоанализа, истории культуры и философской антропологии. Автор предлагает операционализировать психоанализ для исторического исследования техники, что позволяет преодолеть, например, как абстрактный характер хайдеггеровского «постава» (Хайдеггер, 1986), так и нормативность франкфуртской критики инструментального разума (Хоркхаймер & Адорно, 1997). Его главный вопрос: куда уходят корнями наши страхи перед современными техникой и технологиями (от тревог по поводу «восстания машин» до опасений утраты когнитивного суверенитета из-за постоянного использования персональной техники в виде различных гаджетов), возможностями и перспективами, которые они нам открывают? Ответ, предлагаемый Штрассбергом: страхи человека имеют не столько рационально-утилитарную, сколько также и глубинную, мифологическую и бессознательную природу. При этом книга фокусируется именно на бессознательном измерении, не отрицая наличия и других. Как справедливо отмечает И. Перников, труд Штрассберга превращает ставшее традиционным последовательное и рациональным образом систематизированное изложение истории механизмов в своеобразную «мясорубку», работающую на искусственном интеллекте, где перемалываются в единый экзистенциальный «фарш» идеи Платона, Лейбница, Канта, Фрейда и Фуко, чтобы на выходе поставить диагноз техноамбивалентному сознанию современного человека (2025).

Штрассберг предлагает несколько отвлечься от утилитарных и инструментальных трактовок при анализе машины. Для него она не просто вспомогательный инструмент производства или, широко, – средство достижения различных целей, и даже не объект потребления. Автор для трактовки машины предлагает оригинальный метод «исторической психотехники», фокусируясь не на собственно технических характеристиках машин, а на «аффективных созвездиях», которые они порождают в отношении к ней у человека. Аффект понимается здесь не как простое чувство, а как сложный комплекс реакций, включающий эмоции, коллективные фантазии, культурные коды и техническое знание. Такой подход позволяет автору избежать как технологического детерминизма, так и наивного конструктивизма. Вместо этого Штрассберг показывает, как техника и миф о ней находятся в режиме взаимного влияния друг на друга, co-production (со-производства). Этот тезис развивается через обращение к концепциям эпистемы М. Фуко (1994), структуры человеческого разума И. Канта (1965), бессознательного З. Фрейда (1998, с. 125–160), переосмысленных в историческом ключе.

В данной рецензии ставиться цель критически осмыслить методологические основания и содержательные выводы монографии. Насколько убедительным является проект аффективной истории техники? Действительно ли концепт «созвездий аффектов» позволяет преодолеть ограниченность как технооптимизма, так и технопессимизма? Что нового и прорывного предлагает работа Штрассберга для понимания «человеческого» в эпоху повсеместной технизации? И, наконец, найдена ли автором та единственная и важная черта человека, которая навсегда отличит его от машины и не допустит того, чтобы он был ею уничтожен?

Методология «аффективных созвездий»: между психоанализом и историей идей

Ключевым методологическим ходом Штрассберга является введение в исследовательскую оптику понятия «созвездие аффектов» в качестве базовой единицы исторического анализа техники. Отталкиваясь от этимологии понятия «аффект» (лат. *afficere* – «воздействовать, раздражать, производить впечатление»), автор настаивает на комплексной природе этого феномена, дополняя его поэтическим – «созвездие». Аффект не сводим только к какой-либо одной простой эмоции (радость, гнев, восхищение). Повторяя позицию В. Беньямина (2002), Штрассберг пишет, что аффект – это сложная, многокомпонентная динамическая структура («созвездие»), включающая в себя комплекс чувств, ощущений, эмоций, знаний, бессознательную фантазию, а также весь культурный, социальный и политический контекст.

Такой подход в анализе техники и различных видов отношений с ней человека позволяет Штрассбергу уйти от прямого дуального противопоставления «фобия – филия» / «страх – восхищение» и показать их единство, нераз-

рывную связь и взаимопроникновение друг в друга. Согласно автору, человек боится машин не только потому, что они могут быть опасны объективно, но и в силу того, что они пробуждают в человеке укорененные в бессознательном уровне его психики древние мифологические сценарии. Для наглядной иллюстрации данного тезиса Штрассберг обращается к психоанализу З. Фрейда, экстраполируя возможности этого метода на взаимоотношения человека и техники. Анализируя страх как таковой, Штрассберг вслед за Фрейдом проводит важное различие между реакцией человека на реальную угрозу (тигр в Тбилисском зоопарке) и фобией (страх перед крысой или пауком). В случае фобии источник страха находится не вовне, а внутри человека, пробуждается и поднимается из бессознательных глубин его внутреннего мира; это может быть проявление неразрешенного бессознательного внутреннего конфликта между различными сторонами психики человека или подавленного внешними запретными социальными нормами влечения. Внешний объект (например, крыса) в этом случае выступает лишь в качестве «ложной связки», катализатора, точки приложения внутреннего напряжения. Экстраполируя эту логику на отношение человека к технике, Штрассберг формулирует гипотезу, которая является стержневой для всей книги: страхи человека перед машинами – это коллективные бессознательные фобии, закрепляющиеся на протяжении всей истории человечества и передающиеся из поколения в поколение, за которыми скрывается сам человек; машина в этом случае выступает преимущественно лишь зеркалом человеческого. За утилитарными опасениями (например, что возможности ИИ заменят человека в труде и приведут к массовой безработице) скрывается более древний и фундаментальный корень – конфликт между претензией человека на всемогущество и высшим божественным или объективным природным порядком. Машина, таким образом, становится внешним экраном для проекции внутреннего бессознательного конфликта человека.

От автоматона к паровому двигателю: археология аффекта

Композиционно книга выстраивается как хронологически организованное путешествие по ключевым этапам истории техники, каждый из которых порождает свою уникальную констелляцию аффектов. Штрассберг начинает с Античности на примерах древних автоматонов. Непосредственное участие человека в функционировании автоматонов оказывается в тени, он исполняет роль задающего программу, запускающего механизм, который осуществляет дальнейшие действия без человека. Если говорить предельно обобщающе, античные *deus ex machina* или парящие божества в театре вызывали у зрителя *thaumazein* – изумление или удивление, аффект встречи с чудом, с проявлением сил, превышающих человеческие возможности. В Средние века, пишет Штрассберг, автоматоны мигрируют в кунсткамеры и на фасады соборов, начиная выполнять новые функции, служа не столько для развлечений чело-

века, сколько для демонстрации церковной власти, а значит, и власти божественной. Подобно тому как античные мудрецы и философы приписывали божественные свойства магниту, чудо-машины Средневековья воспринимались людьми как свидетельство присутствия иных сил: Бога или, напротив, дьявола. Здесь, по мысли автора, закладывается фундаментальная амбивалентность в отношении человека к технике: рукотворное чудо, созданное человеком, может быть как знаком божественной благодати, так и результатом горделивого договора с падшим ангелом.

Для Штрассберга ключевым событием, поделившим историю техники на до и после, становится изобретение механических часов в средневековых монастырях около 1280 года. Изначально изобретение было призвано решить сугубо практическую задачу – будить монахов на ночную молитву. Однако скрытое в них латентное, неявное знание оказалось поистине революционным. Часы стали первой машиной, которая не просто преобразовывала некоторые человеческие усилия, но и производила новое интегративное качество – равномерное, дискретное время. Часы создали и задали новую антропологическую, искусственно созданную, механистическую темпоральность, отличную от темпоральности естественной – природной или сверхъестественной – божественной. Тем самым часы проложили дорогу и новому пониманию мира (природы, культуры, устройства государства) и самого человека. Спустя четыре века после создания человеком этого изобретения, пишет далее Штрассберг, метафора часов (понимание мира как гигантского часового механизма, Бога – как часовщика) стала доминирующей в науке и философии, утвердив новую механистическую картину мира. Однако, как замечает автор, часы таили в себе и бомбу замедленного действия. Насколько техника может быть полезна, настолько же она может быть вредна и опасна. Автономный спусковой механизм, используемый в часах, доказывал, что механистическая система может управлять собой сама, без непосредственного вмешательства извне, что делало фигуру управляющего, в зависимости от контекста, будь то Бог в отношении к миру вообще, монарх в отношении к государству или душа к телу – факультативной. Это знание, заложенное в конструкцию механизма, ждало своего часа, чтобы быть экстраполированным на объяснение устройства всего мира материалистами Просвещения.

Штрассберг считает, что апофеозом этого процесса становится изобретение первой паровой машины Уатта и открытие законов термодинамики. Если часы являлись моделью нового порядка в мире человека, то паровая машина стала моделью обмена и преобразования его жизни и деятельности. Паровая машина не просто могла двигаться сама по себе, но и производить энергию, становясь аналогом живого организма. Штрассберг убедительно показывает, как термодинамика перевела «жизненную силу» из разряда витали стических сущностей в контекст физических величин – реальной энергии. Человек и машина оказались включены в единую экономическую систему

обмена, где качество и ценность и того, и другого стала измеряться в единых системах исчисления – лошадиных силах, ваттах и, в конечном счете, деньгах. Это стало не только технической или экономической, но и глубочайшей антропологической революцией, подготовившей почву для создания ситуации повсеместной технизации, в которой находится сегодня современный человек, когда техника и технологии проникают практически во все сферы его культурной и общественной жизни, как на индивидуальном, так и надындивидуальном уровнях, задавая собственную логику развития, подчиняя ей человека.

Проблема антропологической границы: слуга, двойник и ὕβρις

В методологическом аппарате рецензируемой работы особенно привлекает исследовательское внимание то, как Штрассберг выводит на первый план своего анализа проблему антропологической границы. С точки зрения автора, машина на всем протяжении своей истории выступает для человека не просто инструментом для достижения поставленных целей, но и зеркалом, своеобразным двойником пока что не осознанных человеком глубинных уровней его психики. Кроме того, Штрассберг осмысливает машину и как идеального слугу, наподобие раба в «Политике» Аристотеля (1984, с. 375–645), безупречное служение которого своему хозяину может оказаться для последнего реальной угрозой. Как только машина начинает превосходить человека в какой-либо его способности (силе, точности, скорости, памяти, обработке информации и т. п.), она, по заявлению Штрассберга, перестает быть просто средством в достижении каких-либо целей, которые ставит перед собой человек, она начинает оспаривать его субъектность и уникальность.

Эта диалектика наиболее ярко раскрывается автором в анализе некоторой части сюжетов библейской и античной мифологий. С одной стороны, человек создан по образу и подобию Бога-Творца, который передает способность к творчеству и человеку, а вместе с ней свободу, обусловливающую его субъектность, ответственность и открытость миру. Создание человеком автономных машин является актом *imitatio Dei*, подражания Творцу в его способности создавать то, что будет действовать исходя из себя, по собственной воле. С другой стороны, такой миметический акт человека неизменно классифицируется как гордыня, или *гибрис* (от др.-греч. ὕβρις – «дерзость», а также *хюбрис* – термин из древнегреческой культуры, означающий высокомерие, гордыню, спесь, чрезмерное самолюбие), за которую следует неминуемое наказание. Миф о Прометее, похитившем огонь (метафора технического знания) у богов, и миф об Икаре, слишком высоко взлетевшем на искусственных крыльях, становятся архетипическими нарративами, программирующими наше восприятие, а затем и отношение к технике на тысячелетия вперед.

Штрассберг, вслед за Гюнтером Андерсом (Anders, 1956), фиксирует следующий парадокс в отношении технического и антропологического: техническое усовершенствование машин порождает у человека чувство «прометеева стыда» за свою биологическую неполноценность. Но одновременно это чувство является лишь оборотной стороной бессознательной фантазии человека, его несбыточной мечтой о собственном всемогуществе. Совершенствуя машины, человек реализует желание превзойти самого себя, стать сверхчеловеком. Расплата за реальный прорыв в этом – страх перед созданным им же самим «монстром», выходящим из-под его контроля (Голем, Франкенштейн, восставший репликант, искусственный интеллект).

В этой связи Штрассберг вспоминает и поздние размышления Мишеля Фуко о «смерти человека» (1994) как конфигурации в эпистеме или диагноз Жана Бодрийяра о «нищете объекта» и «блеске субъекта» в «Фатальных стратегиях» (2017). Субъект, который веками эгоистически мнил себя центром мироздания и мерой всех вещей, в своем высокомерном стремлении к абсолютной власти над природой создает объекты (технику, машины), которые не просто выходят из-под его контроля, но и начинают определять его самого, его потребности, желания и границы. В этом смысле работа Штрассберга является не только историей техники, но и иллюстрацией того, как технический объект постепенно «вырастает» и начинает теснить субъекта с его уютного места в центре мироздания. Не случайно появляются работы в современной философии техники, онтологически ставящие человека в один ряд с созданными им же самим техническими объектами. Таковы работы некоторых представителей «плоских онтологий», на которых ссылается и Штрассберг в рецензируемом труде.

В современной западной философско-научной мысли, развивающейся в контексте объектно-ориентированной онтологии, всё чаще звучат призывы отказаться от дихотомии «человек – техника». Такие авторы, как Ж.-Л. Нанси (2011), Ж. Симондон (1989) и Т. Мортон (2013), предлагают пересмотреть традиционную иерархию, трактующую отношения человека и техники как исключительно субъекта и средства. В частности, Нанси, специализирующийся в области философского исследования техники, утверждает, что проблематика техники до сих пор не получила должного осмысления в философском дискурсе. Критикуя предшественников, он указывает на то, что, например, даже у одного из самых авторитетных философов современности Хайдеггера техника выступает лишь фоном для разговора о человеке, инструментом для прояснения человеческого бытия, тогда как сама по себе она остается на периферии.

Хайдеггер, по мнению Нанси, использует технику как оптику для наблюдения за человеком. В противовес этому Нанси предлагает радикально иной подход: техника должна стать способом преодоления подобного человеческого эгоцентризма. Он настаивает на снятии оппозиций между естественным

и искусственным, антропологическим и техническим. С его точки зрения, техника – это не продукт человеческого гения, а способ самовыражения природы, которая раскрывается через человека. В этой парадигме человек сам становится средством самораскрытия природы. Человек и техника укоренены в единой природной основе, что делает их неразличимыми и равноправными проявлениями бытия. Вводя понятие «целесообразности природы», Нанси фактически отводит человеку роль проводника, медиатора природных интенций, низводя его до служебного элемента. При этом из рассмотрения философа по какой-то причине выпадает фундаментальная способность человека к самостоятельному целеполаганию – умению задавать цели и нормы, выходящие за пределы природной детерминации, что пока остается исключительно человеческой прерогативой.

Схожие мотивы прослеживаются и у Жильбера Симондона, который, однако, акцентирует исследовательское внимание на этической стороне вопроса взаимодействия человека с техникой. Если Хайдеггер предупреждал об опасности порабощения человека технологиями, то Симондон разворачивает и пытается обосновывать тезис, что не техника угнетает человека, а человек эксплуатирует технику, относясь к ней как к бесправному рабу. Философ призывает к развитию у человека эмпатии по отношению к техническим объектам, особенно к устаревающим, требуя относиться к ним с заботой и благодарностью, а не бесчувственно от них избавляться. Как и Нанси, Симондон видит в технике не воплощение человеческих способностей, а объективацию дочеловеческой природы. Технические объекты, по его мнению, есть продолжение природы, существовавшей задолго до появления человека, и человек сам является частью этой предшествующей реальности.

Идея размывания границ находит свое крайнее выражение и в некоторых современных экофилософских концепциях, в частности, у Тимоти Мортона. Он проводит смелую аналогию, утверждая, что само стремление отделить человеческое от нечеловеческого имеет те же корни, что и феномен социальных дискриминаций. Человек, по Мортону, изначально не является автономным существом – его существование обеспечивается симбиозом со множеством нечеловеческих агентов, таких как, например, кишечная микрофлора. Следовательно, человек должен занять более скромную позицию, отказавшись от покровительственного тона в отношении мира. В рамках своей «темной экологии» Мортон постулирует онтологическое равенство всего сущего: людей, животных, растений и вещей, включая технику. Все они равны, заявляет философ, в своей неустойчивости, «странности» и непредсказуемости. Более того, Мортон допускает, что нечеловеческие сущности, включая вещи, способны к активному воздействию на человека, транслируя эмоции и даже имея «свои планы». Однако Мортон оставляет без внимания вопрос о различии между типами вещей – например, вещами самими по себе и вещами, произведенными деятельностью человека. Воздействие книги или

машины, созданных человеком, опосредовано вложенным в них человеческим смыслом. Техника в этом смысле выступает как «иное» самого человека, зеркало, в котором он отражается сам, а не автономный субъект действия.

Что, с точки зрения Штрассберга, является той единственной и важной чертой человека, которая навсегда отличит его от машины и не допустит его уничтожения ею? Существует ли она вообще – или стоит согласится с представителями плоских онтологий, что таковой черты нет, техника и человек онтологически неразличимы? В самом конце книги, в главе про божественные машины и описание теста Тьюринга, автор подводит читателя к мысли, что этот тест на самом деле имеет ключевой вопрос не в том, может ли машина мыслить как человек, а в том, может ли человек мыслить как машина, не сведутся ли все возможности мышления человека к чисто техническим/вычислительным операциям. Штрассберг отмечает, что мышление человека способно не только на расчеты, но и обладает творческим, игровым потенциалом создавать иллюзии. Кроме того, человек посредством мышления может осознавать свою конечность, а также смысл своего бытия. Автор не дает прямого и однозначного ответа на вопрос о «единственной черте», которая гарантированно спасет человечество от уничтожения машинами. Более того, «спасение» человека заключается не в обладании какой-то уникальной, неповторимой сущностью (душой, сознанием, эмпатией), которую машины никогда не смогут полноценно воспроизвести, а в рефлексивной способности выходить за пределы навязанных западноевропейской культурой мифов (например, человеческом всемогуществе), в осознании и принятии в экзистенциальном смысле собственной несовершенности, конечности и уязвимости. Машина – это зеркало человеческого. Если смотреть в него с ужасом или самолюбованием, можно потерять себя; если же с игривым любопытством, можно узнать о себе что-то новое.

Эвристика и границы штрассберговского подхода

Безусловной заслугой автора является богатый эмпирический материал, которым изобилует текст и который успешно вовлечен в орбиту философского анализа, будь то история механической утки Жака де Вокансона, впечатляющей своей биомиметичностью и одновременно искусным обманом, или политический подтекст автоматического механического тигра Типу Султана, терзающего английского солдата. Каждый пример укрепляет общую концепцию работы, иллюстрируя, как чисто развлекательная или репрезентативная функции машины оказываются носителем глубокого аффективного заряда, буквально делающего восприятие человека живым.

Вместе с тем, отдавая должное новаторству и эрудиции Штрассберга, следует указать на ряд моментов, которые остаются за рамками его анализа или требуют дальнейшей проблематизации.

Во-первых, предлагая психоаналитическую трактовку технофобии как коллективной проекции внутреннего конфликта человека, автор, возможно, недооценивает специфику современных технологий. Страх перед ИИ, алгоритмическим машинным управлением или утратой приватности в эпоху «надзорного капитализма» (Зубофф, 2024) имеет не только мифологические корни, но и вполне конкретные политико-экономические основания. Машины могут осмысливаться сегодня не просто как средства, занятные игрушки или «чудо-вещи» в кунсткамерах, но и как агенты, встроенные в сложные системы власти и контроля. Сведение всех опасений к архетипу «гибрис/хюрбис» рискует редуцировать социальную критику к психоаналитической.

Во-вторых, неоднозначное влияние техники на человека рассматривается преимущественно в контексте биполярности технофилии/технооптимизма (Белл, 2004; Энгельмейер, 1997, с. 38; Эпштейн, 2017) и технофобии/технопессимизма (Бердяев, 1933, с. 3-38; Кутырев, 2010; Мэмфорд, 2001; Тоффлер, 2004; Фукуяма, 2004; Шпенглер, 1998). Напомню, что в рамках первой концепции абсолютизируются положительные стороны и позитивные перспективы технического прогресса, которому отводится определяющее и решающее место в развитии общества; сторонники второй концентрируют свое внимание преимущественно на деструктивных последствиях для человека безудержного и бурного развития техники. Вместе с тем остаются без должного внимания и другие мировоззренческие концепции в оценке технике, того, как она влияет на человека, какие оказывает на него эффекты: например, это «технический реализм» (Шапиро, Шенк & Джонсон, 1998; Winner, 1997), учитывающий как позитивное, так и негативное влияние техники на общественную жизнь. Существует и «Нейтральный подход» к технике (Маркс, 1958), в контексте которого техника оценивается как нечто нейтральное, и то, как будет развернут ее потенциал, полностью зависит от человека, это зона его ответственности. Сегодня оформляется и укрепляется ещё одна важная концепция, отмечающая сложный и труднопредсказуемый характер развития техники – концепция технологической сингулярности (Виндж, 2019; Курцвейл, 2019; Нейман, 2009; Улам, 2001). Согласно этой концепции, постоянное ускорение в развитии технического прогресса неизбежно приведет к ситуации потери контроля человека над техникой и утраты им своей субъектной позиции.

В-третьих, из поля зрения автора во многом выпадает так называемая «не-западная» оптика/перспектива. Упоминание о современной Японии во введении, где роботы получают гражданство легче, чем люди-мигранты, служит лишь контрастным фоном для западной дуалистической традиции. Однако это интересное авторское замечание не получает должного развития в основном тексте книги. Между тем, в японском синтоизме и буддизме, где мир населен множеством одушевленных сущностей (ками), а граница между живым и неживым осмысливается совершенно иначе, аффективная

история техники Штрассберга, вероятно, разворачивалась бы совсем по другим законам. Анализ этого альтернативного пути мог бы сделать выводы автора менее европоцентричными, т. к. игнорирование не-западных оптик не просто сужает предмет, но и ставит под вопрос универсальность психоаналитической модели, на которую опирается Штрассберг. При этом рецензент понимает авторскую ограниченность предмета исследования историей западноевропейской мысли, поскольку именно в русле западноевропейской культуры исторически формируется угроза радикальных технико-технологических трансформаций человеческого общества.

И, наконец, в-четвертых, стиль изложения, при всей его философской глубине, иногда страдает от избыточной детализации, на что указывают и некоторые читатели в своих отзывах об этой книге. Монография, задуманная как интеллектуальный бестселлер, местами превращается в эрудированный, но тяжеловесный для прочтения труд, где основной тезис тонет в обилии исторических экскурсов и цитат.

Выводы

Монография Даниэля Штрассберга «Мифология машины» является ярким и концептуально насыщенным событием в современном дискурсе философии техники. Ее главное достижение заключается в последовательной и эвристически продуктивной попытке применить инструментарий психоанализа к историческому развитию не столько самих технических артефактов, сколько их культурной и аффективной рецепции. Штрассбергу удается убедительно показать, что амбивалентность человека по отношению к машинам – от античных автоматонов до современных алгоритмов – укоренена не только в сиюминутных социально-экономических обстоятельствах, но и в глубинных, архетипических структурах человеческой психики. Вводя понятие «созвездие аффектов», автор предлагает эффективный инструмент для ухода от прямого и упрощенного противопоставления технооптимизма и технопессимизма, демонстрируя, что восхищение и страх перед техникой являются двумя сторонами одной антропологической драмы, в центре которой – диалектика *imitatio Dei* и ὕβρις, стремления к всемогуществу и страха перед возмездием за него.

Исследование Штрассберга органично вписывается в современную дискуссию о «постчеловеческом», предлагая оригинальный взгляд на проблему антропологической границы. Машина предстает у него на просто как инструмент/средство или угроза, но как двойник, зеркало, в котором человек на протяжении всей своей истории пытается разглядеть собственные очертания, отделить себя от созданного им «своего иного». С точки зрения рецензента, этот подход позволяет по-новому прочитать историю ключевых технико-тенологических изобретений человека – от механических часов, имплицитно подорвавших теологическую картину мира, до паровой машины, ставшей моделью для термодинамического осмысления жизни и труда.

Вместе с тем аффективная история техники, предложенная Штрассбергом, обнаруживает и свои границы. Фокусируясь на мифологических и психоаналитических структурах, автор неизбежно редуцирует сложность современных антропо-социо-технических реалий, где страх перед возможностями искусственного интеллекта и нейросетей имеет не только архетипические корни, но и вполне явные политико-экономические измерения. Европоцентричность анализа, с блеском демонстрирующая генеалогию западной амбивалентности, оставляет открытым вопрос о применимости этой модели к культурам с иными онтологиями, где граница между живым и неживым, естественным и искусственным проводится принципиально иначе.

Несмотря на эти ограничения, работа Штрассберга задает высокую планку для междисциплинарных исследований техники. Она не только обогащает историю идей и философскую антропологию, но и предлагает читателю – философу, культурологу или просто рефлексирующему современнику – ценный инструмент для самоанализа: всматриваясь в историю созданных человеком машин, человек в конечном счете всматриваемся в самого себя, в свои страхи, надежды и неизбывные мечты о преодолении собственной конечности. Именно этот глубокий гуманистический посыл делает книгу значимым вкладом в понимание нашего технологического прошлого, настоящего и будущего.

Заявления автора

Согласие с политиками и положениями сетевого издания

Автор данной рукописи был уведомлен и согласен с действующими политиками и положениями сетевого издания, изложенными на веб-сайте.

Оригинальность и эксклюзивность рукописи

Автор подтверждает, что рукопись является оригинальной, ранее не публиковалась ни полностью, ни частично и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

Авторство и вклад (CRediT)

Концептуализация, проведение исследования и написание текста — Соломко Д. В.

Политика в отношении препринтов и предыдущих версий

Автор подтверждает, что нет препринта/рабочей версии.

Конфликт интересов

Конфликтов нет.

Финансирование

Данная работа не профинансирована ни одним спонсором.

Использование генеративного ИИ и вспомогательных инструментов

Инструменты искусственного интеллекта не указаны в качестве авторов; любой вклад (редактирование текста, перевод, иллюстрации, код) описан в разделе «Методы»; точность, оригинальность и соблюдение прав проверены.

Разрешения на использование (тексты, изображения, карты, иллюстрации)

Все материалы, защищённые авторским правом, воспроизводятся с разрешения правообладателя; соблюдаются условия лицензии (включая Creative Commons).

Благодарности и вклады без авторства

Отсутствуют.

Список литературы

Anders, G. (1956). *Die Antiquiertheit des Menschen: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [The Obsolescence of Human Beings: On the Soul in the Age of the Second Industrial Revolution]*. Beck. https://doi.org/10.17104/9783406704208 (In German).

Morton, T. (2013). *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. University of Minnesota Press.

Simondon, G. (1989). *Du mode d'existence des objets techniques [On the Mode of Existence of Technical Objects]*. Aubier. (In French).

Winner, L. (1977). *Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought*. MIT Press.

Аристотель. (1984). Политика. В *Собрание сочинений* (Т. 4, сс. 375–645). Мысль.

Белл, Д. (2004). *Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования*. Academia.

Беньямин, В. (2002). *Происхождение барочной драмы*. Аграф.

Бердяев, Н. А. (1933). Человек и машина. *Путь*, (38), 3–38.

Бодрийяр, Ж. (2017). *Фатальные стратегии*. РИПОЛ классик.

Виндж, В. (2019). *Сингулярность*. АСТ.

Дубровский, Д. И. (Ред.). (2013). *Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция*. Издательство МБА.

Зубофф, Ш. (2024). *Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти*. Издательство Института Гайдара.

Кант, И. (1965). Основы метафизики нравственности. В *Сочинения*: 4. Ч. 1 (сс. 219–311). Мысль.

Курцвейл, Р. (2019). *Transcend. Девять шагов на пути к вечной жизни*. Манн, Иванов и Фербер.

Кутырев, В. А. (2010). *Бытие или ничто*. Алетейя.

Маркс, К. (1958). Речь на юбилее «The people's paper», произнесённая в Лондоне 14 апреля 1856 года. В К. Маркс & Ф. Энгельс, *Собрание сочинений* (Т. 12, сс. 3–5). Госполитиздат.

Мэмфорд, Л. (2001). *Миф машины. Техника и развитие человечества*. Логос.

Нанси, Ж.-Л. (2011). *Непроизводимое сообщество*. Водолей.

Нейман, Дж. фон. (2009). *Теория самовоспроизводящихся автоматов*. Либроком.

Перников, И. (2025). *Оседлать механического тигра. О «Мифологии машины» Даниэля Штрассберга*. Горький Медиа. https://gorky.media/reviews/osedlat-mehanicheskogo-tigra

Тоффлер, Э. (2004). *Шок будущего*. АСТ.

Улам, С. (2001). *Приключения математика*. Регулярная и хаотическая динамика.

Фрейд, З. (1998). Бессознательное. В *Основные психологические теории в психоанализе* (сс. 125-160). Алетейя.

Фуко, М. (1994). *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. A-cad.

Фукуяма, Ф. (2004). *Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции*. АСТ.

Хайдеггер, М. (1986). Вопрос о технике. В П. С. Гуревич (Ред.), *Новая технократическая волна на Западе* (сс. 45–66). Прогресс.

Хоркхаймер, М., & Адорно, Т. (1997). *Диалектика Просвещения. Философские фрагменты*. Медиум – Ювента.

Шапиро, Э., Шенк, Д., & Джонсон, С. (1998). *Манифест технореализма*. Технореализм. http://www.technorealizm.org

Шпенглер, О. (1998). *Закат Европы*. Мысль.

Штрассберг, Д. (2025). *Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают*. АСТ.

Энгельмейер, П. К. (1997). Философия техники. *Alma Mater*, (3), 38.

Эпштейн, М. Н. (2017). *Проективный словарь гуманитарных наук*. Новое литературное обозрение.

References

Anders, G. (1956). *Die Antiquiertheit des Menschen: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [The Obsolescence of Human Beings: On the Soul in the Age of the Second Industrial Revolution]*. Beck. https://doi.org/10.17104/9783406704208 (In German).

Aristotle. (1984). Politics. In *Collected Works* (Vol. 4, pp. 375–645). Mysl. (In Russian).

Baudrillard, J. (2017). *Fatal Strategies*. RIPOL Klassik. (In Russian).

Bell, D. (2004). *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. Academia. (In Russian).

Benjamin, W. (2002). *The Origin of German Tragic Drama*. Agraf. (In Russian).

Berdyaev, N. A. (1933). Man and machine. *Put*, (38), 3–38. (In Russian).

Dubrovsky, D. I. (Ed.). (2013). *Global Future 2045: Convergent Technologies (NBICS) and Transhumanist Evolution*. MBA Publishing House. (In Russian).

Engelmeier, P. K. (1997). Philosophy of technology. *Alma Mater*, (3), 38. (In Russian).

Epstein, M. N. (2017). A *Projective Dictionary of the Humanities*. New Literary Observer. (In Russian).

Foucault, M. (1994). *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. A-Cad. (In Russian).

Freud, S. (1998). The unconscious. In *Basic Psychological Theories in Psychoanalysis* (pp. 125–160). Aletheia. (In Russian).

Fukuyama, F. (2004). *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*. AST. (In Russian).

Heidegger, M. (1986). The question concerning technology. In P. S. Gurevich (Ed.), *The New Technocratic Wave in the West* (pp. 45–66). Progress. (In Russian).

Horkheimer, M., & Adorno, T. (1997). *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*. Medium–Juventa. (In Russian).

Kant, I. (1965). Groundwork of the Metaphysics of Morals. In *Works: Vol. 4, Part 1* (pp. 219–311). Mysl. (In Russian).

Kurzweil, R. (2019). *Transcend: Nine Steps to Living Well Forever*. Mann, Ivanov and Ferber. (In Russian).

Kutyrev, V. A. (2010). *Being or Nothingness*. Aletheia. (In Russian).

Marx, K. (1958). Speech at the anniversary of *The People's Paper*, delivered in London on 14 April 1856. In K. Marx & F. Engels, *Collected Works* (Vol. 12, pp. 3–5). Gospolitizdat. (In Russian).

Morton, T. (2013). *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. University of Minnesota Press.

Mumford, L. (2001). *The Myth of the Machine: Technics and Human Development*. Logos. (In Russian).

Nancy, J.-L. (2011). *The Inoperative Community*. Vodolei. (In Russian).

Neumann, J. von. (2009). *Theory of Self-Reproducing Automata*. Librokom. (In Russian).

Pernikov, I. (2025). Riding the mechanical tiger: On Daniel Strassberg's *Mythology of the Machine*. *Gorky Media*. https://gorky.media/reviews/osedlat-mehanicheskogo-tigra (In Russian).

Shapiro, A., Shenk, D., & Johnson, S. (1998). The technorealism manifesto. *Technorealism*. http://www.technorealizm.org (In Russian).

Simondon, G. (1989). *Du mode d'existence des objets techniques [On the Mode of Existence of Technical Objects]*. Aubier. (In French).

Spengler, O. (1998). *The Decline of the West*. Mysl. (In Russian).

Strassberg, D. (2025). *Mythology of the Machine: A History of Mechanisms That Frighten and Fascinate Us*. AST. (In Russian).

Toffler, A. (2004). *Future Shock*. AST. (In Russian).

Ulam, S. (2001). *Adventures of a Mathematician*. Regular and Chaotic Dynamics. (In Russian).

Vinge, V. (2019). *The Singularity*. AST. (In Russian).

Winner, L. (1977). *Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought*. MIT Press.

Zuboff, S. (2024). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Gaidar Institute Publishing House. (In Russian).

Certificate of registration issued by Roskomnadzor: ЭЛ № ФС77-75215 since 07 march 2019

Founder: Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise “Genesis. Frontier. Science”

Address: 24, Savushkina St. apt. 88, Astrakhan, Russia, 414056

Address of Editorial board: 57, Granovskiy per. apt. 2, Astrakhan, Russia, 414038

Editor-in-Chief: Rastyam T. Aliev, PhD

In case you have any questions about co-operation please write an email the following address: admin@galacticamedia.com or galacticamedia@gmail.com

Phone: +7 (988) 068-63-72

Materials are intended for persons over 18 years old

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Galactica Media: Journal of Media Studies. ISSN: 2658-7734

Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС77-75215 от 07 марта 2019

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука». ИНН/ОГРН: 3019005706/1123019003678

Юр. Адрес: Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88

Адрес редакции: 414038, Астраханская обл., г. Астрахань, Грановский пер., д. 57, кв. 2

Главный редактор: к.и.н. Растям Туктарович Алиев

По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов обращаться по email: admin@galacticamedia.com или galacticamedia@gmail.com

Телефон: +7 (988) 068-63-72

Опубликованные в сетевом издании материалы предназначены для лиц старше 18 лет

Сетевое издание доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0

Галактика медиа: журнал медиа исследований. ISSN: 2658-7734